

С.А. Венгловский
**Николай
Костомаров**

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2013



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

УДК 929Костомаров
ББК 63
В 290

*Издание осуществлено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ
Правительства Санкт-Петербурга*

Рецензент:

доктор исторических наук, профессор В. Г. Сарбей

Венгловский С. А.

В290 Николай Костомаров. – СПб.: Алетейя, 2013. – 464 с.

ISBN 978-5-91419-785-5

Биография Николая Ивановича Костомарова (1817–1885) сама по себе является иллюстрацией к высказыванию одного из братьев Гонсourt, заявившего, что жизнь каждого человека – увлекательный роман, надо только суметь его написать.

Костомаров, пожалуй, и сам придерживался подобного мнения: ему дважды пришлось дважды защищать магистерскую работу, дважды приступать к профессорской деятельности, дважды договариваться о венчании...

Своими трудами Костомаров сразу же заявил о себе как о крупном ученом. Он был приглашен на кафедру истории столичного университета. Для него начинался новый период, суливший огромные перспективы.

Почти три десятка лет провел историк в Санкт-Петербурге. Скончался он в доме Бруни на I линии Васильевского острова, на 68 году жизни. Похороны ученого, после отпевания в университетской церкви, превратились в грандиозное шествие.

В имении Дедовцы на Украине, связанном с именем Николая Ивановича, планируется создать его музей, открытие которого наверняка будет приурочено к 200-летию юбилею ученого.

**УДК 929Костомаров
ББК 63**

ISBN 978-5-91419-785-5



9

© С. А. Венгловский, 2013

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

*Наш век – век по преимуществу исторический.
Все думы, все вопросы наши и ответы на них,
вся наша деятельность вырастает из исторической
почвы и на исторической почве.*

В. Белинский

Часть первая

ЮНОСТЬ

НАД ТИХОЮ ОЛЬХОВАТКОЙ

Господский двор обступали густые деревья. Они так громко шумели, что людям приходилось общаться при помощи криков.

Перевес среди дворни был на стороне ловких особей, вывезенных из Орловской губернии. Они говорили по-московски твердо, обладали решительным норовом.

А чуть в стороне, по открытым солнцу просторам, растекались крестьянские хаты. Крепостные, выходцы из волынских земель, предпочитали сидеть на оброке. Память о прошлом хранилась ими в старинных преданиях, в песнях, которые все еще распевались под камышовыми крышами.

Лесá в благодатном крае, хотя их нещадно уничтожали под корень, тянулись бог весть на какое обширное расстояние. Деревья в них были преимущественно лиственных пород. Раз за разом попадались дубы, окруженные стайками белоногих берез. Наблюдательным сельчанам, привыкшим к размеренной жизни, все это казалось девичьими хороводами вокруг степенных казаков.

Речка, известная под названием Ольховатка, пробивала дорогу к такой же неспешной, зато более могучей, Черной Калитве. Совместными силами они добирались до красавца Дона. Все, что встречалось им на пути, любое беспечное дерево, любой подвернувшийся кустик, цветочек – оказывалось в воде. Все увлекалось в заросли, покрывалось тиной, незаметно сгнивало.

Барский двор размещался на крутом берегу. За широким плесом, утыканным массой камышовых копий, – в небесную синеву врезались громады возвышенностей. На их ослепительном фоне проступали смарагдовые полосы. Вперемешку с белым, вздымались холмы, покрытые черноземными почвами. Вдоль водного плеса лежали луга, испещренные разноцветьем.

Хозяин имения знал толк в лесах. Не случилось такого дня, когда бы к крыльцу не подгонялась бричка, и он не отправлялся осматривать лесные владения. Их у него набиралось четырнадцать тысяч десятин.

Если же выпадала солнечная погода – барин прихватывал с собою мальчишку, которого величал Николаем, а то и Николаем Ивановичем. Ребенка выводила стройная женщина с выразительными глазами.

Барин усаживал мальчишку рядом с собой, а то и пристраивал себе на коленях, взмахивал картузом с ослепительно белым верхом.

– Двигай! – командовал кучеру.

Говорилось все это громко и несколько возбужденно. Колеса уже рокотали в роще, но белый околыш, казалось, все еще продолжает мелькать между темных стволов.

– Сын! – рекомендовал он ребенка встречным людям. – Николай Иванович Костомаров.

– Пусть здоровый растет! – откликались случайные путники, подневольный народ. Богатые встречные торопились свести разговоры на что-нибудь постороннее...

Возвратясь домой, барин располагался на вынесенных из дома коврах, разостланных под березой. Он снимал с головы картуз, раскрывал большую книгу. Книгами в доме были заполнены все шкафы, а он все выписывал да выписывал их, загромождавая новые полки. Как правило, барин проговаривал вычитанное вслух. Мальчик способен был повторить такие мудреные выражения, что барин, предварительно сверившись с текстом, хватался за голову.

– Слышали? Диво!

– Да уж диво...

Барские восхищения вроде не задевали дворовых. Зато молодую женщину, мать мальчишки, переполняла гордость.

– Синочок! Розумнику мій...

Иногда барин прочитывал целую страницу, но и тогда мальчишеский голос воссоздавал прочитанное с такой поразительной точностью, что удивлению окружающих действительно не было предела. И только родственники хозяина, господа Ровнёвы, сердитые молодые люди, не скрывали своего недовольства.

Стоило отцу отпустить сынишку – как тот начинал носиться по окружавшим подворье рощам. Только и слышалось:

– Бразилия!.. Целебес!.. Борнео!

В таинственных чашах, переполненных туманами и солнечными лучами, ему постоянно грезилась сказочные существа. Однако мальчишка помнил отцовские наставления: чудовищ в природе не существует. Нет ничего из того, о чем пишут поэты, к примеру – Василий Андреевич Жуковский.

Мальчик искренно сожалел, что именно так и бывает. Даже любимый отцом Александр Сергеевич Пушкин придумывал невозможное. Не было колдуна Черномора. Никому не встречался богатырь Руслан... Не торчала во тьме голова великана, сраженного братом...

– Что же было? – вырывался вопрос.

– То, о чем пишется в книгах с названием «история»...

– Дай почитать!

Книги теснились в шкафах, но отец всякий раз усмехался:

– Пока что играй...

Способности малыша поражали и в древней столице, златоглавой Москве. Туда, пересекши губернский Воронеж, отец отвез уже крепко подросшего, десятилетнего сына. Сначала они поселились в гостинице под вывеской «Лондон», недалеко от Кремля. Строение, утверждал отец, принадлежало царю Борису. С расписанных хмурых стен смотрели большеглазые люди. Они знали что-то такое, о чем уже никто не догадывался...

С отцом малыш побывал в театре. Там ему стало плохо от возникавших на сцене существ... Они не могли наличествовать в природе, но зрители в зале были уверены, что привидения все же водятся...

Отец возвратился домой – сына оставил под присмотром француза *monsieur Gay* (Ге). В старших классах его заведения обучали университетские преподаватели с профессорскими званиями. Ученые люди, как правило, сновали в красочных фраках с малиновыми воротниками. Они носили цветастые жилеты и легкие банты на гордых шеях. Их головы украшали длинные волосы.

Малыш учился как следует, запоминал все подряд. Попалась, к примеру, книга с латинскими диалогами – так несколько дней спустя он мог повторить их слово в слово! Восхищенный француз лично демонстрировал нового воспитанника...

Только малыш тосковал по матери. Пробовал даже бежать. Но куда? Выбрался за ворота – и тут же расплакался. Возможно, то его допекало, что он не мог запомнить, как следует ставить ноги в танцклассе...

Вскоре он приболел. Отец, получив письмо от лакея, приехал срочно. Он удивился, что сын уже совершенно здоров и носится, словно теленок. Однако прихватил обоих домой.

– Привезу через год!

Очень обрадовалась встрече мать:

– Синок! Синочок! Як я могла одірвати тебе од серця?.. Кинусь до ліжечка, лапну руками... Нема...

– Мама!

– Більш нізащо не одпущу! Умолю Івана Петровича!

Малыш в продолжение месяца рассказывал о Москве...

Он набирался сил и с двойственным чувством стал дожидаться дня, когда его снова свезут в Москву.

– Учиться, мама, так интересно... История... Другие науки...

ОТЕЦ И МАТЬ

Род Костомаровых считался очень древним. На берегу Яузы, напротив Спасо-Андроникова монастыря, размещалась их вотчина. Об этом свидетельствовали топонимы, бытовавшие в старой Москве: Костомаровский крутой, Костомаровский переулочек, Костомаровские набережная и мост. Бытует предположение, что само прозвание Костомаров происходит от слова «костомара» – человек огромного роста, поражающий размером своих костей. (Небезынтересно заметить, что дотошный В. И. Даль в знаменитом памятнике «живого великорусского языка» приводит лишь существительное «костовар», с пометкой (внимание!) «орловское». Нет ли здесь просто перегласовки «в/м»?). Как бы там ни было, представитель этого рода, отправленный Годуновым во главе посольства к английскому королю – остался в Лондоне навсегда.

Именно так утверждал впоследствии молодой историк, располагавший какими-то документами, не дошедшими до нас. Не исключено, что так говорил ему Иван Петрович, отец. Вполне возможно, что отец историка почитал себя потомком боярского сына Самсона Мартыновича Костомарова, который, во времена Ивана Грозного, угождая самодержцу, счел за благо бежать от него. В качестве награды беглец получил во владение зéмли от короля Сигизмунда-Августа, последнего из династии Ягеллонов. Внук бегльца, опять же по данным историка, Петр Костомаров, переметнулся к Богдану Хмельницкому, вождю малорусского народа, и, после Берестеческой битвы (1651), потеряв все имения, стал изгнанником. Вместе с другими бездомными он возвратился в московское подданство, служил у полковника Ивана Дзиньковского, которому русское правительство отвело земли вдоль речки Тихая Сосна. Вскоре там зародился городок Острогожск. Был создан одноименный уезд. Уезд подчинялся Слободской губернии, впоследствии получившей название Харьковская.

В благодатном крае, словно грибы после теплых дождей, вырастали селения. Потомки волынского Костомарова обосновались на новом месте. Один из них женился на дочери писаря Юрия Блюма, построившего церковь Святого Георгия в основанной им слободе Юрасовке (от польского имени *Juraś*). Имение Блюма перешло к Костомаровым.

Все это творилось в первой половине XVIII столетия.

Иван Петрович Костомаров, по словам его сына, нашего героя, «родился в 1769 году, служил с молодых лет в армии, участвовал в войске Суворова при взятии Измаила, а в 1790 году вышел в отставку и поселился в своем имении». Потомка боярского рода, отставного гвардейского капитана, годилось бы отнести к помещикам средней руки (у него насчитывалось всего триста душ крепостных) – если бы к этим крестьянам не прибавлялись лесные массивы.

Молодой отставник быстро сообразил, что располагает всего лишь начальным образованием. Он попытался было наверстать упущенное чтением книг. Ради этого изучил французский язык, на котором печаталось все, что считалось достойным внимания. «Любимыми сочинениями его [отца – С. В.], – вспоминал в своей биографии Николай Иванович, – были творения Вольтера, Даламбера, Дидро и других энциклопедистов XVIII века; в особенности же он оказывал к личности Вольтера уважение, доходившее до благоговения. Такое направление выработало из него тип старинного вольнодумца. Он фанатически отдался материалистическому учению и стал отличаться крайним неверием».

Да, юрасовский барин предавался философии даже там, где это было вовсе некстати: в дороге, в корчмах и на постоянных дворах. Крестьяне-украинцы плохо поддавались «безбожным» словам.

– Побойтесь Бога, пане! Батюшка в церкви вон что толкует...

Но убеждения, что перед Богом все люди равны – западали в души крепостным из лакейского окружения, вывезенным из орловских имений.

– Так и есть! – кивали они, загадочно улыбаясь.

Разговоры и рассуждения не мешали барину наказывать своих подопечных. К тому ж он нередко приходил в раздраженное состояние. Гнев его не встречал препятствий.

– Розог! Розог!

После экзекуции, поостыв, Иван Петрович просил у жертвы прощения. Более того – одаривал им наказанных. Лакейское племя нарочито распаляло барина, чтобы добиться каких-нибудь льгот. Зато прочие крепостные, жившие в стороне от барских хором, полагали, что им еще здорово повезло: их барина не сравнить с окружающими помещиками. Те – еще хуже.

Оригинальность отставного капитана простиралась чересчур далеко. Как только на висках у него показались серебряные нити – он не стал подыскивать себе пару среди помещичьих дочек. Коль все человечество равно перед Богом – можно жениться на простой крепостной. Зато стоило подыскать красавицу!

Такую девчущку капитан усмотрел среди волынских переселенцев, в собственной слободе. Чтобы она превратилась в госпожу-дворянку – ее следовало надлежащим образом воспитать. Глазастая Таня, дочь Петра из рода Мельников, по велению барина очутилась в московском пансионе. Там ее поручились обучить надлежащим манерам, танцам, французскому языку. Только продержалась она в Москве недолго, не обучившись даже великорусской речи: на Россию напал император Наполеон Бонапарт. Четырнадцатилетняя Таня оказалась снова в юрасовском имении. В барском доме под зеленой крышей для нее приготовили отдельное помещение.

Погожим майским утром 1817 года девушка Таня родила сына, названного Николаем. Дворяня смеялась, пребывая в уверенности, что из барских задумок ничего не получится. Роженицу отправят на скотный двор. В лучшем случае, выдадут замуж за мужика, который, напившись, будет лупить ее батогом...

Однако барин, которому исполнялся пятый десяток, не переменил своего решения. Молодая мать по-прежнему жила в его

доме, имела целых две комнаты, отдельную прислугу. Забавляя сына, она напевала малорусские песни, слышанные от покойной бабушки Мельничихи. Барин, не обращая внимания на эти песни, разговаривал с ней на московском наречии. Зато подраставший малышка стал ему сыном – и только. Более того, «Костомар» обвенчался с Таней в юрасовской церкви и всем уже говорил, что вот-вот отправится в Петербург. Батюшка-царь разрешит считать сыном ребенка, рожденного до брака.

– Наследник растет! Все богатства – ему...

Иван Петрович стал постоянно рассказывать о Санкт-Петербурге. Новая столица рисовалась настолько зримо, что никому не верилось, будто рассказчик не побывал в тех краях...

Ради сына Иван Петрович был готов на все. А пока что воспитывал его по собственной методе. «Детство мое до десяти лет протекало в отеческом доме без всяких гувернеров, – вспоминает потом Николай Иванович Костомаров, – под наблюдением одного родителя. Прочитав «Эмиля» Жан-Жака Руссо, мой отец прилагал вычитанные им правила к воспитанию своего единственного сына и старался приучить меня с младенчества к жизни, близкой с природою: он не дозволял меня кутать, умышленно посылал меня бегать в сырую погоду, даже промачивать ноги, и вообще приучал не бояться простуды и перемен температуры».

В ДРЕВНЕМ ВОРОНЕЖЕ

Для этого губернского города, казалось, все оставалось в прошлом. И то, что он первым встречал степняков, являвшихся на приземистых быстрых лошадках, поскольку входил в систему других крепостных городков вместе с Белгородом, Новым Осколом, Острогожском, Коротояком, Усманью и Козловом, и то, что его давно уже перестали держать на особом счету...

Поселение на реке Воронеж возникло в незапамятной древности, хотя о самом заложении крепости в царском указе сказа-

но 1 марта 1586 года. Особенным взлетом город характеризовался в конце XVII столетия, когда в нем появился совсем молодой еще царь – Петр Алексеевич.

С 1696 года на воронежских землях закипела новая жизнь. В город пригнали множество подневольного люда. Улицы и площади заполнялись солдатами в узких мундирах, еще – мастерами в широких одеждах, знатными людьми в роскошных убранствах, иностранцами в чужих волосах. День и ночь доставлялись грузы. Их размещали за вновь насыпанными валами. Пилили лес, обжигали кирпич. Строились заводы и мастерские. Изготавливали все, что используется на морских судах.

Царь собирался очистить от турок берега Азовского моря...

Царские планы с годами во многом переменились. Особенно – после победы под осажденной шведом Полтавой. Судостроение на воронежской верфи захирело после Прутского похода (1711). Пожар 1773 года вообще уничтожил следы ее славного прошлого.

Естественно, ничего этого не знал белобрысый мальчишка, поселившийся в доме княгини Касаткиной (1828). Там размещался частный пансион – его содержали гимназические учителя Федоров и Попов. Из рассказов старых людей, по обрывкам того, что уцелело в народной памяти, мальчик понял одно: ровненькие когда-то валы, размываемые дождями, поросшие лозами и вербами, кое-где уставленные деревьями, эти кусочки фундаментов, каменных стен, которые виднеются на противоположном берегу – это и есть останки верфи... Обо всем подобном способна поведать наука, называемая историей.

Правда, малыша поначалу не очень интересовало все окружающее. Для того были причины... Его не отвезли в Москву, как планировалось ранее: уже не было на свете отца, Ивана Петровича...

Это случилось летом 1828 года. Иван Петрович, как всегда, отправляясь на прогулку, подозревал к бричке сына, но того с головой поглотила стрельба из лука.

– Некогда!

Отец рассмеялся, стукнул кучера в спину:

– Двигай, Савелий! Ты меня дожидайся, сынок!..

Поздним вечером, когда в небе повис остророгий месяц и его сияние выбелило стены домов, во двор прибежал окровавленный кучер. Он со стоном поведал, что всполошенные лошади понесли было барина прочь, к обрыву. Он же, верный слуга, еще прежде того вывалился из брички...

– Когда я пришел в себя, отыскал возок – барин лежал весь в крови...

Кучер мучился от того, что случилось. Бился лицом о землю.

– Я так умолял: не надо запрягать сумасшедших коней!..

На следующий день, на нескольких тройках, снабженных громкими колокольчиками, прибыло много полицейских чинов. Однако расследование длилось недолго. Пораженная происшедшим, супруга покойного тщетно твердила, будто дело здесь явно нечистое: пока ее возили на место кровавого действия – из дома выкрадены большие деньги.

– Все у нас знали, – дрожали ее посеревшие губы, – что Иван Петрович собирается в Петербург...

И все ж полицейские приняли быстрое решение: несчастье с отставным капитаном случилось из-за коней.

– Зачем было обзаводиться такими чудищами?

Чиновники с опаской посматривали на бородатых дворовых – и торопились в город.

– Здесь все ясно!

– Барин сам виноват...

Ивана Петровича схоронили возле церкви. И сразу же начало твориться что-то невероятное. Родственники покойного, между собою братья Ровнёвы, которые лишь брезгливо посматривали на «Николая Ивановича», заявили права на наследство.

Один среди них, не скрывая радости, зычно вопил:

– Николка! Будешь лакеем! Ты – душа крепостная! Если такой памятный – обучу тебя разным языкам, добавок к фран-

цузскому! А пока что сиди под дверью! Может, мне пить захочется! Ха-ха-ха!

Мальчик бросался к матери, не понимая, что переменялось со смертью родителя. Но мать, исхудавшая, сгорбленная, не держалась большого дома. Она пряталась под камышовой стрехой, вдали за амбарами, вместе с прислужницами. Они над ней потешались. Еще больше – над малолетним «Николаем Ивановичем».

– Коля! – кричали дворовые. – Мать твою за ногу! Ты такой же, как все во дворе! Пожелает хозяин – так и на щенка обменяет!

– Нет! Нет!

Малыш вырывался из крепких рук, однако чувствовал, что ему уже ничто не поможет.

– Га-га-га! – ревели лакеи. – Костомар языком везде ездил! Показаться царю – он струсил!

Кто знает, что из этого могло выйти. Имение собирались делить. Неизвестно, кому бы досталась новая крепостная «душа». Однако старший брат-наследник вовремя спохватился: может пойти дурная слава.

– А мы, братишки, – убеждал, – немного и потеряем, если отпустим мальчика... Закрепощать его нам не с руки: покойный дядя считал его сыном...

Сговорившись, братья предложили вдове, которую сквозь зубы называли Татьяной Петровной, 50 000 рублей отступного и полное право на крепостного Николку. Получилась частичка наследственного богатства. Однако Татьяна Петровна, которой не с кем было советоваться, согласилась. Николай стал собственностью матери. Это означало волю...

Освобожденный мальчишка с сожалением смотрел на шкафы, заполненные книгами. Они стали собственностью других людей... Он заплакал...

На полученные деньги Татьяна Петровна купила имение у владелицы Н. И. Михайловской, в той же Юрасовке. Там было

три сотни десятин земли и несколько семейств крепостных. В них наличествовало восемнадцать душ мужиков.

А сына, по совету Владимира Станкевича (отец будущего философа и поэта, Николая Владимировича Станкевича, приятель покойного Ивана Петровича), устроила в пансион...

Воронеж, на время пребывания в нем юного Костомарова, с каждым годом обретал черты губернского центра. На больших алебастровых щитах, вмурованных в пирамиды при съезде на Задонское шоссе, читались короткие надписи: «От Москвы 516 верст», «От Санкт-Петербурга 1243». Аршинные литеры напоминали, что город представляет частицу огромной державы. Оба щита украшались бронзовыми орлами. Казалось, это настоящие птичьи цари, сложив огромные крылья, спустились с неба. Они недоверчиво посматривают на лес, который подступает к городу с другой стороны.

Именно так. В Воронеже север встречался с югом. В нем можно было видеть как избы из бруса, так и саманные хаты, сверкающие белыми стенами. Выше всех городских строений взносилась звонница монастыря, построенная, говорили, по проекту петербургского архитектора Джакомо Кваренги. Четыре яруса, увенчанные острой спицей, вызывали всеобщее удивление. Сформировалась и главная улица – Большая Дворянская. Ее обрамляли пирамидальные тополя. Вдоль тротуаров, по которым любила разгуливать знать, виднелись врытые в землю тумбы. Их соединяли длинные рейки. Меж тополиными стволами торчали столбы с фонарями на кованых кронштейнах. Прыткие люди, в кожаных фартуках, наполняли светильники маслом. Погожими вечерами, в мерцании света, аристократическая публика, казалось, состоит из нездешних существ...

По улицам, правда, пансионерам редко приходилось прогуливаться, хотя в пансионе не донимали учебой. Учеников даже не разделяли на классы. Учителя, Федоров и Попов, почти ничего не рассказывали, лишь задавали уроки «от и до». Естествен-

но, малышу Костомарову достаточно было посмотреть в книгу, чтобы пересказать прочитанное. Итак, ему позволялось носить-ся в просторном дворе, в старинном парке. Там он снова започил уголки с названиями «Борнео», «Целебес»...

Вскоре пансион перевели в другое помещение. Но и оттуда, как на ладони, виделся весь Воронеж. Бесконечные сады затеняли склоны холмов. Деревья закрывали стены строений. С двух сторон к городским жилищам подбирались рощи: в жару там спасались разомлевшие городские жители. Когда наступали прохладные дни – для аристократов и прочей зажиточной публики функционировал театр. Подолгу продолжались ярмарки. Они, как всегда, привлекали товарами, множеством балаганов, развлекательных заведений. Там собирался разноликий люд. Раздавались неведомые наречия, звучала гортанная речь.

Особое впечатление производили кулачные бои, которые разгорались на склонах Селивановой горы. С одной стороны выстраивали стенку гордые горожане, с другой – обыватели пригородных слобод: Чижевской и Ямской. В числе бойцов выделялись монахи Митрофаньевского монастыря и дюжие архиерейские певчие. Пока передовые «кулачники», задиристые, но слабосильные, состязались «на языках» – в глубине толпы зарождался рык. Могучий рев покорял как тех, кто вышел подраться и уже закатывал рукава, готовый крушить всех подряд, так и тех, кто лишь пришел поглядеть на зрелище.

– Бе-е-е-й!

– Бе-е-е-е-ей!

Пансионеров, если они приходили в сопровождении воспитателей, последние отводили подальше. Однако Николка, Николаша, Коля (так окликали друзья) успевал примечать: дух соревнования подхватывает и его товарищей.

– Бей!

– Бей!

Боевые клики звучали в ушах и тогда, когда пансионеры шагали вдоль улиц. Впечатлительному малышу казалось, будто кулачные бои подобны настоящим сражениям.

ГИМНАЗИЯ

*И навсегда останется мне памятным,
как я мерил еще не выросшими ногами
Песчаную улицу, идущую от Попова рынка
к Девичьему монастырю, на котором, не
доходя до Введенской церкви, находилась
тогда гимназия...*

Н. И. Костомаров

Обучение в пансионе, в котором Костомаров пробыл два с половиной года, дало ему мало знаний. Зато усилило интерес к науке.

Правда, он поначалу подпал под влияние старших товарищей: вместе с ними навевался в винный погреб. Делалось это украдкой, поздними вечерами. Однако каждая тайна когда-нибудь становится явной. Когда наступило разоблачение – Николку выпороли розгами и отправили к матери. Татьяна Петровна едва не лишилась чувств. Сначала она приказала кучеру дополнить расплату в конюшне, потом принялась кричать:

– Невже хочешь п’яницею стати? Чи я для того тебе на світ породила?..

В то же лето, опять по совету Владимира Станкевича, Татьяна Петровна решила определить сына в гимназию.

Он был уже четырнадцатилетним подростком, когда впервые переступил гимназический порог. Воронежская гимназия располагала только что возведенным, трехэтажным зданием с белыми классическими колоннами. Приняли его сразу в третий класс, равнявший шестому в подобных заведениях.

Татьяна Петровна отдавала себе отчет, что сын ее слабо разбирается в математике, не ориентируется в классических языках, греческом и латинском. Без подобного рода знаний нечего даже мечтать о достойном образовании. Выход она усмотрела в том, что поселила отрока в доме учителя латинского языка – Андрея Ивановича Белинского.

Это был добрейший, пожилой уже человек, родом галичанин. Проведя в России более тридцати лет, Андрей Иванович продолжал говорить с украинским акцентом. Воспитанник бурсы, он сожалел, что нынче не устраивают «субботок», то есть, учеников не наказывают в конце каждой недели, всех поголовно: ради острастки и профилактики.

– Без дрюка (розги) наука в голову не лезет! – был уверен старик. – Так и меня учили. Иначе – разве поддался бы мне этот латинский лексикон? Да и тебя, мой друже, скорей довели бы до нужных кондиций!

Сам латинист, по мнению уже взрослого Костомарова, так и не научился толком что-нибудь объяснить, привить интерес к получаемым знаниям. (Совершенно иное, кстати, впечатление, произвел Андрей Иванович на учившегося у него чуть позже знаменитого «сказочника» А. Н. Афанасьева).

Впрочем, и остальные гимназические учителя мало в чем соответствовали званию наставника. Кто среди них заботился только о тишине на занятиях, как учитель математики Федоров (он бил нарушителей по щекам), кто заставлял лишь молиться – как учитель словесности Севастьянов. Были, правда, и такие оригиналы, кто действительно стремился обучать надлежащим образом, но не обладал соответствующей подготовкой. Этим отличались историки Сухомлинов и Цветков, а также преподаватель древнегреческого языка Покровский.

Но случались в гимназии, как повелось на Руси, совершенно беспомощные наставники. В числе их достаточно назвать бывшего капитана наполеоновской армии Карла Ивановича Журдена. Он даже не пытался что-нибудь разъяснять, зато тщательно «отвешивал» домашние задания. Оживал старый воин лишь в редкие в классе моменты, когда с ученических уст соскальзывало выражение *l'Empereur Napoléon Buonaparte* (император Наполеон Бонапарт)...

Правда, чужеземные учителя как-то сами вносили в класс оживление. Немец Флямм, еще один Карл Иванович, так и не

освоил русской разговорной речи. Объясняя грамматику своей *Muttersprache* (родного языка), он просил учеников сделать удар на потребном слоге. Гимназисты с готовностью били кулаками по книгам или тетрадям.

Естественно, при таких обстоятельствах процветал протекционизм по отношению к детям зажиточных обывателей. Особенно злоупотреблял своим положением директор гимназии – Владимир Иванович фон Галлер, герой войны 1812 года. Чем ценнее подарки доставлялись ему, тем на более высокий балл могли надеяться дарители. Немец обставлял поборы весьма хитрым образом: кто привозил «подарки» ему на квартиру – тех он выставлял за дверь. Зато во дворе их встречала служанка. Всё привозимое забиралось без укоризны...

Воронежские гимназисты не могли похвастаться ни знаниями, ни воспитанием. Вряд ли кто среди них догадывался, что рядом живет и творит поэт Алексей Васильевич Кольцов. Мало кому приходилось читать его стихотворения. Сами воспитанники фон Галлера ощущали себя хулиганами, когда бродили по Большой Дворянской и на них наводили лорнеты богатые зеваки. В гимназии постоянно слышалась ругань, возникали ссоры, драки. Среди гимназистов было много отъявленных лентяев. Достаточно сказать, что из выпуска 1833 года никто не собирался продолжить учебу, исключая, разве что, Костомарова. Но твердой надежды не было и у него.

Годы учебы в гимназии более всего запомнились летними каникулами.

Наступал давно ожидаемый день, когда из Юрасовки присылали лучших коней. Юноша садился в возок. Долгое время он утешался пейзажами, погружаясь в собственные мысли. Путь домой пролегал вдоль русла Дона. От речных извивов повевало прохладой, вода слепила глаза. Значительная часть пути представляла собой столбовую дорогу. Одно за другим мелькали селения, в большинстве своем хутора. В них повсеместно звуча-

ла славянская (малорусская) *мова*. Юноша почти не понимал ее, хотя много подобных выражений и слов наслушался от матери. Увлекала сама мелодика речи. Он совершенно не мог предполагать, какое значение возымеет для него пока что почти незнакомый украинский язык...

В Юрасовке было по-настоящему хорошо. Купленный матерью дом состоял из пяти всего комнат. Главное помещение, обретенное матерью, находилось под камышовой стрехой, из-под которой проступали обыкновенные крестьянские окна. К строению примыкал хозяйственный двор, заставленный амбарами, сараями, конюшнями. Стояло там также три хаты, в которых жили крестьяне. Одному из них, Хоме Голубченко, суждено было стать камердинером «паныча Мыколы».

За двором, спускаясь в долину, тянулся фруктовый сад. Яблони упирались в конопляные грядки со старыми вербами. Еще дальше – простиралось болото, покрытое кувшинками. Там раздавались лягушечьи голоса. С наступлением ночи лягушки вздымали тысячеголосое «пение».

В саду повсеместно гудели пчелы. В пору летних вакаций напивались соком яблоки. Под яблонями, лежа на ковре, можно было читать привезенные из Воронежа книги. Когда приедалось это занятие, можно было, с помощью Хомы, оседлать сивого коника, купленного отцом в предгорьях Кавказа, отправиться в путешествие.

– Оце так кінь! – кричал вслед Хома, хлопая себя по тощим бедрам. – Хіба що балакати не вміє! А так на все зугарен!

Кроме верховой езды паныч любил побродить с ружьем. Но и это занятие, как и попытки научиться хорошо танцевать, вызывало улыбки у встречных людей. Уже давала знать о себе близорукость – на охоте совсем не везло. Частенько отправлялся в плаванье между чуткими камышами, используя вместительное корыто, к которому присоединял, опять-таки с помощью Хомы, несколько легких бревен. Получалось подобие плота.

– Обережніше, паничу! – бежал вдоль берега Хома. – Не наступайте на край, а то плюхнетесь в воду, і жаба цицьки вам дасть!

Летний отдых, однако, не отвращал внимания от мыслей о будущем. Оно рисовалось нечетко. Душу томили воспоминания. Совсем рядом стояли чужие леса. Взгляд гимназиста нередко упирался в меловые горы за Ольховаткой. Отцовская могила возле церкви была всегда достойно украшена, сияла зеленью и огромным каменным крестом. Наследники всячески старались показать, как они почитают своего благодетеля...

Татьяна Петровна, кажется, тоже не могла примириться с переменами в жизни. Окрестные крестьяне называли ее барыней, однако она понимала, что всем окружающим памятна ее крепостная неволя!.. А что, если снова всё переменится, отнимут землю, заберут крепостных... Что станет делать в таком случае сын? Сама она записалась в купеческое состояние, в третью гильдию – так безопасней. Так кто-то ей присоветовал. Купцы имели право владеть крепостными.

Татьяна Петровна даже разговорами отличалась от господ-соседей, по-прежнему плохо владея русским языком. Разочарование наложило отпечаток на ее характер, лицо, на саму фигуру. Людям, которые видели Татьяну Петровну через много лет после описываемых событий, и то бросалось в глаза, «что она не вращалась в обществе: она имела вид запуганной и вместе (с тем – С. В.) сердитой дикарки».

– Хоч би тобі дав Бог щастя, Миколо, – вздыхала она, томя себе голову новыми заботами. – Молись, синку... Іван Петрович грішив проти Бога, ось і...

СТУДЕНТ

Лето 1833 года запомнилось на всю жизнь. Долгой болью отдавались в душе слова, произнесенные кем-то на прощальном вечере: «Господа! А ведь не скоро удастся свидеться!»

Кто-то с горечью подтвердил: «Если только вообще доведется...»

Воронежская публика с интересом следила за выпускниками гимназии (их насчитывалось 16 человек), толпящимися на Большой Дворянской.

И всё...

Николай приехал домой в каком-то двусмысленном настроении. Стоит ли радоваться тому, что больше не надо возвращаться в город, который не много прибавил знаний? Или лучше печалиться оттого, что всё это время, проведенное вне дома, принесло так мало пользы? Чему посчастливилось научиться? Особенно – по математике. Наставлений учителя Федорова совершенно недостаточно, чтобы сдать вступительные экзамены. Между тем, уже выработалась надежда, куда следует подаваться: в Харьковский университет. Туда ближе всего. С этим соглашалась также Татьяна Петровна. Она заранее готовила сыну необходимые бумаги. (Стараниями журналистки Т. Чалой в Областном Воронежском архиве недавно обнаружены документы, датированные 10 мая 1833 года и выданные по прошению Татьяны Петровны. Они уточняют дату появления на свет младенца Костомарова (5 мая), проливают свет на обстоятельства его рождения и крестин).

Лето к тому же оказалось совсем ненадежным, мокрым, с непрерывными грозами. А тут – экстремальные события...

Во-первых, в то время, когда Татьяна Петровна навещала сына в Воронеж, – на юрасовскую усадьбу напали разбойники, нанеся ей немало вреда... Во-вторых – пришла, наконец, разгадка отцовской смерти. Один из его клеветников, изгнанный за пьянство, сознался при народе, что он является причи-

ной смерти своего господина. В числе соучастников преступник назвал камердинера, кучера и повара, а также того крепостного мужика, который присматривал за Николаем в Москве. Оказалось, «присматриватель» сочинил лживое письмо о болезни врученного ему барчука: мужику не терпелось быть ближе к барской усадьбе. Учинив расправу, отомстив своему властителю, злоумышленники выкрали большую сумму денег, полученную в счет заложенной в банке земли. Им удалось подкупить полицию и следователей. Последние потому и «зафиксировали» на трупе следы копыт...

Рыдая и припадая к могиле, убийца корил покойника: «Вы же уверяли нас, будто не существует того света! А теперь... Примите мой грех на себя!»

Одновременно он пояснял собравшимся, почему раскаялся в содеянном: «Стоит сомкнуть глаза, как покойник уже надо мной... Лишь глазами буравит... Каким был жестоким на этом свете, таким и на том остался!»

Новое следствие всё поставило на свои места. Преступники были наказаны. А в душе у вчерашнего гимназиста родилось убеждение, что судьба человека во всем зависит от воли Всевышнего. Если Богу угодно – он выведет из любого безвыходного состояния...

Впрочем, не желает ли Бог показать, что и он, Николай, виноват в отцовской смерти? Ведь стоило только прыгнуть в возок, позабыв об игрушках... Но, с другой стороны, кто надоумил поступить таким образом?.. Бог? Почему? Значит, он, Николай Костомаров, провинился перед Небом? Как очиститься от греха?

Николай то седлал жеребца, то садился в корыто, чтобы отправиться в плаванье. Но не находил уже прежнего равновесия. Говорливый обычно Хома вздыхал и время от времени осенял себя крестным знаменiem:

– Ой, що робиться, що робиться... Господи милостивий!

Паныча манили незнакомые места... Ему хотелось куда-то ехать, подальше от дома, где не приснится окровавленный

труп... Да, отец, в свою очередь, также виноват перед Богом! Необходимо вымолить ему прощение...

Татьяна Петровна нервничала еще сильнее.

– А що, як і те заберуть, що зараз маємо... Що з тобою буде, Миколо, коли не знатимеш наук?

Но всё постепенно, вроде, налаживалось: дочь соседствующего помещика вышла замуж за инженера, знатока математики. Поддавшись на просьбы Татьяны Петровны, инженер основательно подготовил только что выпущенного гимназиста. Можно было держать экзамены куда угодно. Даже в университет.

Сам Николай был твердо уверен: его молитвы дошли до Бога...

Фортеции под названием Харьков, основанной украинскими казаками где-то в 1656 году, пожалуй, сразу же была определена участь административно-культурного центра. Менее чем через полтора столетия, по указу императора Павла I от 12 декабря 1796 года, Харьков стал центром громоздкого объединения, так называемой Слободско-Украинской губернии, в состав которой вошла также западная часть Воронежского наместничества. Не лишним будет заметить, что Острогожская провинция, вплоть до 1780 года, оставалась подвластной Харькову, лишь затем ее переподчинили Воронежу. Стоит ли говорить, что когда возникла проблема создания высшего учебного заведения, выбор правительства остановился на Харькове.

24 января 1803 года Александр I издал указ о создании двух новых университетов – Казанского на востоке и Харьковского на юге. При этом, естественно, принималось во внимание то, что с 1727 года в Харькове функционировало особое учебное заведение – коллегиум, подобие Киево-Могилянской коллегии (академии). В нем изучались предметы, составлявшие основу тогдашних наук. В число их входила грамматика, пиитика, философия, иностранные языки, математика, геодезия, инженерное дело. Из Харьковского коллегиума вышел Николай Иванович Гне-

дич – будущий переводчик Гомера на русский язык. Преподавателем в нем работал не менее известный философ Григорий Савич Сковорода.

Однако царский указ не означает еще появления нового учебного заведения. Для этого нужны были средства, недостатком которых всегда характеризовалась императорская казна. Да и вообще необходимо было приложить немало усилий, чтобы раскрутить государственную машину. Это сделал человек, которого современники называли «украинским Ломоносовым», имея в виду не только роль последнего в создании Московского университета, но и его заслуги перед наукой. «Украинского Ломоносова» звали Василием Назаровичем Каразиным. Он был изобретателем, общественным деятелем, на все руки мастером. Именно благодаря энергии Каразина университет в Харькове был открыт 17 января 1805 года. (Теперь он по праву носит имя В. Н. Каразина). Поначалу для нового учебного заведения предназначались казенные помещения: дома губернатора и вице-губернатора. В соответствии со статутом 1804 года, в Харьковском университете начали работать только четыре факультета: историко-филологический, юридический, физико-математический и медицинский.

Статус университетского города сразу же сказался на жизни Харькова. В новом учебном заведении создавалась библиотека, собирались ценные коллекции – по археологии, этнографии, истории. В 1806 году в Харькове возникла типография, с 1812 – начала выходить газета «Еженедельник», а с 1816 – печататься так называемый «Украинский вестник», редактируемый университетскими преподавателями Е. М. Филомафитским и Р. Т. Горнорским, а также писателем Г. Ф. Квиткой-Основьяненко.

Харьков не удивил ни месторасположением, ни своими степными просторами. Костомаров достаточно насмотрелся на степи, пересекая их по широким шляхам. Битые дороги пролегали вдоль резко очерченных возвышенностей, с которых просматри-

вались селения на дне глубоких оврагов, по-местному – балок. Иногда же колеса экипажа приближались вплотную к тоненьким, если смотреть опять-таки издали, речным руслам. Вблизи речки оказывались мелководными. Дно в них – песчаным и чистым. Почва в степи, хоть и присыпанная вездесущей пылью, поражала исключительной плодородностью. Там повсеместно шумела пшеница.

Хома Голубченко, выскакивая на остановках, взмахивал руками:

– Цур йому! Тут усуди чути нашу мову! Тут усі балакають по-українському!

Зато Харьков порастил своими строениями. В первую очередь – старинным Покровским собором. Мощные стены над речкою Лопанью, с длинными и узкими окнами, похожими на крепостные бойницы, свидетельствовали, что здешним жителям не раз приходилось давать отпор врагу, главным образом – крымским татарам. Некоторое время в городе, в доме полковника Шидловского, квартировал светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Остановливался в Харькове и сам царь Петр I – когда недалекую отсюда Полтаву облегали шведы. Под Лысой горою, в садике, гостям показывали домик, в котором обитал когда-то философ Сковорода. Поражала также колокольня Успенского собора, вся в непроглядных лесах. Говорили, что ее возводят под руководством профессора архитектуры Васильева, а весь проект строения утверждал петербургский академик Стасов!

Харьков быстро развивался. Спустя несколько лет, упомянутый нами писатель Григорий Федорович Квитка-Основьяненко посвятил ему настоящий панегирик, помещенный в альманахе «Молодик» (1843). Назвав город франтом, молодцом, писатель выражал свое восхищение вполне уже завершенным ансамблем главного собора, богатством купечества и чиновников, нарядами городского бомонда, развитием наук и всестороннего просвещения, наличием товаров, ярмарок и прочим, прочим.

Город действительно показался большим и богатым – не чета Воронежу! Однако, естественно, юноша Костомаров первым делом направился к университету, где им заранее был избран историко-филологический факультет. Харьковский университет к тому времени размещался уже в новом строении, возведенном по проекту опять же профессора Васильева.

Татьяна Петровна не рисковала отпустить сына с одним Хомою. Бедняга все-таки сомневалась, хватит ли знаний по математике, чтобы выдержать вступительные экзамены. Для нее это была чуть ли не самая дальняя поездка, если не считать путешествия в московский пансион, о котором она уже успела запомнить.

Все обошлось благополучно. Профессор Павловский, экзаменовавший по математике, поставил Николаю приличную оценку. Прочие испытания были выдержаны вообще отлично – и юрсовца зачислили в студенты. (Его примеру последовали также другие выпускники Воронежской гимназии. Трое его одноклассников, правда, через год, тоже стали харьковскими студентами).

– Слава тобі, Господи!

Татьяна Петровна, наконец, могла успокоиться, стала собираться в обратный путь.

Что касается бытовых условий, с ними также вышло неплохо. Наведавшись к профессору латинского языка, Петру Ивановичу Сокальскому, чтобы уточнить дату сдачи экзамена, Николай разговаривал с ученым мужем. Петр Иванович ему понравился, и они условились, что вновь поступивший студент будет жить на профессорской квартире.

– Дивись, Миколо, – наставляла перед отъездом Татьяна Петровна, – будь розумником. Не слухай лихих людей, а до мудрих сам придивляйся. Тільки їм теж не йми віри. Май свою голову на плечах... І про п'ятику не думай. Хоч ти й виріс, а при людях виб'ю. Я твоя мати... І Хомі волі не давай...

– Та Господи Боже! – закатывал Хома глаза, стуча себя ладонями по бокам. – Та хіба ж я бузувір який...

Николай, затянутый в новый мундир, чувствовал себя чуть ли не умнее родительницы.

– Все будет хорошо, матушка! Хома при мне шелковым станет!

– Аякже! – подтверждал парубок. – Чи ж я... Господи!

В профессорском доме студент и его слуга заняли отдельную комнату. Рядом, в других помещениях, обитало еще четверо молодых людей.

Семья профессора состояла из его супруги, трех малолетних сыновей и старенькой тещи. Прочие квартиранты и ближние соседи называли старушку «студенческой матерью». Помимо приготовления обедов, вечных забот о чужих сыновьях, она готовила им пирожки, угощая всех своих квартирантов. На каждого смотрела с материнской заботой, всех жалела:

– Похудели, голубчики! Не у матушки родненькой...

Вскоре выяснилось, что таким вот образом выпестовано ею не одно уже поколение универсантов, что у профессора Сокальского некогда квартировал Михаил Васильевич Остроградский – к описываемому времени ставший уже знаменитым математиком, членом Санкт-Петербургской Академии наук.

Юный Костомаров с первых же дней окунулся в науку, хотя сам университет производил на него не совсем понятное впечатление. Новоиспеченный студент с опасением втиснулся в свой мундир, но на это никто, кроме вконец пораженного Хома, не обратил внимания, даже швейцар, которого Хома принял за большого пана и низко ему поклонился:

– Здравствуйте, пане! Хай вам Бог дать здоров'я!

Швейцар величественно вытер усы и с достоинством отвечал:

– И тебе, хлопец, вместе с твоим господином, желаю здравствовать!

По свидетельствам современников, в Харьковском университете в те годы царили патриархальные порядки. Студенты и профессора облачались в мундиры только в самых торжествен-

ных случаях. На лекции они приходили одетыми в соответствии со своими вкусами и наклонностями. Убранства их радовали глаза как покроями, так и расцветкой. Не было недостатка и в разных, прямо-таки экзотических аксессуарах, вроде диких трубок, тростей и палок с набалдашниками и разными украшениями.

И все ж Костомаров пребывал в абсолютной уверенности, что он попал в храм науки. На первом курсе ему предстояло усваивать русскую и латинскую словесности, иностранные языки, теорию философии, чистую математику, географию, всеобщую историю.

С большим удовольствием приступил юрасовец к изучению латинского языка, просто полюбил его, как и всю античность. Это увлечение порой доходило до настоящих курьезов. Однажды он попросил профессорского сына уступить ему маленькую тележку, чтобы разыграть в лицах сцену сражения Гектора с Ахиллом. Сам Костомаров изображал Гектора. И вот его, за ногу привязанного к тележке, коллега-студент начал таскать по двору, пока этого не заметила теща профессора Сокальского. Старушка бросилась перевязывать его окровавленную голову.

– Ой, беда! Как же это... Куда ж ты глядел, Хома?

Хома только хлопал глазами и ударял руками о полы:

– Та я... Я думав, що таке завдання дали в університеті!

Даже профессор Сокальский выскочил на крики. Когда до него дошел смысл всего совершаемого – он громко расхохотался, сменив гнев на милость.

– О, я сам теперь полностью понял мастерство Гомера!

Однако же первое ослепление *alma mater* как-то быстро, само по себе, улетучилось. Вскоре стало известно, что на университетских кафедрах прижилось немало бездарных людей. Такую картину можно было наблюдать и на историко-филологическом факультете (его часто называли «словесным»). Скажем, профессор Якимов, в свое время прославившийся переводами шекспировских трагедий, не хотел задумываться над тем, что переводы

его устарели и вызывают ухмылки. Профессор всеобщей истории Владимир Францевич Цих читал свой курс на таком примитивном уровне, как если бы перед ним торчали головы стриженных гимназистов. Он излагал лишь то, о чем можно было прочитать в учебниках. Немец по происхождению, профессор Карл Маурер, великолепный знаток родной речи, оказался никудышным педагогом, к тому же плохо владеющим русским языком. Француз де Совиньи, преподаватель латинского языка, непременно старался вставить в свои объяснения похвалы французам и навести хулу на все русское. Показалось, наконец, что даже лекции талантливого писателя, профессора отечественной истории, Петра Петровича Гулака-Артемовского, наполнены пустой и чрезмерной риторикой.

Отсутствие твердых порядков в университете порождало досадные недоразумения. Костомарову вскоре запрещено было посещать в нем лекции: в начале 1834 года попечитель Харьковского учебного округа был переведен по службе в другое место. Уехав, он не успел поставить подписи в бумагах. В силу университетского устава сотня молодых людей оказалась вообще не численной в студенты...

Костомаров отправился в Юрасовку. Пока добирался – растаяли снега. Начиналась весна.

Татьяна Петровна даже руками всплеснула, завидев сына. Она побледнела:

– Вигнали? Боже мій! Куди ж ти дивився, Хомо? Що я наказувала...

– Та, пані...

– Нет, нет, матушка! – перехватил разговор Николай.

И обо всем рассказал.

– Там обещали, – сделал заключение, – будто учебу можно продолжить осенью. Вступительных экзаменов не придется больше держать. Только год потеряем.

Татьяна Петровна смирилась с вестью, сама принялась утешать:

– Не побивайся, сину! Якось воно буде. А поки що не гай часу, читай книги... Наукою, кажуть, і до потомственного дворянства можна дійти...

В Юрасовке Николай продолжал изучать латынь, совершенствовать свой французский язык. Он настолько увлекся им, что в оригинале прочитал роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

А еще каким-то новым взглядом стал всматриваться в природу. Вроде бы просто потому, что впервые получил возможность любоваться красотами окружающих мест, не беспокоясь экзаменами. Наблюдал, как на речке, недавно закованной стужей, трещит ноздреватый лед, как наливаются соком деревья, с какой радостью возвращаются похудевшие за зиму птицы, как под их неумолчными криками оживают леса и поля. Вскоре весь мир покрылся прозрачной зеленой тканью...

Впечатления сами стремились перенестись на бумагу. Ими необходимо было делиться. Тогда и появилось желание записать стихи, которые просто роились в голове. Рифмованные строчки заполнили объемистую тетрадку...

Татьяна Петровна, полагая, что сын штудировать науку, не осмеливалась прерывать «занятия». Если и приходилось это делать – так лишь для того, чтобы напомнить о еде:

– Миколо! Пора обідати! Охлянеш!

Прикрывая ладонью еще не просохшие строчки, он просил матушку не беспокоиться...

Стихосложение не оставил и в Харькове. Татьяна Петровна все-таки опасалась, как бы его не исключили «из студентов», поэтому настояла:

– Миколо! Ти вже відпочив... їдь... А ну ж...

Она не верила больше никому на свете.

В Харькове стоял уже душный август, когда юрасовец снова оказался на его раскаленных солнцем камнях. На деревьях кое-где уже пробивались желтые листики.

В университете радостно сообщили, что новый попечитель утвердил бумаги, оставленные предшественником. Итак – всё в порядке. Достаточно было сдать переводные экзамены – и студент Костомаров мог посещать лекции второго курса.

С еще бóльшим упорством взялся он за французский язык, присовокупив к нему занятия итальянским. Более того, купил фортепиано, чтобы овладеть музыкальной грамотой. В его голове все так же звучали мелодии, которые царили когда-то в московском пансионе...

И все ж для систематических музыкальных упражнений не оставалось времени. К сверкавшему лаком праздному инструменту чаще всего приближался Хома. Приподняв лакированную крышку, он одним пальцем вырывал из него попавшийся звук.

– Цур тобі! – пугался. – Яке ж воно голосне!

И быстро подносил палец ко рту, словно ожегшись невидимым пламенем.

Университетская атмосфера усилила восхищение античностью. Не давала покоя Вергилиева «Энеида», особенно – поэма «Георгики», воспевающая деревенскую жизнь.

Стихотворные размеры, которыми пользовались древние авторы, в частности гекзаметры, властно входили в практику молодого юрасовца. Количество исписанных тетрадей росло и росло... Возникла даже мечта увидеть все это когда-нибудь напечатанным.

Забегая вперед, укажем, что данной мечте не суждено было сбыться. Получилось так, что стихосложение на русском языке студент вскоре забросил полностью, а тетрадки, заполненные русскими стихами, оказались потерянными в 1847 году.

1835 год принес оживление в размеренное житье: был принят типовой устав для всех российских университетов (в 1834 году в Киеве открылось еще одно высшее учебное заведение на Украине – университет Святого Владимира), вступили в силу новые правила непосредственно для Харьковского. Их утвердил Министр народного просвещения граф С. С. Уваров.

Документы, правда, только усиливали строгости николаевского режима. Они запрещали студентам жениться, знакомиться с людьми, которые пользовались «дурным» авторитетом или которых начальство заподозрило в «неблагонадежности». Студент не имел теперь права ходить в театры, посещать трактиры, носить усы, курить сигары... На лекции, как и прежде, не допускались лица женского пола...

Зато на университетских кафедрах в Харькове появились новые энергичные преподаватели. Особенно большое влияние на молодого Костомарова оказал Михаил Михайлович Лунин, который обучался за границей, в германских университетах, славившихся всесторонним изучением философских и исторических аспектов общественной жизни. Лунин так и сыпал именами европейских светил, но чаще всего употреблял выражения «Гердер говорит», «Гердер считает». Авторитет немецкого ученого в то время был чрезвычайно значителен. Эту истину Костомаров усвоил довольно быстро.

В Харьковском университете Лунин читал лекции на кафедре всеобщей истории. Он не выделялся эффектностью речи, зато поражал смыслом своих высказываний и стремлением анализировать исторические процессы. Нагромождение дат и событий, которые не поддавались логике, расползались и не удерживались в голове, а если и держались, так только на экзаменах – в устах Лунина превращалось в осмысленную науку, которая ищет и объясняет законы развития общества, начиная от седой древности.

Полностью университетские метаморфозы и роль профессора Лунина Костомаров оценил лишь со временем. Тогда-то он и написал: «... лекции этого профессора оказали на меня громадное влияние и произвели в моей духовной жизни решительный поворот: я полюбил историю более всего и с тех пор с жаром предавался чтению и изучению исторических книг».

Ветер перемен благоприятствовал также более глубокому изучению художественной литературы. На кафедре греческой

словесности вскоре объявился новый профессор – Альфонс Осипович Валицкий. Своими лекциями он помог по-новому взглянуть на взаимоотношения и взаимодействие литературы и истории, искусства и науки, понять, каким образом они дополняют друг друга.

Интерес Костомарова к исторической науке, можно сказать, возрастал с каждым днем. Ею он занимался теперь постоянно, поскольку «хотелось знать судьбу всех народов; не менее интересовала (его. – С. В.) и литература с исторической точки ее значения».

Повлияло на молодого универсанта также то, что после летних вакаций 1835 года он перебрался в дом писателя и профессора истории Петра Петровича Гулака-Артемовского. Вознося литературный талант Петра Петровича, Костомаров, все более и более критически относился к его научной и педагогической деятельности. Что говорить, в этом отношении Гулак-Артемовский, сторонник несколько устаревшей школы Николая Михайловича Карамзина, уступал блестяще подготовленному Лунину. Однако дух совмещения истории и литературы, который постоянно царил в профессорской обители, очень импонировал молодому студенту.

Сам Гулак-Артемовский к тому времени значительно отошел от активной литературной деятельности. Это случилось сразу после 1831 года, когда в его доме был проведен полицейский обыск. Репрессии властей, перепуганных событиями в западной части империи, где пылало польское восстание, не принесли ожидаемых результатов, однако надолго выбили писателя из привычного ритма. Зато университетскую работу Петр Петрович продолжал с еще большей тщательностью. Через какое-то время его избрали ректором (1841).

Нет сомнения, что маститый писатель обратил внимание на неординарного квартиранта. Между ними велись продолжительные беседы. На это указывают воспоминания Костомарова более поздней поры: «Двор Артемовского-Гулака помещался

почти при оконечности города на одной из улиц, выходивших к полю. Проминувши несколько дворов, можно было достигнуть старого кладбища с небольшою церковью; в ясные весенние и осенние дни ходить туда сделалось для меня обычною прогулкою. Узнавши об этом, мой хозяин растолковал это припадком меланхолии и стал уговаривать меня избирать для прогулок более веселые и людные места. Сам он помещался в одноэтажном деревянном доме, выходившем фасадом на улицу, а внутри довольно нарядно убранном. Студенты были размещены в двух флигелях, стоявших на дворе».

В одном из указанных дворовых сооружений, состоявшем из двух вместительных комнат, жил Костомаров со своим университетским коллегой.

Петр Петрович безошибочно угадал в постояльце незаурядного человека. Попутно следует заметить, что проживание тогдашних универсантов на профессорских квартирах считалось рядовым явлением, тогда как сами студенты общались между собою только на лекциях. Среди студентов, квартировавших у преподавателей, больше всего насчитывалось помещичьих сыновей. Это давало юношам возможность пользоваться протекцией своих непосредственных наставников.

Вожделенной мечтой таких панычей было окончание учебного заведения со званием действительного студента, которое, по табели о рангах, приравнялось к чину двенадцатого класса. Однако достигнуть подобного рода успеха было нелегко и не просто. Некоторые тратили на это десяток лет. Кое-кто даже после названного срока вынужден был оставлять учебное заведение, не добившись желанного результата. Зато те, кому это удавалось, возвращались к себе в поместья с чувством честно исполненного долга. До конца своей жизни они могли не притрагиваться к книгам, а все равно пользовались авторитетом ученого человека.

Достаточно было и таких счастливицев, кому университетский диплом сулил успешную карьеру и высокий материальный

статус. И только незначительная часть универсантов относилась к разряду людей, которые с удовольствием занимались науками. Таких «ботаников», выражаясь современным нам языком, в университете крепко помнили. Ими гордились.

Петр Петрович понял, что Костомаров относится к последней категории, что ему без надобности любые протекции. Вскоре профессор договорился со своим квартирантом: он не станет брать с него денег за проживание, зато юноша будет наставлять в истории его сыновей. Тем самым Гулак-Артемовский признавал успехи молодого коллеги.

Помимо больших способностей, Костомаров обладал еще и значительной силой воли, о чем свидетельствовало хотя бы то, что желанию учиться не смогла повредить даже очень тяжелая болезнь. Зимой, в начале 1836 года, Николай заболел черной оспой. Почти беспамятного, Хома доставил его в Юрасовку. Оттуда никак нельзя было подать в Харьков весточку; в университете распространился слух, будто студент Костомаров скончался. В этом не было ничего удивительного: страшные болезни в те годы не щадили ни молодых, ни старых. Чья-то рука уже вычеркнула «покойника» из списков. И каково же было всеобщее удивление, когда, с наступлением тепла, появился невысокий белокурый юноша, как две капли воды похожий на «покойного» Костомарова.

— Господи! — закричал кто-то, не доверяя своим глазам. — Воскрес? Неужели ты?

Явившийся был необыкновенно худ, коротко острижен, с выразительными оспинками на все еще бледном лице.

— Он!

— Он! Долго жить будет!

— Воскрес...

«Воскресший» лишь улыбался и близоручко щурил глаза. Тут же попросил:

— Рассказывайте, что без меня изучили!

Кое-кто уже видел Татьяну Петровну. Всем была ведома ее беспредельная любовь к единственному сыну. Причину выздо-

ровления товарища многие усматривали в материнской заботе и ласке.

Николай не стал отрицать:

– Да... Да...

Несмотря на бесчисленное количество не посещенных лекций, он решил наверстать упущенное и выпускные экзамены выдержал вместе со всем своим курсом. Правда, диплома со степенью кандидата по их результатам не заслужил: мешала четверка по богословию. Нелишним будет заметить, что счастливчиков-кандидатов на весь выпуск ежегодно случалось один-два, и всё. Что ж, Костомаров на этом не успокоился. Попросил разрешения допустить к повторным испытаниям и все-таки своего добился. Титул кандидата в табели о рангах относился уже к десятому классу, равнялся званию коллежского секретаря или армейского штабс-капитана.

Лично для Костомарова это имело серьезное значение: уже вступал в силу императорский указ об исключении из дворянского сословия всех беспоместных и мелкопоместных на то претендентов.

Университет, таким образом, был окончен в январе 1837 года. Костомарову шел лишь двадцатый год.

И СНОВА В ХАРЬКОВЕ

Голос профессора Лунина звучал вроде бы точно так же, как два года назад. И всё так же его слова слагались в весьма содержательные фразы. Однако, казалось, слишком многое успело перемениться в этом просторном зале, да и в голове Николая Костомарова. Перемены чувствовались не только в том, что Лунин приветливо улыбнулся, увидев бывшего ученика среди нынешних своих питомцев – наверное, разговор продолжится сразу после лекции, и совершенно не в том, что все студенты затянуты в темно-синие мундиры – словно солдаты, тогда как

в прежние годы, помнилось, студенческие массы поражали пестротой убранств...

Нет, совсем по-иному воспринимались профессорские слова – после стольких прочитанных и проштудированных книг, после долгих раздумий и впечатлений.

Молодые люди – хоть только так говорится, молодые, а сколько найдется в их массе старше годами кандидата Костомарова? – ловят каждое слово профессора. Они наперед убеждены, что услышат непреложные истины. Подобное убеждение внушили им студенты старших курсов.

Костомаров слушал внимательно, время от времени примечая, насколько профессор стал осторожнее в выводах. Он словно бы обволакивает их незримой дымкой. Порою не сразу поймешь, к какому деятелю применимы его определения...

Конечно, выпускнику, кандидату, не было надобности ловить каждое слово, но чудесная память совершала свое без малейшего напряжения и не могла подсказать чего-то похвального в адрес профессора. Ученый нисколько не продвинулся в выводах. К тому же он слишком заметно осунулся, похудел лицом. Он выглядел совсем больным.

За окнами – осень. Зримо представлялся холод разбитых дорог, опоясавших стылую землю. Виделись грязные экипажи, задубелые лошадиные ноги. Наверно, те люди, которые постоянно в пути, принакрылись, кто чем смог...

Зимой, завершив учебу, Костомаров не знал, чем займется дальше. Правда, не связывал свою судьбу с этим городом. Отдохнув в Юрасовке, поддался уговорам матери, записался корнетом в ближайший, 19-й драгунский Кинбурнский полк, расквартированный в Острогжске. Татьяна Петровна усмотрела в том явное утверждение сына во взрослой жизни: первый офицерский чин гарантирует дворянское звание! Никто не посмеет спросить, из какого ты рода, кто твои родители. Стоило увидеть его в мундире – мать расплылась в улыбке:

– Синоню! Як тобі до лица... А ще як на коня сядеш... достоменний козак! Будеш офіцером!

Однако он сам примечал: делает что-то не то.

— Полно вам, матушка... Какой из меня военный... Очки приказано снять. А без них я коня от полковника не смогу отличить!

Татьяна Петровна смеялась, принимая слова за «жарты» (ловкие шутки).

— Чого ж твоїм очам бракує? Окуляри – то забаганка. Такі гарні очі. Ти – дворянин законний.

Однако с военной карьерой пришлось распрощаться. Не столько даже по причине близорукости, сколько из-за того, что выпала возможность ознакомиться с архивами Слободского полка. В нагромождении пожелтевших бумаг слишком мало говорилось о жизни простого народа... Разговаривал со старыми людьми и окончательно убеждался: архивы скользят по тонкому слою настоящей действительности, тогда как в живых рассказах ушедшее, которое сами рассказчики не могли уже видеть, она сияет красками радуги.

— Барин! – удивлялись старики в ответ на расспросы, было ли прошлое именно таким, каким оно представлено в документах. — Да ведь наши деды баяли... Они врать не станут. Об этом даже в песнях поется. Вот послушайте...

Старики вспоминали давнишние песни, распевали их сильно дрожащими голосами. В песнях действовали гетманы, цари, полковники, атаманы. Даже Стенька Разин. Припоминали прежние танцы...

Получалось, далеко не всесильный Острогожский полковник делал историю здешнего края. Она творилась в столкновениях интересов многих людей...

В Острогожске Костомаров познакомился с сыном городского головы, неким Василием Должиковым. Тот обитал в огромном, наполовину пустующем доме. Отсчитав уже более полусотни лет, Должиков успел многое почерпнуть из жизни. Он поведал, будто в Острогожске служил молодой человек по фамилии Никитенко, из простых крепостных.

— Представляете, Николай, – разводил руками Должиков, –

Никитенко погрузился в науку – и теперь в Петербурге. Вон какие должности занимает! Потомственный дворянин!

Получалось, научными трудами, помимо того, что само по себе это очень приятное занятие, можно так же выбиться в люди, как и на военной службе...

Своими мыслями Николай поделился с матерью. Да она уже видела сына боевым офицером, потомственным дворянином. Она никак не желала расстаться с надеждами.

– Якось воно буде, Миколо... Стань лишень офіцером... Що для тебе ота наука... Що тобі до того Микитенка...

Судьбу молодого корнета в два счета решил командир полка. После жалоб сердитого вахмистра с сильно нафабранными усами – полковник призвал «новобранца» к себе в кабинет и закричал, уставившись ему в лицо:

– С чином десятого класса вы не пропадете и на гражданской службе, господин Костомаров?

Вместо ответа, прищурив глаза, корнет спросил:

– А когда можно... в отставку?

У полковника от неожиданности обмякли усы и вскинулись кустистые брови. Он захохотал. Ждал жалостных объяснений, просьб, оправданий, обещаний исправиться – и на тебе...

– Да хоть сегодня, – произнес не совсем уверенно...

И все. Сказано – сделано. Можно было до потери сознания сидеть в полутемном архивном помещении, добираясь до настоящей истории Слободского полка. Можно было заглянуть в далекое прошлое своего старинного рода... Шуршали чуткие мыши, с потолка стекала дождевая вода. Между выцветшими чернильными строчками читалось много такого, чего не признавали пьяные писаря.

Василию Должикову понравилась решительность нового приятеля. Он снова заговорил о Никитенко. По последним данным, заверил, того уже назначили ответственным цензором...

Так миновало лето.

Татьяна Петровна, окончательно смирившись с тем, что ей не суждено видеть сына в густых эполетах, заглядывала далеко вперед:

— Миколо! Христом-Богом прошу, їдь звідси, доки ти молодий. Не марнуй літа! Думай про службу, хоч би й при тій науці... Бо тобі не прожити з маєтку. Не для тебе хазяювання... І до купецтва не схильна твоя душа... Марно й записувалась. То й бен-тежно мені.... А ну ж...

Когда закончилась лекция — Костомаров подошел к Лунину. Усталый, хоть и с явным удовольствием на исхудалом лице, профессор отвечал на вопросы студентов.

— Рад вас видеть, господин Костомаров... Рассказывайте...

Рассказ о летних стараниях в острогожском архиве Лунин воспринял заинтересованно. Впалые щеки его покрылись легким румянцем.

— О, я вижу: вы хорошо усвоили мои уроки. Написать историю целого края — его Слободского полка... Именно так необходимо подходить к изучению науки. Хвалю... А что оставили драгунский полк — пусть ваша матушка не убивается. Татищев, Карамзин, Каченовский тоже бросили армейскую службу, зато стали замечательными историками... Думайте о магистерской диссертации. Мне бы очень хотелось видеть вас в наших рядах...

Вплоть до Рождественских вакаций посещал Костомаров университетские лекции, главным образом — Лунина и Валицкого. И все больше и больше угнетало его понимание, что в курсах истории, даже у лучших профессоров, исключительно мало говорится о народных массах, только о государственных деятелях, иногда — о законах, снова-таки придуманных и подаренных людям мудрыми правителями.

Лекции, раздумья и неустанное чтение книг приносили все более ощутимые результаты. Вскоре молодой исследователь окончательно «пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, но и в живом

народе. Не может быть, чтобы века прошедшей жизни не отпечатались в жизни и воспоминаниях потомков: нужно только искать – и, наверное, найдется многое, что до сих пор упущено наукою».

Итак, стоило изучать все то, что держали в памяти старики, как вот в Острогожске. Изучать все, что уцелело в народном быту, в народных песнях.

Поскольку вокруг Харькова жили преимущественно украинцы, то Костомаров решил начинать свои студии непосредственно среди них, как считал – с малорусской ветви великорусского народа.

СРЕЗНЕВСКИЙ

Напечатанных памятников устного народного творчества, в частности малорусского (украинского), в те времена насчитывалось мало.

Собирание их только лишь начиналось, хотя уже набирала веса смелая мысль, будто в фольклорных произведениях, в народной фантазии, действительно отразились факты далекого прошлого. В отечественной науке чуть ли не первым указал на это К. Ф. Калайдович в своем предисловии к публикации русских былин – книга с былинами вышла в 1818 году. Еще год спустя, читатели ознакомились с украинскими народными думами, правда, литературно обработанными издателем Н. А. Цёртелевым (Церетели), который, кстати, служил в Харькове помощником попечителя учебного округа и был хорошо знаком Костомарову.

Первое, что попало на глаза начинающему исследователю, были «Малорусские песни», изданные в Москве М. А. Максимовичем (1827), тогда совсем молодым еще украинским ученым, философом, историком и этнографом, который, после окончания Московского университета и непродолжительного в нем профессорства – стал ректором только что основан-

ного в Киеве университета Святого Владимира (1834). В свое время указанный сборник народного творчества заинтересовал даже А. С. Пушкина, поэт неоднократно встречался с Максимовичем. Собранные в книге песни настолько понравились Костомарову – своей завершенностью, глубиной отраженных в них чувств и высокой образностью – что месяц спустя, по его собственным признаниям, он знал их уже наизусть!

Почти такое же наслаждение получил исследователь и от песен великорусского народа, собранных и выданных И. П. Сахаровым (1838–1839).

Интерес к украинскому народному творчеству разрастался.

К тому времени в Харькове выходили книги фольклорного и историко-литературного сборника «Запорожская старина». Там публиковались исторические песни, думы, отрывки из казацких летописей, пересказы, а также оригинальные статьи на эту тематику, сочиненные самим издателем. Издавал и редактировал сборник, как значилось на титульной странице, Измаил Иванович Срезневский. Естественно, издание, – а вышло всего шесть его выпусков, – было запоем прочитано Костомаровым.

В доме Гулака-Артемовского, где все еще продолжал кватировать Костомаров, в должности домашнего учителя обрелся некий Амвросий Лукьянович Метлинский. Это был чересчур слабый телом, сухощавый, астенический юноша. Он восхищался поэзией, народным творчеством, читал свои собственные стихи, сочиненные на певучей украинской мове. Происходя из семьи обедневшего помещика, Амвросий Лукьянович окончил уже харьковские гимназию и университет и готовился к защите магистерской диссертации. Будучи не на много старше Костомарова, он не скрывал от него, что мечтает издать свои творы (произведения), что ради этого приготовил уже псевдоним – Амвросий Могила. Поэзия его действительно питалась далеким прошлым, но именно этот интерес к так мало ценимому народному творчеству и сблизил молодых людей. Они стали приятелями.

Метлинский обещал познакомить коллегу с издателем Срезневским, к тому времени — уже профессором Харьковского университета по курсу статистики.

— Только послушай, Николай! — восхищенно твердил Амвросий Лукьянович. — Он такой... Сейчас тебе все расскажу!

Из рассказов Метлинского получалось, что Измаил Иванович Срезневский вырос в Харькове, хотя, как писали впоследствии, был рязанцем по деду, ярославцем по месту рождения. Отца его, еще до появления сына, пригласили профессором красноречия и поэзии в Харьковском университете. Однако профессорство это продолжалось недолго: Иван Семенович Срезневский скончался в молодом возрасте, когда старшему сыну его, Измаилу, исполнилось всего семь лет. 26-летняя вдова Ивана Срезневского, оставшись с тремя детьми, нисколько не растерялась. Благодаря стараниям отцовских друзей и материнским заботам, Измаил Иванович получил великолепное образование. В семнадцатилетнем возрасте он окончил университет, став его украшением и гордостью.

Срезневский действительно оказался очень молодым еще человеком, удивительно умным, начитанным. Заинтересованность его украинским фольклором не знала границ.

После первого же знакомства Костомаров стал повседневным гостем в квартире Измаила Ивановича, жившего за речкой Лопанью, в доме Юнкфера, путь к которому пролегал через скрипучий деревянный мосток. Затем надо было следовать по пыльной дороге вдоль бесконечных тынов и заборов с горшками и макитрами, с торчащими над воротами бараными шапками пожилых «казаков». Пыхая люльками-трубками, спрятанными под седыми усами, старики почтительно приветствовали прохожего. Они с удовольствием отвечали на его вопросы о значении разных старинных слов, а также о том, что творилось здесь в давние годы.

Профессорский дом становился вроде бы продолжением народного гостеприимства. Притягательности ему придавала

Елена Ивановна, мать Измаила Ивановича, от которой, по признанию самого Срезневского, у него не имелось секретов. Елена Ивановна, в свою очередь, оказалась также крепко начитанной моложавой женщиной, замечательной музыканткой. Фортипианные звуки, добытые ее пальцами, вбирали в себя красоту окружающих мест, усыпанных снегом садов, скованной льдами речки, равно и мальчишек, которые с визгом слетали на санках вниз. Вбирали те звуки также теплынь подоспевших весенних и летних степных вечеров, когда наслаждением чудится само пребывание в сумерках, насквозь пропахших цветами...

В продолжительных разговорах в этом милом семействе вскоре выяснилось, что Срезневский, оставив на время службу, исполнял обязанности учителя в усадьбе помещиков Подольских в Екатеринославской губернии, недалеко от Днепровских порогов.

Прикрыв руками глаза, Измаил Иванович задумчиво вспоминал:

– Вот где красота, Николай Иванович! Величие природы побуждает человека на великие свершения и на создание замечательных песен... Если желаете постичь народную душу, вам необходимо побывать в тех местах, где зарождается поэзия!

Говорил Измаил Иванович страстно. Виденных когда-то людей рисовал такими концентрированными мазками, что они представляли зримо, словно уже входили в это вот помещение. Они смахивали на героев молодого писателя Гоголя, который издал в Петербурге несколько книжек об Украине. Их Николай Иванович прочитал одним духом.

– Скажем, встретился старый дед, – продолжал Срезневский, – не менее девяти десятков ему, но все еще крепок телом. Настоящий дуб. И в голове его столько всякой всячины! Я не успевал записывать. А теперь вот мучаюсь, что, в первую очередь, следует поместить в «Запорожской старине». Я привез оттуда горы бумаг. Мне сам Гоголь завидует!

– Гоголь? – поразился Николай Иванович. – Писатель?

– Он. Вот смотрите.

Уже по тому, с каким трепетом подавал Измаил Иванович распечатанное письмо, можно было понять: переписка имеет для него чрезвычайное значение.

– Читайте эти места...

На чуть-чуть пожелтевшей бумаге писалось: «Вы уже сделали мне важную услугу изданием «Запорожской Старины». Где выкопали Вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандуристов – ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны прежде, прочие были для меня все – новость! Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, чего бы хотел отыскать... каждый звук песни говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи...»

У Николая Ивановича остановилось дыхание:

– Я тоже так думаю, Измаил Иванович! Именно так... Надо «прислушиваться к умирающему голосу седой старины», – верно сказано... Наибольшая правда – в народных песнях!

– Да, да...

Измаил Иванович приводил слова европейских ученых. Ссылался на великого Гердера, современника Гете. Для правильного понимания нашего прошлого, подчеркивал умный немец, фольклор имеет непреходящее значение.

Разговоры перескакивали на славянские народы, их историю, исторические судьбы. Срезневский разбирался во всем этом как истый специалист, отчего горизонты славянства раскрывались невероятно широко. Костомарову порою казалось, что он уподобляется гоголевскому герою, для которого стало видно «очень далеко», причем – во все стороны...

Однако он все еще не мог определиться, чем следует заниматься в первую очередь: историей или словесностью. Интересовало и то, и другое.

Оставалось обратиться к чтению произведений украинских авторов. Таких произведений тогда насчитывалось совсем немного. К тому же Николай Иванович еще почти ничего не успел

из них прочитать, кроме, пожалуй, «Энеиды» Котляревского. Да и то – попробовал было раскрыть эту книгу в детстве – ничего не понял. Оставил ее надолго, хотя отец, также Иван Петрович, все-таки добирался до смысла малорусских слов...

Однажды вечером Измаил Иванович рассказал о недавней встрече с автором «Энеиды».

– С Котляревским?

– Да. Живет он в Полтаве. Небольшой домик, сад... Чудесный вид из окон на Ворсклу... Старый уже человек. Многолетней службой заработал приличную пенсию. Там его все почитают. Жизнь не тяготится, но допекает то, что ему до сих пор не приходилось видеть в печати собственных пьес, которые не сходят со сцены как в полтавском, так и в нашем, харьковском театре. Антрепренер Штейн не имеет понятия об авторском праве. Вы видели эти представления?

– Говорите о «Наталке Полтавке»? Чудо. Хоть и не все мне понятно...

– Да. А еще – о «Москале-чародее». Вот посмотрите.

Измаил Иванович освободил от ленточек синеватые листы бумаги, где четкими буквами были выведены оба названия.

– Старик поручил мне издание своих драматических произведений. Дожидаюсь разрешения. Я намерен издать «Наталку Полтавку» в первой же книге «Украинского сборника». Собственно, эта пьеса составит весь первый том...

Свое бессилие вникнуть в содержание украинских произведений Костомаров ощутил и перед сочинениями харьковчанина Квитки-Основьяненко, хотя они сразу же привлекли к себе своей необычностью, экзотичностью жизни, пока что не репрезентированной в русской литературе. Чтобы полностью усвоить повесть «Салдацкий патрет» – пришлось поломать себе голову. Помогал и живой толмач – Хома Голубченко. Кстати, сам Хома высоко оценил сочинение.

Но теперь, сознательному читателю, произведения полтавского кудесника становились понятными полной мерой. Ради

изучения украинского языка Костомаров пользовался малейшей возможностью. Он не боялся надоедать знакомым и малознакомым людям, не отставал с расспросами, пока не узнавал, что означает то или иное слово, целое выражение. Знаний набиралось столько, что их уже нельзя было доверять одной памяти: он записывал пересказы, песни, поверья, народные шутки, приметы...

Наибольшую пользу приносили посещения корчем, шинков, – то были настоящие народные клубы, – ярмарок и вечерниц (посиделок молодежи). Посещение вечерниц, правда, таило даже прямую опасность. Николай Иванович считал, что прелесть народного языка более глубоко ощущают представительницы слабого пола. Потому он напрашивался на разговоры с молодницами и девушками. И не раз получалось, что парубки принимали пришельца за своего соперника, собирались поколотить. Исследователю приходилось порою спасаться бегством. Мужики, в свою очередь, также с подозрением относились к панычу, который чешет «казнащо» на «простом» наречии. Однако, разговорившись с ним, забывали о подозрениях, принимали угощения и уже не таились ни с чем. Рассказывали о маленьких радостях, но больше – о несчастьях, о барских издевательствах...

Да, в эти годы молодой Костомаров пережил необыкновенное влияние Срезневского, который со временем стал знаменитым ученым, – хотя судьба впоследствии разделила их и даже несколько развела. Правда, они снова жили в одном и том же городе, в Санкт-Петербурге, преподавали в столичном университете, но прежнего взаимопонимания между ними больше не возникало. Костомаров даже считал, будто в сборниках «Запорожской старины» опубликовано немало произведений, составленных самим Срезневским, лишь стилизованных под фольклор. Однако он всегда высоко ценил талант Измаила Ивановича.

В результате постоянного общения с простым украинским народом Костомаров пришел к неопровержимым выводам: «Меня поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской

народной поэзии; я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства таились в произведениях народа, столь близкого ко мне и о котором я, оказывается, ничего не знал».

Он сделал еще один невероятный вывод: язык, который обыватели снисходительно называют малорусским, на котором разговаривают в юго-восточных губерниях Российской империи и в так называемом Галицком королевстве, находящемся под властью Австрии, – не является наречием русского языка, образовавшимся в более поздние времена! Нет, этот язык, полагал он, существовал издавна и теперь существует как образование чисто славянского корня, которое, по своему грамматическому и лексическому составу, занимает середину между восточными и западными наречиями огромного славянского племени! Язык этот очень богат, исключительно правилен, гармоничен и вполне пригоден для развития литературной словесности.

Да, молодой ученый открыл для себя чудесный новый язык, существования которого совершенно не подозревал, поскольку свято верил отцу, будто мать говорит на мужичьем наречии, которое не стоит употреблять культурному человеку: на нем, вроде бы, невозможно что-нибудь выразить, кроме разве очень смешного, слишком «кумедного».

Костомаров просто-таки упивался новыми знаниями и своим «открытием».

ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗАМЫСЛЫ

Той же зимой Николай Иванович, вместе с Хомою, наведалься в Полтаву.

На высоком пригорке, напротив потемневшей церкви, возведенной стараниями полковника Мартына Пушкаря, современника и последователя Богдана Хмельницкого – путешественники заметили описанный Срезневским дубовый домик. Из не-

большого дворика, окружавшего строение, действительно открывались чудесные виды на Ворсклу, на аккуратные по-над нею хаты, на удаленный, синеющий на горизонте лес. Однако переступить порог домика, чтобы познакомиться с поэтом, – Костомарову не удалось. Полтавчане заранее сообщили, что Иван Петрович болеет.

– Но это ничего, паньчу, – утешили на прощанье. – Летом наведаетесь. Бога будете благодарить. Посидите с Иваном Петровичем... Здесь так хорошо – такого в раю не увидите.

Разумеется, в путешествие Костомаров поехал вооруженный знаниями о прошлом Украины. Главным образом, набрался их из «Истории Малой России» Дмитрия Николаевича Бантыша-Каменского, изданной в нескольких томах в 1822 году. Бантыш-Каменский служил когда-то при киевском генерал-губернаторе, имел доступ к любым архивам. Его всячески поддерживал также князь Н. Г. Репнин-Волконский, родной брат декабриста С. Г. Волконского.

Полтава, скорее, смахивала на большое село, чем на губернский город. Из оборонительных сооружений, помнивших подвиги русских и украинских воинов, в самом городе уже мало что оставалось. Не было больше земляных валов, на которые пытались взобраться захватчики. А как бы хотелось увидеть свидетелей сражения, которое решило исход великой войны!

Костомаров нанял извозчика и вскоре сидел уже вместе с Хомой в невысоких санках. Следовали вдоль засыпанной снегом Ворсклы, держа направление на север. Миновали Крестовоздвиженский монастырь на высокой горе, где стремительно возносилась к небу стройная колокольня. В свое время святая обитель была захвачена шведами.

Извозчик, старый крестьянин с кусочками льда в бороде, примечал беспокойство паньча. Тому не терпелось определить конкретное место, где, по рассказам, был ранен король. Нетерпение паньча переходило и на слугу.

– Возле той вон вербы попали королю в пятку, – сказал старик. – Ой, как он кричал!.. Словно поросенок в заборе!

– Неужели точно известно? – переспросил паныч, а слуга стал креститься:

– Як це ви, діду, можете короля з поросям рівняти?

Старик отвечал панычу, не Хома:

– Точно! Правда кое-кто сомневается... Но я слышал от своего деда! А деду – верные люди говорили, которые это видели...

– Може бути! – соглашался Хома. – Мені самому якось кінь наступив був на ногу, так я на небо ліз! А то ж – наче цвяха загнати в тіло!

– Ну, ну, – соглашался дед и с Хомою.

Везде лежали снега. Гладкие, чистенькие. Разве что в колеях растекались желтые пятна, оставленные лошадьми. И снова – все чисто. Только копыта перед глазами...

На заснеженном поле, недалеко от сёл Яковцы и Будища, путешественники задержались дольше обычного. Хотелось как следует разглядеть песчаные насыпи, которые едва проступали из-под снежного крова. Трудно было даже разгадать, здесь ли торчали сооружения, о которые разбивались шведские силы.

– Тут их полегло – видимо-невидимо! – продолжал возчик, раскрасневшийся оттого, что вот ему суждено копать в снегу, сопровождая приезжего барина. Лошадки жевали овес, или сено, кому дано знать, чего насыпано в торбу. – Можем подъехать к могиле-побиванке, коли имеете охоту, панычу?

Побывали, естественно, и возле братской могилы. Заглянули также в Диканьку, кучубеевское имение. Все так же впивались в небо высокие тополя, словно стройные девушки в белых шубейках. Темноствольные дубы, с пятнами желтых листьев, разлетевшихся по снежному пространству, наверняка же видели чужаков...

Молодой и старый священники в Диканьской церкви демонстрировали рубашу, которая, вроде, была на плечах у пращура современных графов Кочубеев. Его казнили за Днепром, недалеко от Белой Церкви.

– Мазепа пролил безвинную кровь! – с заученной болью в голосе промолвил старый священник.

На это мгновенно откликнулся чуткий Хома:

– Бог його покарає!

– Анафема ему вечная! – блеснуло попово око. – Анафе-е-ма!

Костомаров жадно вбирал все услышанное, пестуя затаенную цель. В Харькове у него оставалась тетрадь с собственным драматическим произведением, героиней которого стала дочь давно истлевшего Кочубея – Матрена: именно ее вывел Пушкин в поэме «Полтава» под благозвучным прозванием Мария. Николай Иванович стремился отыскать места, где могла ходить настоящая Кочубеевна. Он расспрашивал графскую челядь, что и кому известно о тех временах.

В голове путешественника, между тем, теснилось много новых стихов. Он готовил баллады на украинскую тематику.

Путешествия подстегивали воображение.

Возвратясь домой, Николай Иванович засел за работу. Он горбился за столом на протяжении множества вечеров и ночей, скрипел перьями, перечитывал сочиненное, отбивая рукою такты, зачеркивал, исправлял. Наконец прочитал Хоме, делая вид, будто смотрит в чужие строки. Хома воспринимал все за чистую монету и откровенно дивился, до чего же дошли просвещенные люди:

– Ти бач! По-нашому писано! Гарно... Й не інакше, скажу вам, паничу, як люди там побували, куди ми з вами їздили!

Когда же написанное было прочитано Метлинскому – Амвросий Лукьянович не выразил восторга:

– Не пристало тебе, Николай, писать по-нашему. Не пришлось тебе всосать нашу мову с молоком матери. Пиши на русском языке, если так уж не терпится. Тот язык выверен. Вот и Маркевич так поступил...

Метлинский говорил об историке и поэте Николае Андреевиче Маркевиче, издавшем в Москве книгу «Украинские мелодии» (1831), насыщенную картинками далекого прошлого.

– Нет! – не соглашался Костомаров. – Я обязан воспользоваться этим богатством!

– И что с того? – опускал голову Метлинский. – Вот я, природный «хохол», и то сомневаюсь, сто́ит ли сочинять на «мужичьем» языке... Мужик читать не умеет, а барин не хочет... Вот что сказано в петербургском журнале «Северная пчела». – Его руки очень быстро нашли необходимую страницу: – «Все пишущие и читающие малороссияне отказались от родного языка; помещики, в домашнем быту, говорят не иначе, как по-русски; одни только чумаки сохранили старинное свое наречие... Старина, прежний язык, прежние обычаи сохранились только в низшем классе народа, все прочее обрусело. К чему создавать литературу в таком народе, который утратил свою особенность, свою частную физиономию?»

Он посмотрел в окно и начал читать свои строчки:

*Дивляться з неба ясененько дрібні зірки;
Мають-біліють над могилками хустки...*

Голос дрогнул, он прервал чтение.

– Да что они понимают! – не желал и слушать Николай Иванович. – Побывали бы здесь, среди самого народа!..

Костомаров и впредь продолжал «компоновать» собственные стихотворения на украинском языке. В феврале завершил драму «Савва Чалый». Прочитал ее Срезневскому – Измаил Иванович просиял лицом:

– «Чогось мені, братця, горілка не п'ється, печаль коло серця як гадина в'ється!»... Очень хорошо! Мы еще докажем миру, какой это прекрасный язык!

Похвала знатока окрыляла.

– Докажем, Измаил Иванович!

Осенью 1838 года, после проведенного в Юрасовке лета, Костомаров снова явился в Харьков, чтобы напечатать своего «Сав-

ву Чалого». Драма была основательно обработана. Хватило времени и на то, чтобы овладеть в Юрасовке немецким языком. Ради этого прочитал на сельском приволье всего Гете, разумеется – на языке оригинала.

А дружба с Метлинским крепла. Весной они съездили вместе в Москву. Метлинский имел специальное поручение от харьковского университетского начальства, Николай Иванович – посещал лекции в Московском университете, поскольку собирался сдавать экзамен, стать магистром русской словесности. Слушал, однако, лекции Михаила Петровича Погодина, который еще в 1835 году переведен был на кафедру русской истории. Убежденный славянофил, сторонник самобытного пути исторического развития России, высокий, сухощавый, с каким-то плаксивым выражением малоподвижного лица, Погодин делился впечатлениями от зарубежной поездки, рассказывал о знакомствах с деятелями чешского национального движения – с Шафариком, Ганкой, Юнгманом, Палацким. Погодина слушали внимательно, помнили о его дружеских отношениях с Гоголем... Увлекали Николая Ивановича также риторически-щедрые импровизации приятеля Погодина – Степана Петровича Шевырева, наполненные прямыми ссылками на Гердера... Посещал он и лекции других профессоров.

В Москве Костомарову снова пришло на мысль, что необходимо срочно добиваться ученой степени магистра истории. А все это убеждало его, что ради надежного научного будущего необходимо овладеть как можно большим количеством иностранных языков. Потому и после возвращения в Харьков Николай Иванович не терял даром времени: пока печаталась его драма, успел изучить чешский и польский.

К занятиям наукой подбивало и то, что летом 1838 года Николая Ивановича поджидала большая неприятность: он был исключен из купеческого общества, то есть попал под действие императорского указа, поскольку не служил ни по военному, ни по гражданскому ведомству.

Тревога Татьяны Петровны переходила все границы.

Книги «Савва Чалый» и «Украинские баллады» вышли весной 1839 года, хотя на обложке первой стояла цифра 1838. Еще через год появился сборник украинских произведений под названием «Ветка». Литературный псевдоним молодого автора звучал как «Иеремия Галка».

Драма «Савва Чалый», действие которой разворачивается в XVII столетии, хотя настоящий Савва жил сотнею лет позднее, — стала едва ли не первой в украинской литературе исторической пьесой. В основе ее лежит народная песня, которая, под пером сочинителя, обрела значительное переосмысление. Главный герой ее, чье имя выставлено на обложке, воспринимался исключительным смельчаком. Ему страстно хочется власти, признания толпы. Однако в своих устремлениях он встречает противодействие казаков, которые не желают иметь над собою властолюбивого предводителя. Гонимый толпой Савва в лагерь врагов. Он переходит на сторону польских шляхтичей, но и там удержаться не в силах. Герой снова возвращается к кровным товарищам, где и погибает от руки сомнительного дружка...

Произведение по целому комплексу свойств отвечало постулатам жанра, поскольку вмещало все то, что требовалось, даже что-то вполне шекспировское: и острый конфликт, и стечение драматических обстоятельств, и трагическую развязку.

Еще одним драматическим произведением Иеремии Галки стала «Переяславская ночь», напечатанная в 1841 году. В ней отражены времена Богдана Хмельницкого. Центральная героиня носит имя Марина. Это волевая, страстная натура, патриотка поработенной страны. Конфликт усложнен диалектическим пониманием человеческой природы. Марина ненавидит польских захватчиков, однако сама влюблена в представителя их сообщества — в красивого польского рыцаря. Взяв все-таки верх над собственным чувством, девушка приходит к пониманию, что самое главное для человека — это исполнение обязанностей перед родной землею. Марина остается верной Отчизне.

Мы располагаем известиями, что, увлеченный накалом страстей в украинской истории, красотой украинского слова, – Костомаров создает также драмы о многих других событиях, в частности – об эпохах гетманов Косинского и Мазепы. К сожалению, они до нас не дошли...

В многочисленных украинских поэзиях Костомарова, написанных в разбираемое время и в значительной степени опубликованных в периодике, чувствуется настоящая любовь к народу, восхищение его героическим прошлым и ненависть к угнетателям. В качестве примера можно привести стихотворение «Пан Шульпика», где описывается расправа с феодалом-грабителем, или балладу «Конь», где осуждается своеволие феодала, которому собственный конь не пожелал прислуживать в разбойных поступках, убил хозяина. В произведении «Максим Перебийнос», в романтическом духе, изображен сподвижник Богдана Хмельницкого, атаман крестьянского восстания. В стихотворении «Ласточка» видим, как тяжело казаку оставлять одинокую мать, но страдания отчизны кажутся ему более существенными, обязательства по ее защите – важнее всего. Оплакивая сына, отдавшего жизнь за родную землю, мать превращается в ласточку... Народный певец-сказитель Митуса, в одноименном произведении, не падает на колени перед грозным правителем, а предвещает ему и всем угнетателям скорый, неумолимый суд...

Не остался Костомаров равнодушным и к современным вопросам. Его «Греческая песня» посвящена борьбе эллинских патриотов, восставших против турок (1821). Герой Буковалл вступает с ними в схватку.

Значительное место в поэтических наработках Костомарова заняли также казакофильские мотивы (здесь он всецело подпал под влияние Амвросия Метлинского, которого критики впоследствии назовут консервативным романтиком), а также философские темы – в них превалируют минорные настроения, вроде строчек:

*Світять зорі, як світили, і будуть світити,
А ми, на них надивившись, ляжем в землю тліти...*

Есть в стихотворениях Костомарова и любовные, личные мотивы, восхищение девичьей красотой, природой, а также посвящения своим близким друзьям и приятелям.

Заслуживает внимания и то, что уже в этих ранних художественных произведениях автор проявил некоторую противоречивость в основополагающих взглядах. Сказанное относится к произведению «Славянам». Раскрывая идею освобождения южного славянства и наказания его врагов, помимо тираноборческих мотивов, автор заводит разговор об освободительной миссии русского самодержавия для славянских народов, которые подвергаются не только социальному, но и национальному гнету. Именно тогда Костомаровым были написаны строки:

*Слава, честь тобі вівіки,
Орле наш двоглавий...*

Имелся в виду, разумеется, герб самодержавной России.

Естественно, такой значительный вклад в литературу вызвал резонанс критиков. Оценки были самые разноликие, поскольку они отражали мысли различных группировок и самых разных людей. «Савву Чалого», к примеру, петербургский журнал «Отечественные записки», устами критика Межевича, оценил весьма позитивно. Рецензент настаивал на том, что пьесу непременно надо поставить на сцене. А вот погодинский журнал «Москвитянин», пером А. С. Афанасьева-Чужбинского, декларировал нечто противоположное: в написанном нет ни чувства, ни исторической правды. Зато произведение получило похвальное признание в Харькове не только со стороны И. И. Срезневского, но и в кругах местной интеллигенции.

Напечатанную в альманахе «Сноп» драму «Переяславская ночь» ожидала такая же судьба: в петербургском журна-

ле «Маяк» ее высоко вознес К. М. Сементовский, завидевший в ее ткани нечто сродни древнегреческой трагедии, исполненной в рамках сугубо христианской морали. Однако произведение разделило отрицательную оценку великого русского критика В. Г. Белинского относительно всего альманаха «Сноп». Во всем новоявленном издании Белинский усмотрел лишь стремление литераторов-паньчей снять с себя франтоватые фраки и надеть простые мужицкие свитки, то есть – создавать подделки под видом литературы.

И все же поэзия Костомарова в целом была воспринята Белинским достаточно позитивно. Редактированный им журнал «Отечественные записки» в октябрьском номере за 1840 год похвалил автора «Ветки» за верно воссозданный национальный колорит, за яркие краски и высоко поставил его гибкий и нежный поэтический талант.

Завершая данный разговор, необходимо отметить, что во всех перечисленных наработках молодого Костомарова – современников подкупало соединение исторических событий и народных легенд, общественных и личных мотивов, актуальности и какого-то свежего звучания его поэтического слова. Все это базировалось на тщательном изучении украинского фольклора, на особом внимании к проявлениям народной жизни.

К изучению народного творчества Костомаров шел от занятий историей, еще слабо, полусознательно ощущая, что делает это ради изучения самой истории.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

В Харькове, тем временем, собралось уже много энергичных молодых людей, которые, по словам Костомарова, основную цель своей деятельности видели «в возрождении малороссийского языка и литературы». Стали появляться новые издания, укрепляли свое положение хорошо известные прежние.

Костомаров внимательно следил за творчеством окружающих его людей. К числу своих новых знакомцев Николай Иванович относил Корсуна (выпускника университета, родом из Таганрога, сына богатого помещика), бедного студента Петренко (уроженца Изюмского уезда, отличавшегося «меланхолическим характером»), талантливого поэта Щеголева, также студента, чье внимание уносилось в казацкие времена, сельского дьячка Кореницкого, автора стихотворной поэмы «Вечерницы», в которой одновременно ощущалось влияние «Энеиды» Котляревского и сильная склонность к сатире, а также семинариста Писаревского, опубликовавшего украинскую драму «Купайло на Ивана».

Александр Алексеевич Корсун, которого история назовет поэтом-романтиком консервативного направления по причине поисков идеалов в далеком прошлом, – имея достаточно средств, задумал издание уже упомянутого нами сборника «Сноп». В первой книге «Снопа» (она оказалась единственной), кроме «Переяславской ночи» Костомарова, был помещен еще целый ряд его переводов из Байрона (на украинский язык)...

Издательская деятельность в Харькове значительно оживилась после прибытия из Москвы Ивана Егоровича Бецко́го. Готовя свой сборник, Бецкой старался сблизиться с потенциальными авторами будущего издания. Состоялось его знакомство и с Костомаровым.

И все же наибольшего внимания заслуживает дружба Николая Ивановича с Григорием Федоровичем Квиткою-Основьяненко.

Сын помещика, ректора знаменитого Харьковского коллегиума, Григорий Федорович смолоду обретался в монастыре, но впоследствии оставил келью, начал принимать участие в общественной жизни. Значительной оказалась его роль в создании Харьковского театра, в основании института благородных девиц, и, как уже отмечено, в издании «Украинского вестника». Там он выступил с первыми собственными произведениями на великорусском языке, в которых осуждались недостатки господствующего класса. Со временем Григорий Федорович обратился так-

же к драматургии. Сюжетом комедии «Приезжий из столицы», написанной в 1827 году (в печати появилась в 1840), ему удалось предвосхитить Гоголя, создавшего впоследствии образ знаменитого Хлестакова. Некоторые драматические произведения харьковского автора достигали такой обличительной остроты, что власти старались преградить им доступ на сцену.

Костомаров уже числился студентом, когда появились прозаические произведения Квитки-Основьяненко на украинском языке. Ими оказались так называемые «Малороссийские повести, рассказанные Грицьком Основьяненком» (1834–1837). Главным героем их выступал крестьянин. Простого человека автор изображал с чувством глубокого уважения, в то время как у него нисколько не ощущалось недостатка в красках и приемах при обрисовке духовного отупения барственных слоев общества. На украинском языке Квитка начал писать также драматические произведения. Уже широко были обнародованы его пьесы «Свадьба на Гончаровке» (1835) и «Шельменко-денщик» (1840). Однако круг интересов талантливого харьковчанина не ограничивался литературой. Он прослыл также знатоком ушедшего прошлого, украинского фольклора, этнографии.

Само собой разумеется, знакомство с таким человеком очень импонировало Костомарову. Сблизившись с Квиткой – тому шел седьмой десяток – Николай Иванович начал навещать его дома, подобно тому, как поступал недавно с Измаилом Ивановичем Срезневским. (Самого Измаила Ивановича уже не было в Харькове: ради изучения славянских языков его командировали за границу. Не лишним будет заметить, что точно такое же задание получили преподаватели Санкт-Петербургского и Московского университетов – Прейс и Бодянский. Планировалось, что после возвращения на родину они возглавят отечественные кафедры славяноведения).

Квитка проживал в живописном предместье Харькова, в так называемой Основе (отсюда прибавление к фамилии). Там, в усадьбе брата-сенатора, у него имелся отдельный дом. Григо-

рий Федорович готовил к печати уже третий сборник произведений на украинском языке. Новая его повесть, «Сердешна Оксана», появилась в петербургском альманахе «Ласточка» (1841), изданном Евгением Павловичем Гребенкой, украинским и русским писателем. Повесть же «Божьи дети» напечатал столичный журнал «Современник»...

По собственному признанию Николая Ивановича – он любил стареющего писателя. Сближению их способствовало прямо-таки старосветское гостеприимство, которое проявляла супруга Квитки, выпускница Смольного института. Ездил же Костомаров в Основу если не с Иваном Егоровичем Бецким, то с Александром Алексеевичем Корсуном. После каждого посещения он чувствовал, как обогащаются его знания украинского языка.

Своими впечатлениями от этих посещений Квитки он делился с Метлинским. Тот часто болел, но все так же упорно работал над рукописями, забывая о сомнениях, на каком языке ему следует сочинять. Им был издан сборник произведений под названием «Думки и песни и еще кое-что» (1839). Часть своих наработок Амвросий Лукьянович поместил в «Снопе». Получилось настолько неплохо, что даже рецензент петербургской «Северной пчелы» вынужден был похвалить автора, пишущего на малорусском наречии, назвать его вполне «благонамеренным»...

Тем временем в украинской литературе случилось событие, значение которого никто еще не мог оценить в достаточной мере.

Но лучше, пожалуй, будет взглянуть на все это глазами приятеля Костомарова – уже известного нам издателя Александра Корсуна. В статье, помещенной в октябрьском номере журнала «Русский архив» за 1890 год, он так излагает события далеких лет: «Раз идем мы с Николаем Ивановичем в собор на архиерейскую службу и заходим к Апарину в книжную лавку. Спрашиваем: нет ли чего новенького? Апарин подает тонкую книжеч-

ку – «Кобзарь». Мы присели на лавке, да и просидели не только обедню – и самый обед: всю книгу прочитали...

Это было что-то совсем особенное, новое, оригинальное. «Кобзарь» поразил нас! Не одних нас, а всех своих читателей. Даже величественный, блестящий (жалованными за девичий институт перстнями) генерал (имеется в виду Гулак-Артемовский. – С. В.) удостоил остановить меня на улице и передать свое восхищение Шевченко, который прислал ему свою книжку, а ведь (Петр Петрович) Артемовский-Гулак был чем-то вроде Юпитера!»

Возвратившись домой, по его собственному признанию, Корсун тут же отправил поэту послание, присовокупив к нему экземпляр альманаха «Сноп». Шевченко ответил без задержки, прислав в подарок «Кобзарь» с автографом. С того времени у молодых людей завелась переписка.

Небольшая книжица «Кобзарь» Тараса Григорьевича Шевченко, изданная в Петербурге весной 1840 года, вобрала в себя всего восемь поэзий: «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». Харьковских читателей более всего, разумеется, поразила поэзия «До Основ'яненка», адресованная Григорию Федоровичу Квитке. Она была написана только что выкупленным из крепостной зависимости молодым поэтом в ответ на прочитанный в «Отечественных записках» очерк харьковчанина о кошевом атамане Черноморского казачьего войска. Очерк назывался «Головатый. Материалы для истории Малороссии». Первоначальная редакция стихотворения заключала в себе очень знаменательные строчки:

*Наш завзятий Головатий
Не вмере, не загине...*

(Впоследствии Шевченко переменял свое отношение к представителям казацкой верхушки, которая стремилась выслужить-

ся перед властями. Стихотворение зазвучало следующим образом:

*Наша дума, наша пісня
Не вмере, не загине...)*

Что же, при первом прочтении очерка молодой Шевченко наверняка умилился романтикой прошлого.

Нелишне будет отметить, что некоторые литературоведы до сих пор пребывают в убеждении, будто знакомство Костомарова с поэзией Шевченко состоялось в 1841 году, но это событие, несомненно, случилось гораздо раньше. Естественно, ориентиром для определения даты служит свидетельство Корсуна, будто бы он, возвратясь из лавки, сразу же выслал сборник «Сноп», изданный в 1841 году. В действительности же Квитка-Основьяненко знал о появлении талантливого поэта из письма Е. Гребенки еще от 18 ноября 1838 года. После публикации очерка о Головатом Шевченко прислал ему автограф упомянутого стихотворения. Письмо поэта, правда, не дошло до нашего времени, однако Квитка в сохранившемся ответе от 23 октября 1840 года благодарит за подаренный экземпляр «Кобзаря». Так мог ли импульсивный и добрый писатель не поделиться радостью со знакомыми литераторами? Да и могла ли, в конце концов, так долго добираться до Харькова книга, изданная в Петербурге? Корсун, приступив к написанию воспоминаний через много лет, мог ошибиться: сборник «Сноп» был выслан не тотчас после прочтения «Кобзаря», а после выхода сборника в свет. Значит, впечатление от стихов Кобзаря (вскоре так стали называть самого Шевченко) Николай Иванович Костомаров пережил в 1840 году.

Очевидно, автор «Украинских баллад», «Саввы Чалого», «Ветки», «Переяславской ночи» сразу же ощутил расстояние между своими возможностями и литературным даром автора «Кобзаря». На фоне харьковских литераторов Николай Иванович мог казаться себе значительным поэтом, о котором с похва-

лой отзываются в Санкт-Петербурге, даже критик Белинский – но после ознакомления с «Кобзарем» его собственные стихи предстали чем-то вроде ученических упражнений.

Не менее убедительным выступает и тот факт, что, издав серию произведений на украинском языке, еще больше написав их и только еще лишь задумав, он вдруг почувствовал холодок к беллетристике. Весь дальнейший его багаж на украинском языке оказался достаточно скромным.

Костомарову, на которого поэзия Шевченко произвела столь разительное впечатление, не дано было знать, какое влияние возымеет на него личное общение с автором «Кобзаря»...

Тем временем Николай Иванович познакомился с «украинским Ломоносовым» – В. Н. Каразиным. Тот побудил его к сотрудничеству в альманахе «Молодик», поскольку Бецкой, который поначалу слишком рьяно приступил к издательскому делу, не справился с ним. Первый выпуск «Молодика» оказался чисто русским альманахом.

Вскоре, в «Молодике на 1844 год», Николай Иванович ввел свою статью «Обозрение произведений, написанных на малорусском языке». Ее можно считать первой итогово-критической работой об украинской литературе и украинских авторах. В ней дается характеристика творчества И. Котляревского, П. Гулака-Артемовского, Г. Квитки-Основьяненко, А. Метлинского, Иська Материнки (О. Бодянского), К. Тополи, Л. Боровиковского и др. Подчеркнув в статье мысль, что «идея народности оживила» литературу, автор решительно отстаивает право южнорусского (украинского) языка на самостоятельное существование. Несмотря на то, что многие среди современных ему рецензентов и критиков называли стремление писать на украинском языке не совсем понятной «причудой», Костомаров настаивал, что данное убеждение лишено основания, поскольку такое стремление является требованием времени: оно отражает действительность!

Немало передумав над «Кобзарем», Николай Иванович в результате дал характеристику известной ему поэзии Шевчен-

ко: «Это целый народ, говорящий устами своего поэта: душа его осознала сочувствие и сходство между состоянием своим и общенародным чувством; вместе с движениями сердца, которые принадлежат поэту, живо слились движения, свойственные всякому, кто будет в состоянии ему сочувствовать... Произведения Шевченко, изданные в отдельной книжке под названием «Кобзарь», показывают в авторе необыкновенное дарование. Он не только напитан народной малороссийской поэзией, но совершенно овладел ею, подчинил ее себе и дает ей изящную, образованную форму».

На страницах «Молодика» Костомаров стремился выказать свое восхищение не только поэзией Шевченко, но и всем украинским народным творчеством, украинским словом.

Часть вторая

ИСТОРИК-ЭТНОГРАФ

ПЕРВАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Политическая карта той части Европы, которая издавна являлась ареной борьбы интересов России, Польши и Украины, существенным образом переменилась к началу XIX столетия. Неудачное восстание поляков против царизма привело к ликвидации остатков автономии Царства Польского. Царское правительство лишило поляков Конституции 1815 года, запретило им содержать автономную армию, конфисковало имения непокорных шляхтичей и магнатов. Всевозможного рода притеснениям подвергалось католическое духовенство, закрывались учебные заведения, которые функционировали под его эгидой. Украинское же шляхетство заявляло претензии на владение конфискованными имениями, выискивая доказательств собственного дворянского происхождения.

Западная Европа к тому времени уже ощутила результаты капиталистического развития. Дыхание новой формации чувствовалось на себе и Российской империя, поскольку зарождавшаяся в ней буржуазия также стремилась уничтожить остатки феодализма, не принимая во внимание национальные особенности народов. Как реакция на угрозы капиталистических метаморфоз возникло русское славянофильство, обосновывавшее самобытный путь развития России, провозглашавшее любовь ко всему славянскому, хотя эта любовь очень часто соседствовала со склонностью к консерватизму, к стремлению любым способом сохранить основы самодержавия.

Деятели культуры и представители ученого мира в западноевропейских странах искали противодействия переменам. Теоретик общественно-политического движения *Sturm und Drang* («Буря и натиск») Иоганн Готфрид Гердер вроде бы нашел пана-

цею: необходимо возрождать нации, уже в значительной мере испорченные капитализмом. Он призывал изучать быт народа, его историю, фольклор. Основные положения немецкого ученого были собраны в четырехтомной книге «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), разделы которой систематически публиковались на страницах харьковского «Украинского вестника». Мысли Гердера оказывали несомненное влияние на Квитку-Основьяненко, Срезневского, Гулака-Артемовского, Бецкого, Каразина.

В Харьковском университете гердеровские идеи пропагандировались профессорами Цихом, Луниным и Валицким. Популяризацией их занимался также ученый Кроненберг. Влияние Гердера, уже отмечалось, ощущал на себе и стоявший пока на распутье молодой Костомаров.

Осенью 1840 года, после того, как Костомаров выдержал магистерский экзамен перед профессорами Луниным, Гулаком-Артемовским, Валицким, Якимовым, Протопоповым, Рославским-Петровским и Сокальским – он получил разрешение писать диссертацию. К тому времени в голове молодого ученого созрело твердое убеждение, что предметом его увлечений прежде всего является история.

Оставалось лишь выбрать тему.

Выбору темы, созвучной его интересам и склонностям, полагают, способствовали разговоры с В. Н. Каразиным, которому не раз уже приходилось вступать в конфликты с польскими магнатами. Молодой ученый решил исследовать значение католичества в истории Западной Руси, читай – Украины. Речь шла о так называемой унии 1596 года, то есть объединении католической церкви с православной, навязанном последней польскими правящими кругами. Уния получила название Брестской, по месту провозглашения ее в этом белорусском городе. На землях, отошедших к России после последнего раздела Речи Посполитой между тремя государствами, она была ликвидирована совсем недавно (1839).

Разработка темы предоставляла возможность проследить зарождение и ход народной борьбы за национальное освобождение, которая чаще всего обретала религиозное обрамление.

На какие источники опирался молодой историк?

Об официальной истории Украины, составленной Бантышом-Каминским и изданной дважды (1822 и 1830), уже упоминалось. Автор ее, посвятивший свой труд Николаю I, тем самым демонстрировал преданность престолу.

Другой доступный источник, так называемая «История русов», ходил в рукописных копиях, начиная с 1829 года. Ее приписывали разным авторам, в числе которых называли украинского писателя и церковного деятеля Григория Конисского, Григория Полетику и его сына Василия Полетику, а также русского государственного канцлера Александра Безбородко, по происхождению украинца. По одной из версий, ее мог написать или переработать на основании какой-то рукописи русский же государственный деятель, военный губернатор Полтавской и Черниговской губерний князь Николай Григорьевич Репнин, в определенной степени находившийся в оппозиции к правительству. Книга, которую называли «золотой», «Евангелием» малорусской шляхты, обрисовывала историю украинских земель вплоть до 1769 года. Составитель ее подчеркивал, что международные отношения Украина строила на основе равенства, что ее воссоединение с Россией состоялось на принципах равноправия, в результате «высокого слова» московского царя, которому крайне необходимо было иметь союзников в борьбе с польской короной. Украина, дескать, осталась верной своим обещаниям, но лавры победы достались людям, которые оболгали ее перед русскими государями. Подобную репутацию получали князь А. Д. Меншиков, фельдмаршал Б. К. Миних и прочие.

Произведение это, распространяемое в списках (его даже считали полулегальным), протестующее против социального и национального гнета, переполненное республиканскими идеями, — сразу же обратило на себя внимание. Достаточно ска-

зять, что оно заинтересовало А. Пушкина, вдохновляло Н. Гоголя, Т. Шевченко, А. Герцена. Помимо всего прочего, в нем отстаивались права украинской дворянской верхушки на участие в системе государственного устройства, провозглашались идеи «самостийности» Украины. Благодаря стараниям О. Бодянского, «История русов» вскоре появилась в печати (1846).

Прочими источниками, на которые опирался Костомаров, работая над диссертацией, были летописи и украинский фольклор.

Напряженный труд увенчался успехом. К весне 1841 года исследователь вручил университетскому руководству готовую рукопись, а сам отправился в Крым, уповая на благодатное южное солнце и морские купания. Его одолевала болезнь горла.

Вскоре путешественник увидел чудесную природу, наполненную теплом и едкой пылью, услышал плескание ласковых волн. Кожа его улавливала дыхание свежего ветра. Притупленные горные вершины, казалось, упираются в небо...

Николай Иванович получил возможность полюбоваться древними камнями Феодосии и Керчи, остатками мощных стен, в свое время сложенных античными эллинами и средневековыми генуэзцами. Он разыскивал следы человеческого присутствия в тихих сооружениях неумолчного когда-то Бахчисарая...

А пока что можно было бродить по улицам современных городов – Севастополя и Симферополя. В Севастополе, где стояло множество военных судов, чувствовалась мощь России – настоящего морского государства.

Возвратился Николай Иванович окрепший духом и телом, однако его ни на минуту не оставляли мысли о защите диссертации. Как она пройдет?

Диссертацию, озаглавленную «О причинах и характере унии в Западной Руси», издали в виде небольшой книжки, объемом в 127 страниц и тиражом в 100 экземпляров. Эпиграфом к ней, отпечатанной в университетской типографии, послужила народ-

ная песня о ватажке крестьянского восстания Иване Гонте, составленная сразу после подавления народного движения – в 1770 году. Приведенный отрывок из песни указывал на содержание всей книги:

*О Боже мій нескінченний,
Дивитися горе,
Що тепера на сім світі
Віра віру бере.
О Боже мій нескінченний,
Що ся тепер стало?
Усе віра, усе віра,
А милості мало.*

Нелишним будет заметить, что слово «милость» в данном контексте следует понимать как «любовь» (от польского *miłość*). Впрочем, это не составляло загадки для харьковских читателей, досконально знавших польский язык. Их набиралось значительно больше, чем изданных экземпляров.

Амвросий Метлинский, уже не только издавший свои художественные произведения, но и защитивший научную диссертацию, предупреждал товарища: университетский Совет не любит, когда диссертанты высказывают идеи, несовместимые с апробированными данными.

– А ты, Николай, вложил слишком много собственных мыслей!

Амвросий Лукьянович был уверен, что приятель, перегруженный знаниями, доставит немало хлопот ученым мужам. Вскоре по городу пошли гулять слухи, будто знаменитый духовный оратор Иннокентий Борисов – он приехал с целью занять пост архиепископа – выразил неудовольствие направлением мыслей молодого историка. Зная, что тема диссертации связана с религией, а Иннокентий имеет огромное значение в такого рода делах, слух был воспринят как очень тревожный знак.

– Идем к Борису! – посоветовал Метлинский.

Так и сделали.

После разговоров с архиепископом сомнений не оставалось. Сверкая красивыми синими глазами и наслаждаясь рокотанием собственного голоса, отец Иннокентий обвинил гостя в непочтительных высказываниях в адрес константинопольских патриархов. И все же можно было догадываться, что дело не только в этом. Открыто архиепископ высказал только одно: зачем молодому человеку браться за труднейшие темы?

– Сколько героических мирских людей в летописях... Вы же читали Карамзина, пожалуй, не менее внимательно, нежели я?

– Да... Да... Но и в это время, которое я разбираю, было много ярких личностей... Чуть ли не весь народ...

– Народ? Молодой человек! Что может совершить народ, рядовая паства?..

Костомаров понял одно: в настоящее время, в преддверии защиты, легко повредить себе неосторожным словом. Он с трудом сдержался, чтобы не сказать: борьба народных масс, в которой видится грозная сила, часто лишь набирает непонятного вида. На самом же деле она не слепая, имеет свои причины. Их следует правильно понимать. Лучше всего уловить их на расстоянии этого отрезка времени – от 1596 года и до войн под водительством Богдана Хмельницкого.

На прощанье соискатель произнес ничего не стоящие слова...

Для защиты диссертации был назначен срок – 27 марта 1842 года, одиннадцать часов дня – однако диссертанта уведомили, что все отменяется. Диссертация прочитана академиком Петербургской Академии наук Н. Г. Устряловым, и Министр народного просвещения С. С. Уваров прислал распоряжение собрать и уничтожить все экземпляры. Автор официально обвиняется в том, что он неуважительно отнесся к политике российских государей, вместо этого – большое значение придает народному движению. Министр подчеркнул, что подобные рассуждения могут привлечь внимание не только ученых и духовенства, но и рядовых читателей. А это сейчас нежелательно.

За написание столь крамольного труда выпускником Харьковского университета ученому Совету его объявляется выговор, хотя диссертанту будет разрешено писать новый труд, если он того пожелает.

Амвросий Лукьянович, утешая приятеля, тяжело вздыхал:

– Я предупреждал... Ты переборщил, Николай!

Костомаров, выходя из университета вслед за Метлинским, выглядел необычно бледным. Дрожащие губы его изрекали:

– Песни, я убежден, всегда говорят правду... Они не могут иначе...

– Не переживай. Ты еще свое докажешь... Песни не врут, твоя правда, – был уверен Метлинский.

– Да! Да! Я постараюсь...

Отпечатанную диссертацию собрали и уничтожили. Достаточно сказать, что сам Костомаров, скопивший обширную библиотеку, не имел ее у себя. К нашему времени уцелело лишь несколько экземпляров раритетного издания. Один из них находится в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. На его страницах сохранились карандашные пометки, сделанные рукой Гулака-Артемовского, к тому времени уже ректора. Еще одна реликвия попала в книгохранилище покойного ныне киевского ученого П. Н. Попова.

Официальный историк российской империи Н. Г. Устрялов явно спешил с оценкой труда неизвестного ему провинциально-го юноши. Академик осудил научную несостоятельность претендента, непонимание интересов России. Кстати, нелишним будет заметить, что произведения самого Устрялова действительно грешили низким научным уровнем, за что не раз подвергались критике. Обосновывая свои инвективы, Устрялов был уверен, что не ошибается.

В действительности все обстояло далеко не так, кроме одного: диссертант отнесся к пониманию истории нешаблонно, от-

вергая традиции. Исследование получилось довольно примитивным, если смотреть на него из современного состояния мировой науки, зато автор выступал действительно с собственной концепцией истории Украины.

Как же понимался им ход исторического процесса?

По мнению ученого, в украинском народе за относительно недолгий период, от провозглашения Брестской унии, то есть от 1596 года и до восстания Богдана Хмельницкого, произошли разительные перемены. Кровавые притеснения подтолкнули народные массы на решительные действия. Народное выступление стало абсолютно неизбежным, потому что украинский народ терял не только гражданские, но и человеческие права. Тиранство шляхты перешагнуло всяческие пределы. Такого рода восстания не заканчиваются примирением – вот какой вывод делал исследователь.

Поскольку верховное духовенство не поддержало народ – народные массы выступили самостоятельно. Главным содержанием их устремлений стало сохранение православия и национальной идентичности. Народ у Костомарова выступает неделимой массой, руководящая роль оказывается в руках внеклассового казачества, которое само вышло из гущи народа.

В дальнейшей своей научной деятельности Костомаров пересмотрел эти взгляды, однако тогда, в начале 40-х годов, похожие выводы ощущаются также в его работах «Первые войны малорусских казаков с поляками» и «Русско-польские вельможи» (обе появились в харьковском «Молодике»). В них декларируется, что уже предводитель крестьянского восстания Г. Косинский хотел отсоединить Украину от Польши и сделаться независимым правителем. В указанных сочинениях Костомаров настаивает также на том, что православные шляхтичи боролись за неприкосновенность православия. Напомнив польским магнатам, что украинцы соединились с ними как равные с равными, они тем самым протестовали против притеснений со стороны католической шляхты. В конце концов ученый выразил твер-

дое убеждение: католичество, с его неприемлемым принципом «цель оправдывает средства» – является врагом православия.

Исключительное внимание диссертанта к интересам народных масс, к их роли во всем историческом процессе – насторожило охранителей самодержавно-крепостнической России, правящие круги которой неустанно боролись с выступлениями против существующего строя.

Главное достижение автора уничтоженной диссертации заключается как раз в том, что он увидел силу именно в народных массах, четко выделил интересы украинских феодалов, подчеркнул двусмысленность позиций высшего духовенства.

Как бы там ни было, в первой своей значительной работе Костомаров показал себя ученым с большими потенциальными возможностями. Он обещал стать крупной величиной в отечественной науке.

ВТОРАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

16 мая 1842 года князь Николай Андреевич Цертелев, помощник попечителя Харьковского учебного округа, официально известил Костомарова, что ему позволено работать над новой темой.

Новая диссертация носила название «Об историческом значении русской народной поэзии» и была написана в кратчайшие сроки. Она также вышла отдельной книгой объемом в 214 страниц, на обложке которой были выдавлены цифры «1843».

Естественно, опираясь на достижения тогдашней отечественной и европейской науки, диссертант использовал также собственные этнографические исследования, поставив на службу истории всё достигнутое им в изучении народной жизни. Уже во вступлении к диссертации Николай Иванович изложил свои взгляды на народную поэзию как на важнейший источник изучения прошлого. История провозглашалась им прежде всего на-

укой о жизни народных масс. Само собой разумеется, соискатель магистерской степени отдавал себе отчет, что значение народного творчества не одинаково для всех аспектов науки: тщетно, например, полагаться на него при датировке событий. Человеческая память плохо удерживает хронологию. Значение фольклора, зато, возрастает при определении взглядов народа на самого себя, на свое окружение в прошлом и в нынешнем состоянии. Исследователь ставил себе задачей изучить отклики народа на все проявления собственной жизни – духовной, исторической, общественной. Украинская народная поэзия, вдобавок, сопоставляется с братской великорусской.

Диссертант привел обзор использованной литературы, уже созданной в Западной Европе. Особенно напирал он на достижения английского писателя и ученого Вальтера Скотта, а также на немца Гердера. Последний, по словам автора, «нанес сокрушительный удар по прежним мыслям и закрепил на нерушимой основе знамя народности».

Время летело. Защита новой диссертации была назначена на 14 января 1844 года. Работу прочитали все в ней заинтересованные – университетские преподаватели, члены ученого Совета, но наиболее внимательно – оппоненты, профессор Якимов и Срезневский. Измаил Иванович уже возвратился из зарубежной поездки по славянским землям, где имел возможность лично познакомиться со светилами день ото дня укреплявшегося славяноведения. На лекции к нему собиралось так много народа, что в зале порой нельзя было отыскать свободного места.

Костомаров проживал уже в доме Альбовской, недалеко от театра, куда он частенько наведывался, особенно, если там ставились пьесы И. П. Котляревского. Наилучшим исполнителем в них считался украинский актер-самородок Карп Трофимович Соленик – выходец из народа. Харьковчане могли ежедневно наблюдать его невысокую фигуру, узнавали ее по гороховому пальто и по круглой шляпе, надвинутой на лобастую голову.

Сам Николай Иванович поступил на службу в университете, стал помощником инспектора, что его нисколько не тяготило: надо было лишь раз в неделю дежурить в гулких залах. Пробовал также преподавать в частных учебных заведениях, а все свободное время посвящал написанию нового труда.

Официальная служба приносила еще и другие выгоды: в феврале 1843 года Костомаров получил права личного дворянства. Татьяна Петровна, наконец, свободно вздохнула: сыну не могла грозить нищета. Имения не отнимут.

А по городу снова, как и два года назад, пошли гулять слухи, будто начальству велено сжечь и эту диссертацию: ее невозможно защитить, поскольку в ней поддается критике Карамзин... О ней, к примеру, не может без отвращения слышать профессор Протопопов. Кажется, он первый проштудировал только что изданную книгу и сразу же понял: такой предмет, как мужицкие песни, которые человек дворянского звания записал во время променада по ближайшим селам или позаимствовал из книг родственников ему чудаков – не может наличествовать в серьезном произведении!

Протопопов на самом деле твердил всем встречным и поперечным, что ему стыдно присутствовать на такой «защите», стыдно глядеть, как выставляется на позор императорский университет вместе со своим ученым Советом!

В самом университете диссертант ощутил на себе сотни заинтересованных взглядов. Сквозь стеклышка мутных очков, которые раз за разом покрывались паром от человеческих выдохов, а потому все время приходилось вытирать их платком, он видел не только преподавателей и студентов, но и привычных к интеллектуальным занятиям харьковчан. Кое-где виднелись даже женские головы.

- Вот он! – слышалось. – Видите?.. Белобрысый...
- В очках?
- Ну да!
- Умное лицо!

- Молодой еще...
- Синеглазый какой...

Все пошло вроде именно так, как и предполагалось, однако на что-то хорошее надежды не было. Метлинский, который сидел в первом ряду, стремился встретиться с приятелем взглядом, как-то взбодрить.

- Протопопов! – прошелестело в зале. – Ой, что будет!

Профессор все-таки пришел, хотя было бы намного лучше, если бы этого не случилось. Так думалось всем, кто сочувствовал диссертанту.

Едва началось заседание, как Протопопов разразился гневной тирадой.

– Кому интересно знать, – закричал он, едва поднявшись с места, – о чем думает парубок и о чем говорит он вечером на леваде такой же неграмотной девке? Какое отношение это имеет к науке?

Смех и шум поддержали его слова.

Председательствующий, сидя за столом, покрытым зеленой тканью, под портретом Николая I, – не торопился устанавливать порядок. Вместо этого потребовал ответа и сделал вид, что сказанное диссертантом его не удовлетворяет.

- Говорите громче, господин Костомаров!

Последовавшие вопросы превосходили всё предыдущее.

– Скажите мне, – прозвучал голос официального оппонента, профессора Якимова, – где вы видите поэзию вот в этих строчках, господин диссертант...

Напрягая толстые губы, Якимов пропел, склонив на плечо свою крупную голову:

*Посію огірочки – буду поливати,
Ходи, ходи, Василечку, – буду привітати!*

Зал снова взорвался смехом, еще непонятным – по какой причине: то ли из-за манеры профессорской декламации, то ли

из-за наивного устремления молодого автора заработать ученую степень таким пустячком, как девичья песенка.

– Красиво поет!

– Вот так наука!

Диссертанту долго не позволяли высказаться. Он стоял бледный. Очки у него подрагивали.

– Мне кажется, вопрос некорректен!

Тут уж не выдержал профессор Лунин:

– На это можно ответить одним, господин Якимов! Разделите человека на части и скажите, где у него душа? Не найдете! Однако она существует? Так и здесь. В каких именно строчках запечатлена поэзия – никто не скажет, но ею переполнена вся песня! Потому что песня передает мировоззрение человека, служит свидетельством, какое место в мире отводит себе индивидуум, который ее сложил. Великий Гердер...

– Не о Гердере речь! – перебил Якимов.

Председательствующий все-таки вмешался:

– Господа! Господа!

Спор кипел и ширился.

Иннокентий Борисов, о чьей зловещей роли в провале первой диссертации Костомарова знали все присутствовавшие, взял краткое слово. Сверкая выразительными глазами, он бросил в лицо молодому ученому давно ожидаемые обвинения:

– Все мы знаем, какую лепту в сохранение исторических известий внесли монахи православной церкви. Сидя по темным кельям, погружаясь в слепоту при свете мутных светильников и свечек, вносили они на бумагу отклики обо всем, что творилось на нашей земле. Они, как написал Пушкин, одинаково верно воспринимали «добро и зло»! Итак, вера им должна быть выше всего. Это отлично понимал Карамзин! Что же видим у вас, молодой человек? Вы не уважаете Карамзина!

При слове «Карамзин» Гулак-Артемовский кивнул головою с большим седым коком. Да, он, историк и ректор, ценит заслуги великого историка.

Костомаров ответил сам:

– Уповать на одних монахов – обеднять историю. Они действительно не выходили за пределы келий. Не чувствовали народной жизни. Маяками для них служили властители, слова «сильных» людей и их поступки, а также Божьи знамения. Но и они, отражая события, опирались на фольклор, на слухи и предания. Карамзин много в чем ошибался. Он не мог вырваться из времени, не вникал в глубины событий, не понимал стремлений народа, оценивал всё только с точки зрения своего времени!

– Вот так да! – сказал кто-то тихо, и в зале установилась неопределенность.

Отец Иннокентий стукнул по полу посохом и громко упрекнул Гулака-Артемовского:

– Хоть бы вы, Петр Петрович, прививали своим воспитанникам уважение к Карамзину!

Гулак-Артемовский приподнялся с места и сдержанно, однако отрицательно, высказался о теме самой диссертации, затем похвалил Карамзина.

– Что касается меня, – завершил, – то я всегда выступал против этой темы. Научные способности господина диссертанта следовало использовать ради чего-то более дельного...

Тогда снова выступил Лунин. Михаил Михайлович отстаивал как тему, так и направление мыслей соискателя.

– Для историка, – высоко вздымался профессорский тонор, – дороже всего должно быть звучание народного голоса, проявление народного чувства и мыслей. Диссертант убеждает нас, что без анализа народного голоса настоящей исторической науки существовать не может. Народ имеет собственное мнение обо всем. И нам стоит лишь радоваться, что молодой человек так смело принялся изучать процессы, которые имеют непреходящее значение. В диссертанте я вижу будущего профессора. После защиты его обязательно надо послать за границу!

Лунин логично и складно развивал свои доказательства. Его авторитетное мнение зал воспринимал одобрительно. Михаил

Михайлович утихомирил многих, но от длительного говорения сам побледнел, стал задыхаться. Некоторые уже знали: профессор намерен ехать за границу, поправить там здоровье.

В зале дожидались, что скажут официальные оппоненты.

Они же поддержали диссертацию. Даже Якимов, который придирчиво «выискивал» поэзию в народных песнях, – и тот давно уже, по его словам, заметил в Костомарове ум исследователя.

– В лице диссертанта мы имеем *virum doctrina ornantem* (человека, украшенного знанием), – сказал Якимов под одобрительный шум в зале.

Особенно высоко оценил представленный труд Срезневский. Он подчеркнул значение его для всего славяноведения.

– Здесь, – утверждал Измаил Иванович, – передана поэзия, взятая из действительности, заимствованная из жизни. Такой диссертации я еще не видел!

И это было действительно так. Основная часть фольклорного материала в диссертации Костомарова была собрана лично автором. В нее вошло многое из слышанного на шумных ярмарках, в бесшабашных шинках, на пыльной дороге, выпрошенного у девушек, молодежи, у старых людей...

Наконец усталые члены Совета принялись подсчитывать голоса. В зале обменивались взглядами.

– Поздравляю, – начал лишь председательствующий, как зал, который настороженно относился к молодому по возрасту претенденту на степень магистра, переменял настроение, захлопал в ладони.

– Виват, Костомаров!

– Молодец!

Залу больше всего понравилась его молодость, упорство, ненасытный ум.

Работа Костомарова в самом деле заслуживала высокой оценки. На основании фольклорного материала диссертант оха-

актеризовал, во-первых, духовную жизнь украинского народа в соответствии с его собственными оценками, то есть: отношение его к природе, природным силам, к происхождению человека; во-вторых – описал, как сам народ понимает свое историческое прошлое; в-третьих – каким образом в его песнях отражена общественная жизнь, какие оценки даются различным социальным типам: чумакам, парубкам, боярам, разбойникам, господам, знахарям, солдатам, священникам, царям ...

И хотя автор нередко и впредь развивал ошибочные мысли, которые нашли себе место в первой его диссертации, хотя он наделил украинский народ особыми этническими качествами, однако он твердо стоял на позициях общности братних русского и украинского народов.

В диссертации Костомаров высоко поставил фигуру Богдана Хмельницкого как общественного деятеля, выразил уверенность, что тот правильно определил необходимость воссоединения двух государств. Наоборот, Мазепа, который вознамерился переменить достижения Богдана, обрел у него отрицательную оценку. Причем она вытекает из уст самого народа: массы не разделяли намерений этого гетмана. После воссоединения, подчеркнуто в книге, в народных украинских песнях появился дух спокойствия, поскольку двум народам вместе гораздо легче было выстоять как против южных, так и против западных врагов.

Отклики столичной прессы на защищенную диссертацию были разнообразны. Срезневский, в журнале «Москвитянин», поместил положительную рецензию, в которой настаивал на том же, что говорилось им в университетском зале. Петербургская «Библиотека для чтения» Сенковского, не проанализировав должной мерой весь труд, не погрузившись в его содержание, превратила свою статью в глумление над изложенным в нем материалом. «Отечественные записки», пером самого Белинского, подчеркнули главным образом националистическую направленность труда Костомарова, имея в виду его рассужде-

ния о самобытности украинского народа, об отличиях украинцев от русских. Общая оценка диссертации, выраженная Белинским, получилась также отрицательной. Замечательный критик ориентировался исключительно на Запад, склонял голову перед эстетикой немецкой идеалистической школы, страстно полемизировал со славянофилами.

И все же, несмотря на все недостатки произведения, следует отметить, что новый подход к изучению истории, понимание тесной взаимосвязи ее с фольклором, детальное изучение народных движений, – все это выглядело чрезвычайно прогрессивным явлением.

В отечественную науку пришел новый ученый.

Это поняли чуть ли не все сидевшие в зале.

В КИЕВЕ, ПРОЕЗДОМ

Едва дилижанс, прекратив движение, застыл на месте, как сонный солдат инвалидной команды отделился от полосатого столба. Взяв бумаги из рук кондуктора, служивый вручил их начальству.

Всё это творилось удивительно медленно, словно во сне.

Исполнив формальности, начальство подало голос:

– Пропускай!

Полосатое дерево ринулось в небо.

– Ну, не выпались! – взмахнул кнутовищем возница, лошади встрепенулись.

Пассажиры реагировали абсолютно спокойно, почти безучастно, кроме одного среди них.

– Уже Киев, господа? – спрашивал он, проспав переправу.

– Киев, конечно. Днепр позади...

По обеим сторонам улицы, вдоль которой двигался дилижанс, стояли деревянные строения. Куда ни бросишь взгляд – лишь кое-где двухэтажные, нарядные дома. И совсем уж редко – третий этаж.

Зато все жилища были окружены садами. Желтые листья на фоне переплетенных веток смахивали на позолоту. День получился удивительно солнечным, как это бывает на исходе осени. Вдоль заборов, куда не добраться солнечным лучикам, громоздились тени.

Впрочем, чему удивляться: в осеннюю пору, говорится в народе, ложка воды делает бочку грязи.

Николаю Ивановичу никак не верилось, что он уже действительно в Киеве. Так и подмывало обратиться к ближайшему соседу. Однако сосед, молчаливый провинциальный коммерсант, морщил лоб под бараньей шапкой, словно все еще продолжал считать барыши.

Именно таким представал Киев в рассказах Срезневского.

«Там, Николай Иванович, — звучали пристрастные слова, — словно бы вовсе не город, а множество хуторов, сгруппированных близ церквей! Насмотревшись на европейские диковинки, могу утверждать: Киев еще только становится городом. Зато у него есть для этого все условия. А что касается живописности — никакому городу не сравниться с Киевом!»

Золото куполов в самом деле слепило глаза. На фоне промывного грозы неба все казалось рисованным.

— Киев!

Да, он впервые увидел «мать городов русских», но не собирался здесь задерживаться. Киев долго служил резиденцией могущественных князей. Киевляне отражали нападения дерзких кочевников. Город был почти стерт с земли в результате ударов татаро-монгольских орд. Молодого ученого более всего тревожило понимание, что на киевские камни ступала нога Богдана Хмельницкого.

— Киев...

На конно-почтовой станции кривоносый кондуктор забрался на дилижансную крышу, начал снимать багажи.

— Господа! Проверяйте, всё ли доехало! Чтобы не было претензий к конторе!

Молчаливый коммерсант опередил всех спутников, исчез, не попрощавшись.

Когда же Хома принял на плечи последний баул, Николай Иванович не смог удержаться. Сказал, будто парубок до сих пор ничего не понял:

– Мы в Киеве, голубчик!

Хома знал одно: если пан подменяет его фамилию ласкательным словом – значит, у него хорошее настроение.

– Та вже ж, пане Миколо! – заулыбался Хома еще несколько неуверенно, сдвинув на затылок смушковую шапку и почесывая чуприну, черную, словно вороново крыло. Затем перекрестился на золото ближайшей церкви. – Добрались-таки. Дарма пані журилися.

Слова Хома напомнили о недавних проводах. Кроме Татьяны Петровны, которая, действительно, чересчур побивалась, словно провожала сына за море, – на почтовую станцию в Харькове съехались друзья и знакомые. Метлинский всхлипывал, тяжело дышал. Срезневский утирал слезу и просил писать с дороги. Прочие гомонили, желали успехов... Но каких? Известно ли им, что сейчас на уме у невольного путешественника?

Николай Иванович защитил диссертацию, получил магистерский матрикул. Но на университетскую кафедру его не приглашали, за границу не посылали, несмотря на то, что на этом настаивал профессор Лунин. Сам же Лунин как-то сразу после защиты уехал на воды.

«Как? – передавали разговоры, которые велись в кулуарах университетского Совета. – Допустить Костомарова на кафедру? Да он же... Блаженненький! Бродит по шинкам, дружит с мужиками... От него пахнет дегтем, как от чумака!»

Наняв извозчика, Николай Иванович с Хомой добрался до Бессарабской площади, где, по словам Срезневского, должен был находиться трактир.

На Бессарабской площади, «Бессарабке», кипело человеческое море. Смуглые усачи, из теплых плодородных земель, тор-

говали доставленными товарами. Их убранство слепило глаза невероятно пестрыми красками. Ревел скот, ржали лошади, полаивали собаки. Смеялись и голосили молодницы. Громко, речитативом, горланили лирники. Слова песен казались очень знакомыми, или же представляли собой варианты известных народных произведений...

Получив пристанище в кирпичном трактире – там всегда имелись свободные номера, – Николай Иванович отправился знакомиться с городом. Киевские улицы то круто вздымались на вездесущие там пригорки, то резко сбегали вниз. Если не принимать во внимание площадок перед воротами богатых усадеб, улицы почти что не были вымощены камнями. Кое-где, в низинах, прохожие, не одолев преграды из грязи, возвращались назад. На склонах пригорков, по которым улицы сбегали в долины, виднелись следы потоков, образовавших овраги.

Воспоминания о Харькове не давали покоя даже на киевских улицах. Николай Иванович ускорял шаги, раз за разом приговаривая:

– А я все-таки, все-таки...

В одном месте, посреди поля, за кучами пестрой земли и желтого песка, увидел огромное красностенное строение и сразу же догадался, что там такое. Однако спросил какого-то старичка, гулявшего вдоль белой тропинки:

– Университет?

– Так, проше пана, – приостановился старик, восхищенно сверкнув глазами. – Красиво, ничего не скажешь! А если вокруг него голо – так это сущие пустыки. На нашей земле все быстро покроется зеленью. Стены красные, а подножья колонн и все капители – темные... Именно эти цвета наличествуют на ордене святого Владимира. Архитектор Беретти все принимал во внимание, все учитывал...

Университетское здание в самом деле получилось величественным. К нему подъезжали кареты, вздымая невероятную пыль. Стаями носились разномастные псы. Старушка вела покорного теленка...

Срезневский, вспомнилось, пророчил, что главной магистралю в Киеве суждено стать Крещатику. Он объединит все части города. Но пока что Крещатик, иначе Крещатая долина, отличался непроходимой грязью.

Конечно, сразу же захотелось оказаться на берегах Днепра – эту речку так романтически описывал Гоголь! Могучее течение было перерезано наплавным мостом, устроенным из множества соединенных между собою барж, которые слегка поскрипывали, как только на них съезжали тяжелые экипажи. Было несколько страшно следить, как возницы «успокаивают» встревоженных лошадей – животные опасались движущейся пустоты по обеим сторонам паромы и плеска разбегавшихся волн. Время от времени они пронзительно ржали...

Возвратился Николай Иванович в трактир уже в плотных сумках, возбужденный и радостный.

– Хома! Голубчик! Ты что-нибудь ощущаешь?

– Та гарно в Києві, трясця його матері! Церкви всюди!

– И всё?

– Та Бог з вами, пане Миколо! Таке скажете... Нехай йому щур...

Николай Иванович хохотал. Он чувствовал себя абсолютно счастливым...

Город быстро окутала темень. В нем не было уличного освещения, лишь кое-где, перед воротами богатых усадеб покачивались фонари. Снопами валился свет из ближайших окон...

Что же, Киев своим благоустройством во многом уступал франтоватому Харькову, зато превосходил его славным прошлым.

На следующий день удалось найти пристанище «в господе» у зажиточного мещанина, обитавшего на Подоле. В жилище было тихо, тепло.

Оно понравилось и Хоме.

– Наче у Бога в пазусі! – разводил парубок руками. – Рай!

Итак, оставалось нанести визит попечителю Киевского учебного округа князю С. И. Давыдову, о чем многократно напоминали харьковские друзья. Но в канцелярии всесильного чиновника объяснили, что просителю следует обратиться к помощнику князя – господину Юзефовичу.

Михаил Владимирович Юзефович, майор и дуэлянт, участник кавказских войн, был недавно (1842) назначен на должность. Он все еще казался военным, которому лишь накануне посчастливилось обрести гражданский мундир. Происходя из полтавского дворянства, Юзефович считал себя «щирим шанувальником» (настоящим ценителем) малорусской старины и всего украинского. К тому же он приходился родственником любителю прошлого Василию Васильевичу Тарновскому (старшему) – тот вскоре станет собственником имения Качановки и превратит унаследованный дворец в первоклассный музей, соберет в нем массу казацких реликвий. Водил Юзефович дружбу также с другими людьми, которые тоже «купались» в остатках «минувшины».

Костомарова Юзефович встретил приветливо. После обычных любезностей приступили к главному.

– Ну-с, Николай Иванович, чем же интересуется вас Ровенская гимназия?

– Тамошними местами, – отвечал Костомаров. – Я давно избрал историю, защитил магистерскую диссертацию. Потому и в дальнейшем намерен заниматься историей. В частности – малороссийской.

– Похвально, похвально, – кивал головой Юзефович, раз за разом косясь глазами на зеркало. На широком лице его отчетливо проступали синеватые шрамы – следы поединков на студенческих шпагах. – Мне самому интересно прошлое... Но почему именно эти места?

– Интересуюсь эпохой Богдана Хмельницкого. Над ней работаю. Необходимо побывать там, где творилась «Хмельниччина». Надо изучать народные предания, песни, думы. Именно поэтому обратился к господину Цертелеву.

– Да, да, – все так же кивал Юзефович, подкручивая усы. – Николай Андреевич прислал письмо. Есть у меня хороший приятель, господин Кулиш. Также собирает народные песни... Что ж, продолжайте, Николай Иванович, изучайте историю. Как только дело приблизится к завершению, можете рассчитывать на меня: переведу поближе к Киеву. А то и в Киев. Люблю людей мыслящих... Мне приходилось общаться с Пушкиным – так он, бывало, в ад готов заглянуть...

Разговор незаметно перешел на казацкие времена. Оказалось, Юзефович по совместительству стал членом Временной комиссии по разбору старинных актов. С ним было о чем говорить.

Между тем, незаметно, в дверь пробрался один из тех молодых чиновников, которые постоянно вертятся в апартаментах значительных лиц. Что-то тихонечко прошептал патрону.

– Очень кстати! – обрадовался Юзефович, не позабыв еще раз глянуть в зеркало. – Проси!

И тут же обратился к гостю:

– Познакомьтесь с господином Кулишом!

В кабинет вошел молодой человек, с приметной горбинкой на тонком носу, с внимательными глазами, которым, однако, чуть припухшие веки придавали сонливого выражения, а красные губы – специфического настроения всему лицу. Казалось, еще совершенно не ведая, с кем предстоит разговаривать, он уже готов укорять собеседника...

Первые фразы предоставили возможность выяснить, что молодые люди кровно заинтересованы в изучении прошлого, им не раз уже приходилось вчитываться в одни и те же источники.

Разговор переметнулся на Богдана Хмельницкого.

– Мне и там приходилось бывать, куда вы торопитесь, Николай Иванович, – заверил Кулиш. – На месте я не засиживаюсь. Даже имею кое-что из записанного...

С разговорами о Хмельницком вышли на улицу. Юзефовича жаждали видеть другие просители – это можно было понять

по приказам вертлявым чиновникам, которые припадали к его ушам.

Пантелеймон Александрович Кулиш родился в семье хуторского зажиточного обывателя – не случайно один из его псевдонимов звучал «Хуторянин». Происходил он из городка Воронез, Черниговской губернии. Наследственные земли отца находились близ Новгород-Северского. В свое время юноше посчастливилось окончить пять классов тамошней гимназии. Потом началось учительство в помещичьих имениях: готовил барчат к поступлению в учебные заведения. В 1839 году Кулиш сам благополучно выдержал экзамены в Киевский университет, но проучился в нем недолго из-за отсутствия грамоты на дворянство. Последовала кратковременная служба, в частности – в городе Луцке. Ко времени знакомства с Костомаровым Кулиш подвизался куратором киевского училища, базировавшегося на Подоле. Увлечшись сочинительством, он написал роман из казачьей жизни под названием «Марко Чарнышенко» и поэму «Украина», в которой говорилось о событиях еще предбогдановой (до Хмельницкого) поры.

На протяжении недолгого пребывания в Киеве – продолжалось оно десять дней – Костомаров ежедневно навещал нового знакомого. У Кулиша в самом деле наличествовала масса записанных им народных песен. Роясь в бумагах, молодые люди не могли удержаться, когда набредали на что-нибудь интересное, чтобы не прочесть его вслух.

– Чудесно!

– Великолепно! – только и слышалось.

Говорили о польских помещиках – Михале Грабовском и Константине Свидзинском, которые также собирают старинные документы. Кулиш, давно уже поддерживавший общение с поляками, обещал свезти к ним и нового приятеля.

Вдвоем нанесли визит профессору Михаилу Александровичу Максимовичу, который жил в Старом городе, близ церкви Святой

троицы, в небольшом домишке с почти уже облетевшим садом и с десятком красных ульев под низкими кудрявыми яблонями. Максимовичу, одно время занимавшему должность ректора, едва перевалило на пятый десяток, а он уже по-стариковски жаловался на телесные немощи. Говорил, что, по причине болезни, собирается вообще оставить университет, чтобы где-то там, над Днепром, в тишине, приложить свои силы к любимой науке.

В профессорском жилище также было много записей устного народного творчества. Их бы хватило, наверное, не на один убогий сборник. К тому времени Михаил Александрович готовил к печати третью книгу народных украинских песен.

Хозяин не только внимательно слушал молодых гостей, но и сам говорил восхищенно, забывая о телесных недугах.

– Верно поступаете, Николай Иванович! Изучайте Хмельниччину! После первых побед, после битвы под Пилявцами и перемирья под Замостьем, в декабре 1648 года, Хмельницкий привел полки в этот город. Киевляне встречали победителей перед святой Софией!.. Представляете зрелище? Гудели колокола. Казаки гарцевали на конях. Народ кричал «Слава!»... Он же одной рукою сдерживал жеребца, а другой указывал соотечественникам, где следует искать помощи: на севере! У русского народа. Он еще летом отправил посольство в Москву...

После слов Максимовича Костомарову захотелось еще раз пройти по желанным местам. У Софийского собора снова гудели звоны, толпились люди. Сверкало золото куполов. Он снова и снова любовался фресками, уцелевшими со времен Киевской Руси. Стоял перед могилами во Владимирском нефе, где покоятся останки князей, пощаженные даже монголами...

А потом, пройдя в браму (ворота), долго блуждал по площади, представляя, как стучали копыта казацких коней...

Ни Максимовичу, ни Костомарову не дано было знать, что минует несколько десятилетий – и на собранные в народе деньги Хмельницкому поставят бронзовый памятник. Гетман действительно будет похожий на мудрого военачальника и государ-

ственного деятеля, который мысленно представлялся Максимовичу. Скульптор Михаил Иосифович Микешин вылепит Богдана в виде могучего всадника. Булава вождя восставшего народа будет указывать на Москву... Памятник этот, правда, откроют не только после смерти Максимовича, но и после смерти Костомарова, в 1888 году. Его увидит совсем уже старый Кулиш. Перед тем, как предстать глазам киевлян, бронзовый гетман несколько лет простоит во дворе Присутственных мест, пока отцы города не придут к соглашению, где его водворить...

Собираясь в Ровно, Костомаров был в приподнятом настроении. Он думал о собственном памятнике Хмельницкому...

Небо над Киевом затягивалось тучами. Временами начинал дуть порывистый ветер. Сеялся мелкий дождь...

ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ

Николай Иванович тщательно продумал план предстоящей поездки. Казалось, ничто не должно ускользнуть от его внимания, но всё перетасовала жуткая непогода. С неба сыпался непрерывный дождь – нечего было даже надеяться ступить на раскисшую землю. Колеса дилижанса временами проваливались в колдобины. Становилось страшно: пассажиры рисковали оказаться в грязи.

На душе путешественника было очень скверно. Под конец своего пребывания в Киеве он узнал, что там незаметно скончался профессор Лунин. Михаил Михайлович возвратился из-за границы, нисколько не поправив здоровья. Его похоронили на Байковом кладбище. Вымытый дождями гроб опустили в сырую темную яму. Так завершил свой путь человек, который не в одной голове разбудил интерес к истории, который сам еще многое мог совершить для науки: Лунин прожил всего 39 лет...

Ненастье отвлекало от тяжелых мыслей. Правобережная Украина во многом была отлична от Левобережья. На ее зем-

лях везде еще сохранялись следы беспокойного хозяйствования, отмечалось множество разрушений, настоящих руин. Язык в основном звучал везде польский, а если и украинский, то так пересыпанный полонизмами, что его можно было принимать за испорченный польский. Над шляхами раз за разом возникали угрюмые корчмы: вытянутые в длину деревянные сооружения со взъерошенными стрехами. Там, внутри, было грязно и холодно.

А тем временем пошли города со значительными названиями.

Так и подмывало выскочить в губернском центре Волыни, в древнем Житомире, где, на скалистом берегу, высился когда-то замок, уничтоженный отрядами Максима Кривоноса, сподвижника Богдана Хмельницкого. Однако дождь не стихал. По левой руке путешественника, за искривленными влагой деревьями, обступавшими широкую улицу, — высоко в небе, где-то в клубящихся тучах, мелькнули очертания католического собора с фигурой Божией матери: она вздымала распростертые к небу руки...

Какое-то время спустя дилижанс скатился с крутого берега небольшой извилистой речки и нырнул в густой девственный лес, набрякший дождем. Вдоль дороги, несмотря на дождь, двигалось много переходящего люда... На первой же остановке удалось услышать незнакомую песню о полковнике Нечае, также соратнике Хмельницкого, и предания о древних курганах, в которых спрятаны сокровища...

Лес поредел не скоро. Выбраться из дилижанса удалось только в городке под названием Корец. Там впервые разбежались на небе тучи, прорезался кусок неба, освещенный невидимым солнцем. Городок, который корнями теряется во временах Киевской Руси, стоит на речке Корчик. Замок его властителей, князей Корецких, разрушили отряды Хмельницкого. Руины торчали на крутом каменистом утесе. То, чего не уничтожили войны — уничтожало время. Даже костел, в котором лежали набальзамированные княжеские тела, еще в ярких жупанах и при

парадных карабелях (саблях), – превращался в нагромождения влажных камней.

Дальше был город Острог, место еще более удивительных сооружений на речке Вилии, также известный по периоду Киевской Руси. Особого значения этот город добился в XVI–XVII столетиях благодаря своему вкладу в развитие украинской культуры. Дело в том, что после провозглашения Люблинской унии 1569 года, когда захваченные литовскими феодалами украинские земли перешли во владение Речи Посполитой, а еще больше после провозглашения Брестской церковной унии, – Острог стал центром идеологического отпора католической агрессии. С 1576 года в нем работал первопечатник Иван Федоров, тайно покинувший Москву, где правил жестокий царь Иван Грозный. Волинский магнат, князь Константин Острожский, проводил политику, во многом независимую от польского короля. Константин Острожский стал покровителем забредшего умельца. В созданной Федоровым типографии была издана Библия на славянском языке (1580) – в науке она получила название Острожской. Западная Европа восприняла данный факт как свидетельство возросшей культуры украинских земель. Книга впервые описана В. С. Сопиковым, о чем Костомаров, безусловно, знал.

А еще в острожской типографии увидели свет полемические книги, направленные против воинственного католицизма. В городе, вокруг основанной греко-славянской школы (1570), иначе академии, возник просветительский очаг. Воспитанниками академии стали гетман Петр Сагайдачный и писатель Мелетий Смотрицкий, сын ее ректора Герасима Смотрицкого. Неподалеку от Острога, в подаренных королем имениях, проживал и сбежавший от Грозного князь Иван Курбский. В своих писаниях, пребывая в неразрывных связях с Константином Острожским, он неустанно клеймил тиранство московского государя.

Необходимо также добавить, что хотя князья Острожские не всегда стояли на стороне православной веры, зато простые их подопечные, как крестьяне, так и мещане, постоянно поддер-

живали национально-освободительное движение. Именно так позиционировали они себя и во время восстания Северина Наливайко (1594–1596). Когда же к городу приблизились отряды Хмельницкого – жители Острога встретили их приветливо и всячески пособляли при штурме замка.

Укрепления князей Острожских оказались весьма импозантными. Издали, на так называемой Замковой горе, завиднелись церковные купола и шпиль башни с огромными часами. Город опоясывали стены с четырьмя укрепленными воротами. В центре Острога размещался рынок, к которому устремлялись все улицы. Замок был двухэтажным, с глубоким, вместительным, подземельем. В просторных склепах его хранились сокровища, военные припасы, продовольствие. Под защитой могучих камней находилось также собрание рукописных и печатных книг...

Естественно, не все удалось рассмотреть Костомарову, когда он приблизился к замку по скользким камням, не обращая внимания на предупреждения Хомя и какого-то местного шляхтича с пером в драной шляпе, который не столько желал прислужиться, сколько надеялся получить денег на выпивку.

– О, то, проше пана, такой замок... *Zwodzony* (подъемный) мост! То были ясновельможные князья... Мало чего осталось...

Свидетелями прошлого оставались разве что уцелевшие ворота, башни. В пойме речки Вилии чернели унылые камыши. Под скалою улыбались стены мещанских хат.

– Вот эта башня носит название *Murowana* (Мурованная)! – кричал обнадеженный шляхтич, покачивая пером. – Это вот – Луцкие ворота! Там – Татарские!

Костомаров расспрашивал, выслушивал, рассматривал. Из его сохранившихся писем, адресованных киевскому знакомцу Константину Максимовичу Сементовскому, видно, что в те октябрьские дни он был ошарашен величием и размерами представших руин. Сквозь высокие двери, над которыми пестрели лепные украшения, он входил в просторные залы, лишенные крыши, но с еще сохранившимися колоннами, сводами, ниша-

ми, углублениями для алтарей, с изящными ангелами и святыми, уже поврежденными, однако действительно замечательной работы.

Он вторглся в руины иезуитского монастыря, спускался в двухэтажные подземелья. Видел, как в склепах солдаты местного гарнизона сдирают с мертвецов одежду, чтобы подарить ее женам. Некоторые руины оказались настолько давними, что из темных расщелин в камнях успели прорасти деревья. Такое творилось в капucinской обители. Сад, оставленный католическими монахами, арендовал какой-то ловкий делец. Уже который год, по его словам, у него получалась неплохой гешефт (прибыль).

Новые места волновали, язвили душу. Они были связаны с эпохой Хмельницкого.

Казалось, это снится сон...

РОВЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

В Ровно Костомаров приехал поздно ночью, ничего не смог разглядеть, кроме небольшой площади с деревянным распятием Иисуса Христа. Подобные сооружения встречались чуть ли не на каждом шагу. Он понял только одно: город – совсем небольшой. Переночевать пришлось в единственном более-менее подходящем отеле, если не принимать во внимание убогих заезжих дворов.

С городом познакомился только утром. Он лежал в обширной долине, по дну которой вилась речка Устивица, берущая начало на волинских высотах. Вдоль речного русла группировались пруды с холодной и чистой водою, сливавшиеся в бесконечное плетение. Между ними возносились плотины, выпирали насыпи, обсаженные тополями. Тополя гудели даже без ветра. Между прудами, на речке, также утыканной вдоль берегов деревьями, выделялся потемневший замок – прохожие сказали:

Любомирских. Разветвленная княжеская семья когда-то считалась собственником всего города.

– О, на татарских костях построен замок! – рассказывали возле шинка люди, употреблявшие массу польских слов. – Татарове насыпали выспу (остров)! Только по зводзону му мосту туда можно попасть.

– То был очень богатый магнат. Одного имения недоставало, чтобы иметь их сотню. Так друзья скинулись и купили этот город, почему и назвали «Ровно», – прибавил самый пожилой среди дедов.

Ровенские улицы переполняла грязь. Извозчиков, как это водилось в Харькове, Киеве, даже в захолустном Воронеже, – не было и в помине. К гимназии пришлось добираться пешком, остерегаясь луж. Встреча с Петром Осиповичем Абрамовым, директором гимназии, получилась слишком сдержанной. Приличия ради Абрамов поинтересовался, что привело сюда магистра истории, но его сдержанность подействовала и на гостя. Костомаров ответил мало что значащее:

– Польза государству.

– Да, – согласился директор. – Здешние земли следует тщательно осваивать. Здешних людей предстоит превратить в сторонников Российской империи. А пока что устраивайтесь...

Хозяин гостиницы, в которой остановился Николай Иванович, порекомендовал обратиться к еврею-фактору. Тот повел клиента к какому-то мещанину, называя его паном Самарским.

– Там вам будет хорошо, бенимунис! – заверял фактор. – Дочка господ Самарских отдана замуж за учителя латинского языка, пана Епифановича! Пани Галя такая красавица, что и для учителя подошла, пусть оба здоровы будут!

«Панове Самарские» оказались далеко не молодыми людьми. Они приняли предложение приезжего стать у них квартирантом. Места достаточно, вон какие строения.

– Пан Николай может хоть сейчас осмотреть покои! Вот здесь будет спальня, здесь – гостиная. Это – помещение для слуги... Как его звать?

Хома даже не догадывался, какие апартаменты отводятся для него. Когда же увидел – схватился за голову:

– Оце! Знав би – вбився б!

Неделю спустя Николай Иванович настолько свыкся со своим положением, что стал считать его вполне идеальным. Как должное воспринял и то, что питание у Самарских было хоть и простое, но очень сытое. Правда, смущало одно: вместе с «порывками» (блюдами) выставлялось много водки. Выпить любил и сам пан Самарский, и его зять Епифанович.

Водка сразу развязывала языки. Разговоры цеплялись за самое наболевшее.

– Теперь польская шляхта притихла, – утверждала пани Самарская. – Москалей опасается...

– Да, да, – кивал головой Епифанович, спеша наполнить бокал.

– Где там в дьябла (черта)! – не соглашался пан Самарский. – По-прежнему дерут с мужика три шкуры. Это здесь ничего не видно, а поезжайте в село? Поверьте, пан Николай! Еще больше пользы панам при московской власти. О! Как мордуют они православного хлопа!

Ровенская гимназия была одним из вновь основанных учебных заведений, которые создавались на территории Правобережной Украины после 1831 года. До этого обучение в школах проводилось под руководством католического и униатского духовенства, исключительно на польском языке, нынче – преимущественно на русском, под эгидой православных священников.

Гимназию недавно перевели из городка Клебани. Она размещалась в красивом новом строении псевдоклассического стиля: белые колонны сверкали на желтом, насыщенном фоне. Светлые залы и широкие коридоры его контрастировали с привычными для всех горожан домами. Из 300 гимназистов православных насчитывалось 35 человек, остальные были католиками, главным образом – поляками. Что же касается педагогиче-

ского состава – все до одного были русскими, кроме преподавателей французского и немецкого языков.

Несмотря на то, что поляков в гимназии принуждали разговаривать только по-русски, вели они себя достаточно пристойно. Для Костомарова, который впервые надел мундир учителя, зато от природы обладал талантом проповедника, – работа не представляла особого напряжения. Его слушали очень внимательно, если не сказать – с восхищением. Приходилось читать по 16 лекций в неделю. Много времени отнимала проверка сочинений, которые учитель давал воспитанникам в качестве домашнего задания. Это только подогревало интерес к истории.

Свободное время он посвящал науке, лишь временами навещаясь в ресторацию, где предпочитал играть на бильярде. Сдружился там с учителями Янковским, Малавским, Науменко, Кустовым, Чуйкевичем. Последний, недавний выпускник Киевского университета, друг и родственник Кулиша, обладал чудесным голосом, великолепно исполнял украинские народные песни.

И все ж самым дорогим отдыхом и настоящим праздником становились те дни, когда на городском базаре, или просто на тесной улице, удавалось встретить лирика, а лучше – пригласить его к себе на квартиру.

Нищие музыканты поначалу с недоверием относились к таким предложениям. Слепцы расспрашивали поводырей, что за пан перед ними, каков из себя, а зрячие выжидали, не последуют ли насмешки. Подобных приглашений в местечке не знали. Однако приятный голос барина всех успокаивал, музыканты рисковали принимать приглашения.

– Що ж, гірше не буде...

Хома встречал приведенных очень приветливо. Бежал к повару пани Самарской, приносил «потравки», угощал поводыря, расспрашивал, откуда тот родом, есть ли у него родители, как попал к старику, – и всегда печалился чужим невезением.

– Ох, лихо, лихо на світі...

Лирники без охоты рассказывали о себе. Выпивали стопку водки – и приступали к делу.

– Що співати, пане?

Николай Иванович уже сидел за столом с бумагами и каламарем (чернильницей). Лирники вслушивались в шорох листов, откашливались. Начинали тихо:

*Ой, почувайте й повидайте,
Що на Вкраїні повстало...*

Николай Иванович просил петь о Богдане, но таких песен набиралось немного. То, что двести лет назад пелось о Хмеле, теперь прикладывалось к его сподвижнику – полковнику Нечаю. Приходилось слушать о том, как казаки рубились с ляхами. Таких песен набиралось достаточно, с множеством вариантов.

*Ой, бачиш, ляше, як пан Хмельницький
На жовтім піску підбився!
Од нас, козаків, од нас, юнаків,
Ні один ляшок не скрився!*

Часы проходили как мгновения. За окнами зарождались сумерки. Поводырь сопел носом, свернувшись в клубочек на старом кресле... А голос лирника не знал усталости. Он носил слушателей вдоль пыльных шляхов, от моря до гор, вздымал на степные могилы, заставлял скакать на коне...

Николай Иванович еле успевал записывать.

Занятия учителя, столь необычные для захолустного городка, удивляли соседей и знакомых господ Самарских.

Выпив две стопки водки, так что под красным носом вздыбились белые усы, пан Самарский однажды спросил:

– Для чего вам это мычание, пан Николай?

– Для науки.
– Как? Лирником хочется стать? У вас образование и должность...

– Да нет. Пишу книгу...

– Так от нищих хотите набраться науки? Прорычать песню способен любой... Что они могут знать?

– Это наша история...

– Ага, – подозрительно глядел пан Самарский. – История... Наука...

Но понял он все по-своему. По городу вскоре пошли гулять слухи, будто новый учитель не полностью в своем уме. И хотя гимназисты говорили совершенно противоположное, да кто собирался слушать мальчишек, большинство из которых вовсе даже не местные?

К новому учителю присматривались все обыватели. Он часто слышал за спиной смешки. А что касается Хома, так ему говорили открыто, что он служит сумасшедшему пану.

ВОЛЫНСКАЯ ЗИМА

В том году город Ровно очень рано оказался в спячке. Высокие тополя, с переполненным снегом кронами, создавали впечатление, будто волынские земли заставлены деревьями, вытесанными из камня. Городские пруды в одну ночь исчезли под заносами. Их приходилось расчищать, оголяя ледяные поверхности.

Вдоль прудов, вооружившись самодельными коньками, носились детишки из бедных семейств. Они размахивали длинными рукавами и полами широких свиток. Специальной одежды бедняцким детям не шили. Ради прогулок родители разрешали донашивать всякую ветошь. Летали там также гимназисты в узеньких брюках и в ловко подогнанных к телу шинелях. У гимназистов, как правило, водились коньки фабричного производства.

В праздники на лед высыпала вся ровенская молодежь: чиновники учреждений, небогатые, но все-таки шляхтичи, офицеры местного гарнизона, а также простолюдины в жупанах. Естественно, шляхетская публика старалась держаться особняком. Зато чуть позже, отстояв церковную или костельную службу и подкрепившись праздничной трапезой, – на каток торопились степенные горожане, даже гимназические преподаватели. В результате всё перемешивалось.

В двух задымленных кузницах, торчавших возле засыпанной снегом Устивицы, в центре города, – перед Рождеством день и ночь стучали молоты: кузнецы торопились исполнить заказы богатых людей. Стук повторяло эхо в стенах высокого замка. Там не знали покоя собаки. И все же на лед из замка выходили только слуги. Члены семьи Любомирских располагали катком в закрытом двореце.

Николай Иванович пользовался любым моментом, собирая памятники народного творчества. Ему нравились открытые волюнтеры, с медлительными движениями, в чем-то похожие на юрасовцев. Они заполняли улицы и площади главным образом в воскресные и праздничные дни, сбывали зерно, продавали скот. Вместо этого покупали ремесленнические изделия: одежду, посуду, инструменты.

Он уже привык к их одежде, изготовленной из домотканого полотна или грубого сукна. Мужики носили белые полотняные рубахи с низкими воротниками. Рубахи – это было хорошо видно в душных шинках, где каждый гость непременно расстегивал верхние пуговицы, – женские руки покрывали вышивками. Дополнялся мужской «гардероб» широкими белыми брюками, которые прикрывали собой лубяные постолы. Более зажиточные – носили сапоги, смазанные щедрым дегтем. Верхняя одежда мужчин состояла из свитки серого или черного сукна.

Женщины и девушки одевались наряднее. Их платки переливались всевозможными красками. Если женщины собирались на церковную службу – они повязывали головы яркими «намит-

ками». Да и женские свитки казались более деликатными: многочисленные фалды, цветастые пояса... Украшением женского пола служили вдобавок монисты, дукачи (дукаты). Выделялись также сапоги из козьей кожи на высоких каблуках. Под свитками женщины носили также очень нарядную одежду: белые сорочки их обязательно имели на рукавах вышивки. Настоящей радугой переливались запаски и фартуки...

Уже после первых часов знакомства с волынскими крестьянами Костомаров почувствовал, что, помимо притягательности народного естества, в нем просматривается нечто иное, чем нельзя пренебречь. То, что на Харьковщине выступало несколько приглушенно, – здесь набирало полновесного звучания. Глядя на крепостных – он сразу же примечал в их глазах печаль. Нельзя было пропустить без внимания и того, что даже небогатые крестьянские наряды во многих местах заплатаны. А когда наслушался рассказов о буднях народной жизни, то в душе у него стало происходить нечто, до сих пор неизвестное. В такие минуты забывал и о песнях.

– Разве можно так жить?

– Пане... Оно – полегче стало... Церковь открыли, молимся... Но пан-лях не позволяет голову поднимать... Сам празднует, а нас – на барщину! И чуть что не так – батоги... Какая воля...

Интерес к фольклору уступал место чему-то иному. В письме к уже упоминаемому нами К. М. Сементовскому от 6 декабря 1844 года все наболевшее легло на бумагу: «Я с жадностью на каждом шагу расспрашивал о быте здешнего народа (признаюсь, это меня более занимает теперь, чем даже народная поэзия) и получил ужасные сведения. Каторга была бы лучше для них! Не говоря уж о том, что бедный русский крестьянин работает помещику вместо указанных трех дней целую неделю (что водится и у ваших полтавцев, краснея, должен это сказать!), а себе во время рабочее уделяет только праздники... обращение с ними такое, что превосходит всяческие представления о притеснениях и бросает в дрожь друга человечества».

Помещиками на Волыни были главным образом поляки. Это наводило на мысль, будто виною всему служит скорее национальный гнет, нежели социальный. Враждебное отношение к католицизму в душе Костомарова только укреплялось.

Естественно, такие условия жизни вызывали протесты. Со всем недавно на территории соседствующей с Волынью Подолии был убит предводитель крестьянского восстания Устим Якимович (Акимович) Кармелюк. Волны возглавляемого им движения прокатывались и по Ровенщине. Народ нисколько не верил сообщениям о смерти своего заступника. А в панских поместьях пугались одного имени этого человека. И такое положение продолжалось долго. Об этом свидетельствует писатель Владимир Галактионович Короленко, который жил в Ровно лет через тридцать после гибели крестьянского мстителя.

Народные чаяния не могли пройти мимо внимания исследователя. В приведенном уже письме к Сементовскому Николай Иванович извещает, что им записана песня о Кармелюке. «Любопытно мне было услышать это новейшее произведение музыки южнорусской, произведение, совершенно подобное тем, в которых воспеваются времена, более отдаленные». Ученый был убежден, что дух борьбы в народе не умер.

Когда наступили Рождественские праздники – город разом переменялся. Он заиграл всеми красками, загудел церковными звонами и наполнился пением. На какое-то время позабылись нищета и бедность. Колядники с готовностью подминали сугробы, пробивая в них тропинки. Они начали водить от двора ко двору «козу», изображаемую ловким парнем.

Николай Иванович присоединился к одной такой группе и узнал от нее секреты «народного театра». Оказалось, парень покрыт вывороченным кожухом, из-под которого торчит деревянная козья головка с вызолоченными рогами.

Колядники повернули в первый же двор. Один побежал к хозяину просить разрешения – зайти внутрь и там попрыгать.

Разрешение было получено. Парень выскочил наружу и закричал:

– Заводите, дед!

Он обращался вроде бы только к горбатому «водителю» козы, который был в щедро заплатанной свитке, имел приклеенную бороду. Однако внутрь дома бросилась вся компания, вовлекая и Костомарова. В хате коза застучала по земляному полу, устами парубка стала издавать довольно странные звуки. Дед ударил козу булавой – она взревела и тут же свалилась на пол.

– Ой! – послышалось испуганное.

– Ой, горе! Подохла! Как же так?

И что началось! Из толпы вытолкнули «торговца-еврея» в засаленной черной ермолке. Он завел с «дедом» спор. Потом вмешался городской при сабле и в настоящем мундире. Дальше присоединился лекарь в больших очках и в белом фартуке поверх одежды.

Смеху и шуткам не было конца-края...

А каких только песен удалось наслушаться в этот вечер!

– Чи вдома, вдома бідная вдова?

– Немає вдома, пішла до Бога.

– Ой дай Боже, хоч три голочки,

Хоч три голочки для сироточки...

Песни такого образа напомнили о нищенской народной жизни. Все они были наполнены многозначительным содержанием...

Рождественские каникулы предоставили возможность совершить путешествие по ближним местностям, связанным с историческими событиями. В путь Костомаров двинулся со священником ровенской церкви – отцом Иоасафом Омелянским. Наняв извозчика, путники направились поначалу к селу Дермань, недалеко от Острога.

Отец Иоасаф прекрасно ориентировался в истории волынского края. Оказалось, дерманский Свято-Троицкий монастырь основан еще в первой половине XV столетия, одним из князей Острожских, Василием Федоровичем Красным. Согласно преданиям, князь успел возвести церковь, при ней колокольню, причем лично присутствовал при их закладке. Рядом с обителью, на зеленом пригорке, красовался когда-то загородный дворец. Со временем монастырь окружили высокой стеною, на которой установили множество пушек. Чтобы сделать обитель неприступной для крымских татар, которые ежегодно совершали набеги, – перед каменными стенами вырыли ров и наполнили его водой. Через ров, из сторожевой башни, перебросили подъемный мост.

– Там уцелело немало интересного, Николай Иванович! – заверял отец Иоасаф. – Вот увидите.

На зимней дороге попадались массы людей. Торопились мелкие шляхтичи с длинными саблями поверх кунтушей невероятных расцветок, с золотою вышивкой по спящей взгляд ткани. Все они были, к тому же, в ярких нарядах, вытасненных из старинных скрынь. Изредка возникали экипажи вельмож: на красочных дверках сияли золоченые гербы. Поезд, как правило, состоял из десятков саней. По сторонам скакали конные гайдучи, готовые втоптать в снег любого зеваку. Иногда, под гром колокольчиков, пролетали царские фельдъегеря. Они будоражили всех. Но куда больше встречалось убогих крестьянских кляч. Передвигались, погружаясь в снег, ватаги плохо одетых работников – с топорами и пилами, с какими-то инструментами в огромных мешках, заброшенных за тощие спины. По обочинам, синие от холода, пели слепцы, прикрываясь лохмотьями.

Отец Иоасаф, осеняя людей широким крестным знаменем, выставлял над дорогой руки:

– Смилуйся над ними, Господи Всевышний! Доколе католические паны будут мордовать православный народ! Воля твоя над нами всеми!

Во взаимных беседах путешественники выяснили, что дерманский монастырь управлялся когда-то первопечатником Иваном Федоровым. Московиту пришлось исполнять свои функции непосредственно в центре распрей между князем Острожским и краковским королем. При монастыре функционировала библиотека, где хранились польские и латинские манускрипты, греческие, французские, немецкие и еврейские печатные издания. Кроме поддержки со стороны князей Острожских библиотека пользовалась благодеяниями богатых шляхтичей. Много книг перешло в ее хранилища из библиотеки Мелетия Смотрицкого, который, еще в первой четверти XVII столетия, служил при ней игуменом. Особого значения в истории монастыря заслуживает тот факт, что в 1602 году князь Острожский передал ему свою типографию. Святая обитель с тех пор превратилась в рассадник книжного дела. Большую часть продукции монастырская типография издавала на украинском языке.

Итак, в сороковых годах XIX столетия в описываемой библиотеке лежало еще достаточное количество редких книг. Молодой историк получил уникальную возможность с ними ознакомиться.

Дерманский монастырь волновал также тем, что в 1602 году под его защитой проживал Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына Ивана Грозного, которому якобы удалось спастись от убийц. Выбравшись из Москвы, Григорий с товарищами, Варлаамом и Мисаилом, побывал сначала в киевской Печерской обители, а потом дошагал до Острога. Уже в наше время в Загоровском монастыре на Волини была найдена книга с древней надписью: «Лета от сотворения мира 7110, месяца августа в 14 день, эту книгу... дал нам, Григорию с братией, с Варлаамом и Мисаилом, Константин Константинович, нареченный в святом крещении Василием, божией милостью пресветлый князь Острожский, воевода Киевский». Чьей-то рукою над словом «Григорий» было выведено – «царевичу московскому». Лето 7110 – и есть 1602 год.

Однако в Остроге Отрепьев долго не удержался. Не добился он также поддержки в Дермани, после чего вынужден был подаваться в Гощу, где, в поместье пана Хойского, существовала секта протестантов. В конце концов ему пришлось обратиться к князю Адаму Вишневецкому. Тот сделал всё, чтобы самозванец заручился поддержкой самого короля...

Ознакомившись с Дерманью, с ее книгохранилищем, потолковав с монахами, – Николай Иванович побывал со спутником в Гоще, затем в Пересопнице – к тому времени уже селе, а когда-то – древнерусском городе. В XII–XIII веках Пересопница слыла резиденцией удельных князей, потом ее захватили литовцы, пока, в конце концов, она не стала собственностью Чарторыйских. Костомарова город привлекал уже тем, что в основанном Чарторыйскими тамошнем монастыре было завершено переписывание Евангелия в переводе на украинский язык. В 1837 году рукопись издал О. М. Бодянский. Событие вызвало живой интерес в научном мире.

После этого путешественники посетили еще несколько замков, в частности в Межиричи и в Тайкурах.

Зима уходила в напряженной работе. Кроме службы в гимназии Костомаров обрабатывал собранные материалы – они представляли собою горы бумаг. Вечера, да и просто любые свободные часы, отнимала работа над историей Хмельницкого.

Кажется, на Волыни стоило только показаться на улице, чтобы тут же почувствовать дыхание прошлого. Оно побуждало к размышлениям, свидетельствовало, что современность мучается неразрешенностью застарелых вопросов.

Собирать фольклорные памятники Николай Иванович призывал кого только мог. Гимназисты, уезжая на вакации, получали подробные указания, как и что именно следует записывать в дороге, у себя в имении, от каждого встречного. Молодежь тщательно исполняла задания учителя, которого успела полюбить. Кое-что собирал Хома Голубченко, поскольку, оказалось, у него

была чудесная память. Бродя по городу, по шумному рынку, общаясь с простым народом, парень не забывал о занятиях господина, разделяя его интересы. Он же частенько подыскивал лириков, которые знали совсем неизвестные песни. Хома приводил их к барину на квартиру.

Пан Самарский, наблюдая за работой своего квартиранта, начал проникаться к нему уважением. Старик и сам любил рассказать о прошлом.

– Вот что, пан Николай, – начинал он во время обеда. – Вы и меня послушайте... Когда я был молодым гусаром – да, да! – то и мне приходилось знать так-и-их людей, что не поверите... Не только королей... Хотя я и православный, не католик. Вот послушайте!

Молодость пана Самарского прошла во времена «неподлегли» Речи Посполитой. На его глазах осуществлялись разделы Польши. На его глазах творилась история.

Помощь подавали также гимназические коллеги. С любителем прошлого, учителем Маловским, уроженцем города Ровно, Николай Иванович собирался отправиться в путешествие по Волынской земле – потому с нетерпением дожидался тепла.

ВОЛЫНСКАЯ ВЕСНА

Дружная весна 1845 года вызвала ужасное наводнение. Речка Устивица и окружающие ее пруды превратились в море. Уровень воды поднимался, и каждый день приходилось слышать, как от стихии страдают простые люди. Там, говорили, унесло полсела. В другом месте вся волость несколько дней просидела на стрехах, некоторых жителей не удалось спасти. Еще в каком-то селении люди лишились имущества, потеряли скотину.

– Горе народу, – качал головою пан Самарский. – Помещики выберутся из потопа, зато с мужиков по семь шкур сдерут!

Город быстро почувствовал беду. В нем появилось много нищих. Они наполняли улицы. Возле распятий, выставляя из локтей черные руки, толпились калеки, слепцы, бессильные старцы.

Готовясь к новому путешествию, Костомаров заранее вырисовывал схему маршрута, запасался бумагой, прикупил записных книжек.

Выехали перед Пасхой, как только схлынули главные воды. Вдвоем с Маловским наняли старика-еврея, фура которого представляла собой вместительную балагулу. Потемневшая от непогоды, она была запряжена парой гнedyх и крепких коней. Вручив вожжи Хоме, еврей всю дорогу дремал, привалившись ему к плечу. А Хома с удовольствием правил упряжкой.

– Но! Гаття! – так и звучал голос парубка.

Путь пролегал через Дубно. Этот город, упоминаемый в летописях XI столетия как центр удельного княжества, лежал за речкой Иквой, посреди зеленеющей долины. Обоим путешественникам, при подъезде к деревянному мосту пришла в голову мысль, почему это Дубно избрано Гоголем для казацких подвигов в повести «Тарас Бульба». Ведь сам он здесь никогда не бывал?

– Дубно в XIV столетии было захвачено Польшей, – произнес Николай Иванович, как только колеса застучали по заново настланным доскам. – Во времена Хмельниччины здесь дрались восставшие под руководством какого-то Федора... Сейчас увидим, уловил ли Гоголь особенности этих мест...

Город оказался богатым историческими памятниками. В нем возносились стены замка князей Острожских. Глаза путешественников восхищались также другим строением, уже XVIII столетия, – дворцом князей Любомирских, с подземными этажами и с очень запутанными переходами. Гоголь, получалось, сумел наслушаться от кого-то о городе Дубно, не погрешил против правды.

После осмотра архивных памятников побывали на ярмарке. Старик-возница, проснувшись, предупредил:

– Господа хорошие! Все говорят: не те теперь ярмарки. А я в этих местах при короле живал...

Ярмарка нищала на самом деле. Впрочем – пора весенняя. Чем торговать?

В Дубно побывали на могиле польского и украинского просветителя и педагога Тадеуша Чацкого, основателя Кременецкого лицея. Николай I велел закрыть учебное заведение, поскольку его воспитанники приняли участие в недавнем восстании. Научные богатства лицея были переданы Киевскому университету.

Дальнейшее направление держали в сторону Кременца, куда, по расчетам все так же дремавшего возницы, набиралось не менее четырех десятков верст.

Дорога бежала строго на север, вдоль берега Иквы. Поля уже зеленели. Кое-где засверкали лезвия лемехов: пахари прокладывали свежие борозды. Над вспаханной нивой носились черные птицы. Солнце пригревало по-летнему, крыша балагулы не спасала от его лучей. Захотелось прохлады. И она появилась. Лес по сторонам дороги пошел удивительно густой. Как только прохлада оказалась излишней – он вмиг расступился. Над полем завиднелись синие горы. Они увеличивались по мере того, как подвода продвигалась вперед. Правда, это делалось слишком медленно. Дорога все время поднималась в гору, лошади вспотели.

– Где же город? Вы говорили...

– Да, проше пана, – улыбался возница, клюя носом у ног Хомы. – Здесь свои секреты... Сейчас все станет явным...

Маловский также загадочно помалкивал.

– Где Кременец? – не терпелось Николаю Ивановичу. – Горы да горы...

– Да сейчас... Сейчас...

Кременец открылся воистину неожиданно, как только колеса застучали по жестким камням. Лошади вяло поводили взмы-

ленными боками. Николай Иванович перевел взгляд на передние их копыта и вскрикнул:

– Кременец?!

– Он...

Город лежал в котловине, зажатый бурыми скалами; половина его была окутана тенью. Освещенная часть слепила глаза исключительно белыми стенами, красными железными крышами, столбиками светлых кирпичных дымоходов. Через город пролегла единственная улица, оплетенная массой покрученных перульков.

– А что я говорил? – беззубый возница смеялся так радостно, словно сам он и выстроил конгломерат домов. – Здравствуй, пан Кременец!

Маловский вроде бы вторил вознице. Он также знал эту местность.

– Вот и Замковая гора, Николай Иванович!

Гора господствовала над городом. На ее вершине виднелись остатки замка королевы Боны, итальянки родом, супруги польского властителя Сигизмунда Старого. Путешественники сразу же начали взбираться на крутую вершину, и через некоторое время им открылось великолепное зрелище: строения далеко внизу казались изящными поделками на огромной ладони. В синем мареве колыхались далекие горы, покрытые лесами. Церковные звоны сзывали к вечерней молитве. Звуки, дробясь между каменными громадами, создавали впечатление, будто они сыпаются с неба.

– Чудесно! – вырвалось из Костомарова.

На месте замковых руин различались следы полузабытых строений.

Еще подивились глубокому колодцу. Возница божился, что из колодезной бездны посреди белого дня виднеются в небе звезды.

Спустившись с горы, путешественники побывали в местном лицее, строения которого поражали своими размерами. Однако

там было пусто: учрежденная вместо лицея Волынская семинария еле сводила концы с концами. Ученики ее тут же пожаловались, что их помещения зимой не отапливаются.

– Мы только теперь согрелись, ласковые паны!

Одичалые подростки, в сивых грязных свитках, с шапками в костлявых руках, принимали Костомарова и Маловского за влиятельных чиновников.

Еще с высот Замковой горы различались купола Почаевской лавры. Они словно бы плавали в полупрозрачном воздухе.

Итак, оглядев Кременец, который показался банкротом, путешественники могли, наконец, выехать в Почаев. Дорога туда оказалась такой живописной, что Костомаров с Маловским отправили балагулу вперед, поручив ее Хоме, а сами, вконец очарованные, пошли вслед за нею пешком. Особенно нравились отроги Карпатских гор – их очертания рисовались на фоне бездонного неба, словно мастерские декорации.

Почаев в то время был чисто пограничным городом. В шести верстах от него начинались владения Австрии – прихваченные в результате раздела Речи Посполитой. То была так называемая Галичина, населенная сплошь украинским людом. В Почаеве же свивали гнезда разномастные контрабандисты и прочие рискованные люди. Еще больше насчитывалось там богомольцев, которые стекались со всех уголков Российской империи. Святая обитель издавна славилась отпором католицизму со стороны православной церкви. Потом ею завладели униаты. После 1831 года монастырь обрел статус лавры.

В лавру въехали по широкой аллее, которая по-прежнему поднималась вверх. Золотые купола сияли уже над головами...

Вскоре Николай Иванович и его спутник были приняты архимандритом, отцом Григорием, украинцем из-под приднепровского Канева. Речь святого отца оказалась настолько насыщенной народными анекдотами, поверьями и преданиями, что Николай Иванович пришел в восторг, почти сразу же вытащив записную книжку.

Особого внимания заслуживал рассказ о временах Богдана Хмельницкого.

– Недалеко отсюда находится Берестечко, где состоялось неудачное для Богдана сражение. Казаки спасались как могли... Наша обитель приютила многих. О рядовых участниках битвы память стерлась, но не о старшинах... Сохранились их подарки, вот хотя бы книги...

Монастырская библиотека действительно оказалась богатейшим книгохранилищем. В ней громоздились фолианты старой печати, а также разного рода издания, изготовленные в собственной типографии. Хранилось там также немало документов XVII столетия. Пользуясь добротой отца Григория, Николай Иванович все это внимательно оглядел, кое-что заказал переписать, что-то законспектировал, а то и просто взял на заметку...

Архимандрит долго рассказывал о строительстве храма, сооруженного каневским старостой Николаем Потоцким, известным нарушителем нравов, чуть ли не разбойником.

– Люди того времени мало верили в божий промысел, – продолжал отец Григорий уже в своей гостиной. – Но и среди них граф Потоцкий выделялся жестокостью. Люди православного вероисповедания казались ему хуже скота. Кроме слов «быдло» ничего не заслуживали. Но случилось так, что на этом месте, где храм, Потоцкий обозлился на кучера. «Слезай! – закричал. – Застрелю!» Что делать несчастному? Дрожит под скалой и молится Богу. Потоцкий выстрелил – осечка. Еще раз – то же самое. И сколько ни пытался сгубить безвинную душу – не смог. Тогда и догадался грешник, что это не зря. Расспросил у людей – вышло: место находится под защитой Божией матери. И опомнился злодей. Соорудил пышный храм, укрепил его так, что турецкое войско во время очередного прихода замерло в удивлении, завидев стены. Глядят татары – а над церковью, в воздухе, стоит женщина поразительной красоты и указывает им рукою, чтобы убирались прочь. Татарские пушки выпустили несколько ядер, но все они наткнулись на невидимую стену перед женской фигу-

рой, ударились об нее, возвратились назад и нанесли ущерб захватчикам. В ужасе удирали басурмане... Так повествуют предания... Можете хоть сейчас увидеть камень, на котором отпечаталась ступня Богородицы – оттуда бьет вода...

Гости осмотрели все. Николай Иванович с удивлением примечал контрасты между богатством церковников, хотя бы отца Григория, и бедностью крестьянства. В Почаеве все было так же, как и в поместьях католиков. Так же спешили в поле крестьяне, опустив нечесанные головы. Их подгоняли монастырские есаулы...

После разговора с архимандритом хотелось как можно скорее вступить на поле Берестечского сражения, однако сначала выпадала возможность побывать в Вишневце. Туда, поведал всезнающий возница, набирается два десятка верст.

– К обеду поспеем, господа хорошие, – уверял старик.

Выехали утром. На высоком распяты посреди площади играли первые солнечные лучи. Снова торопились к работе крестьяне. Ревел скот...

Старинный замок в Вишневце принадлежал когда-то роду Вишневецких. Маловский рассказывал:

– Там имеется картинная галерея с произведениями Рембрандта, Гольбейна, Каналетто и других великих художников. Имеется также библиотека с рукописями. Большое количество старинных вещей. Во время своего путешествия в замке гостил будущий император Павел I. Говорят, он оставил на зеркале автограф... В замковых церквях похоронены все Вишневецкие... Теперь замок принадлежит графу Мнишеку, Николай Иванович. Род Вишневецких оборвался в середине XVIII столетия.

– Знаю, знаю, – кивал головой Костомаров. – У меня есть рекомандательное письмо от князя Любомирского.

– О! – не сдержал удивления возница, который внимательно вслушивался в разговоры. – Князя Любомирские в Ровно редко бывают... Либо в Италии, либо в Париже. Так говорят в народе...

Хома молча погонял лошадей. От множества впечатлений у него кружилась голова.

Замок в Вишневецке был огромный, каменный, двухэтажный, с «заворотами» (флигелями). Граф допустил путешественников в покои. Сам он был в безукоризненном парижском фраке, но в старомодном жабо. Глуховатым голосом, не глядя на гостей, а в стрельчатое окно со свинцовыми рамами, будто там виделось нечто ушедшее, граф предупредил, что в замке нет ничего интересного. Однако все же позвал молчаливого, как и сам, слугу, велел показать апартаменты, но не заводить в библиотеку.

— Рукописи в беспорядке, — добавил, не отрывая взгляда от окон.

Гости прошли по анфиладе комнат. Их поражали огромные зеркала. В затуманенных поверхностях, грезилось, проступают черты давно умерших красавиц в невероятных нарядах, с длинными локонами и с оголенными плечами... Чудились усаженные лица воителей... Впрочем, такие же люди глядели со старинных парсун...

— Портьеры здесь, господа, — зачастил проводник, — вышиты руками последней наследницы этих богатств. Панна Вишневецкая осталась незамужней. Здесь не было подходящей пары...

На одном из зеркал выделялась покрытая лаком надпись. Вырезанные алмазом литеры складывались в слова *comte du Norde* (принц севера). Под таким титулом проезжал по Волыни будущий русский император.

Миновав театральный зал с высоким помостом, с вызолоченными спинками кресел, путешественники вошли в галерею. Там висели портреты самих Вишневецких, известных в истории. Напряженно глядел закованный в рыцарские доспехи последний Вишневецкий, умерший в православной вере — Михаил, родитель пресловутого Яремы и супруг Раины Могилянки, дочери митрополита Петра Могилы. В девятнадцатилетнем возрасте Ярема перешел в католицизм. Он упорно сражался с войсками Хмельницкого, не желая терять поместья на Левобережной

Украине. Отчаянно-храбро смотрел черкасский и каневский староста Дмитрий Вишневецкий, известный в народе как легендарный Байда, не покоровившийся янычарам даже в Стамбуле...

Заинтересовали также огромные картины, изображавшие сцены из жизни Григория Отрепьева. На них было представлено первое появление его в доме Мнишков, обручение с Мариной, их венчание в московском соборе. С полотна глядел молодой рыжеволосый человек со скуластым лицом и умным упрямым взглядом...

Граф Мнишек пригласил гостей на обед. Что-то ущербное ощущалось в огромном зале с золотой лепниной и с безбрежной стаяй свечей, при которых десяток лакеев прислуживали хозяину и нескольким гостям.

— Мое семейство сейчас отсутствует, — сказал извинительно граф, а гости все еще продолжали чувствовать себя так, как если бы здесь никто никогда вообще не показывался.

— Значит, пишете историю Хмельницкого, — вспомнил граф, как отрекомендовался присланный царский чиновник, вроде гимназический учитель. — Польские историки несправедливо трактуют эту личность... Кстати, у меня имеется портрет гетмана.

Он велел принести его в гостиную.

— Самое верное изображение!

Стареющий человек со слегка вытаращенными глазами, с большим голым лбом и ошетиненным «оселедцем», с обвисшими седыми усами, — явно чувствовал неудобство в стесняющих его доспехах. Поверх металла был наброшен плащ. В руке — булава... Упрек ощущался в лице, во всей фигуре гетмана, впечатанной в овал...

— Я видел у вас много изображений Отрепьева! — напомнил Николай Иванович, убежденный, что о Хмельницком здесь больше ничего не услышит.

Граф явно не желал поддерживать тему.

— Зачем шевелить далекое прошлое? Пускай покойники поживают...

Уступив просьбам историка, он все-таки позволил осмотреть некоторые рукописи и на прощание извещил:

– В Кременце живет шляхтич Радзиминский, отец которого занимался Хмельницким и оставил сыну собранные бумаги...

На обратном пути Николай Иванович отыскал указанного шляхтича, однако впустую. Сын Радзиминского опасался незнакомца, пусть и рекомендованного графом. Документов он так и не показал...

Из Кременца балагула покатила в направлении Берестечка. Историческое сражение при нем состоялось 28 – 30 июня 1651 года. Украинские полки, поддерживаемые крымскими татарами, встретились с польским войском. Хан предал союзника в самый решительный момент...

Николай Иванович искал следов драмы.

Берестечко лежит на равнине за извилистой речкой с названием Стырь, в которую впадает другая река – Пляшевая. Перебравшись через нее в селении Остров, путники выехали в поле. С левой, полуденной стороны, оно ограничивалось темным лесом, который, по документам, служил когда-то опорой польскому флангу. Справа от путников ощущался склон к угадываемой Пляшевой. Следуя по полю, Костомаров не видел никаких возвышенностей. С трудом удалось различить следы чуть заметных окопов в виде громадного полумесяца. Все позарастало кустарником, остролистой травой...

Возле места бывшего сражения высилась островерхая корчма. Костомаров с Маловским вошли в нее, заказали еды и начали расспрашивать владельца, что известно ему о знаменитом сражении, что говорят о том в окружающих селах.

– Об этом у меня ничего не говорят... Как можно... Не разрешаю... Что мне прикажут – то и делаю...

Корчмарь обрывал разговор, выходил, чего-то дожидался.

А через некоторое время в корчму вбежал становой с длинной кавалерийской саблей, выяснять, кем являются приезжие

господа. Поняв, что они не австрийские шпионы, даже не контрабандисты, – он рассмеялся и пригласил их к себе домой.

– Там поговорите с людьми!

Долго длилась беседа с местными жителями. Они рассказывали об острове на Стыри, на котором защищались разбитые казаки. Теперь там выситя лес. Рассказали о находках на этом месте: сёдла, подковы. В то далекое лето на переправе утонуло много народных героев.

Выпив по стопке водки, крестьяне начали припоминать песни. Сначала пели о чем-то загадочном, а все же исполненном надеждами:

*Висипали козаченьки з високої гори:
Попереду козак Хмельницький на воронім коні.
«Ступай, коню, дорогою, широко ногами;
Недалеко Берестечко і орда за нами.
Стережися, пане Яне, як Жовтої води,
Йде на тебе сорок тисяч хорошої вроди...»*

А дальше дом станового наполнился крепкой печалью. Слышался укоряющий голос Богдана, задержанного крымским ханом:

*«Ой, як же ви, панове-молодці, ой, як ви ставали,
Що своє товариство навіки потеряли?»
«Становились, пане гетьмане, плече об плече;
Ой, як крикнуть вражі ляхи: упень посічем!»*

Николай Иванович с трудом успевал пополнять свои записи. Под конец сердитый крестьянин спросил:

– Скажите нам, пане, за что они воевали? Разве мы хорошо живем?

Становой мигом вспомнил о службе, ударил по столу кулаком:

– Не о нынешнем дне разговор... А ты, Яким, замолчи! Подумай, что говоришь...

После путешествий, после изучения всего собранного, записанного и просто осмотренного, относящегося к давней эпохе, – освободительная война украинского народа показалась Николаю Ивановичу более зримой, чуть ли не панорамной. Фигура Богдана Хмельницкого набирала всё большего и большего значения. Виделось, как он искал выхода из жалкого положения, в котором оказался родной ему край. Хмельницкий виделся уже как предводитель, выдвинутый всем казачеством. Чтобы отважиться на борьбу после неудач и поражений предшественников – надо было выяснить основные силы на своей земле, понять действие государственных пружин в Европе. У Хмельницкого было для того много возможностей. Пребывая в турецком плену, он изучил татарский язык и тамошние государственные порядки. Не раз побывал и в Варшаве, где вел переговоры с королем Владиславом. Проехал Европу, имея конечной целью Париж, будучи приглашенным французским правительством ради вступления казаков на тамошнюю службу, даже воевал на стороне французского короля против испанских Габсбургов. Хмельницкий хорошо оценил расстановку европейских сил, учел глубину ослабления Речи Посполитой в результате внутренних распрей между магнатами и королем, а также вследствие вмешательства в европейские дела. Он отважился на военное выступление, убедившись, что ему не придется понапрасну жертвовать своим народом.

Хмельницкий рисовался мудрым государственным деятелем и талантливым полководцем. После первых побед восстание вспыхнуло повсеместно, а после сражения под Пилявцами Левобережная Украина и значительная часть Правобережной были полностью освобождены. Казачьи полки двинулись в Галичину, блокировали Львов...

Молодой ученый видел свою задачу в детальном анализе казачьей победы. Он стремился понять, какие силы способны вы-

зволить тех украинцев, которые все еще пребывают под властью Австрии, терпят религиозный гнет, какие силы могут освободить мужиков, вынужденных работать на Любомирских, Яблоновских, Мнишков – то есть, на современных польских магнатов...

Костомаров не имел намерения засиживаться в Ровно. Сразу же, прибыв на Волынь, он послал соответствующее прошение в Киевский университет, но из этого ничего не вышло. Во-первых, его не желал отпускать директор гимназии П. О. Абрамов. Заглядывая далеко вперед, Петр Осипович высоко ценил талантливого учителя, представшего в качестве образца перед государственными инспекторами. С такими намерениями Абрамов даже ездил в Киев. Во-вторых, характеристика новоиспеченного магистра истории, заслуженная им еще в Харькове, то есть репутация чудака, который занимается народными песнями, водится с простыми мужиками, а главное – сам сочиняет на их наречии, – добралась и до Киева.

Жизнь в глухом городке начинала все-таки угнетать. Всем, чем можно было обогатить себя там, – Николай Иванович успел воспользоваться. Кроме изучения фольклора он прочитал достаточно много произведений польских авторов, в частности Адама Мицкевича и Иоахима Лелевеля. Эти книги ходили в рукописных списках, были запрещены, особенно произведения последнего, одного из идеологов польского восстания. Большое впечатление произвели на Костомарова также *Dziady* Мицкевича и «Книги пилигримства польского народа». Гениального поэта мучили мысли о судьбах родного края... И хотя Николай Иванович не разделял мечты поляков о возрождении своего государства, однако дух борьбы за национальное и социальное возрождение проникал в его душу все глубже и глубже.

Настрой Николая Ивановича отразился в его корреспонденции. «Я согласен служить хоть десять лет, – читаем в одном из его тогдашних писем, – даже постоянно в должности учителя: эта должность мне нравится, но, ей-богу, не в Ровно, где, может

быть, и хорошо тому, кто любит есть убийственные польские потравы и пить водку, ее же изобилие велие, но только не мне, держащему диету. Право, хочется пищи для ума и для души, а здесь нет ни книг, ни людей, для меня нужных...»

Избавление пришло от Юзефовича. Известие о своем назначении учителем в Первую Киевскую гимназию Костомаров встретил с восторгом.

Перед тем, как оставить Ровно, он приготовил речь. Лично ее не произносил, однако она была прочитана кем-то на праздничном гимназическом акте, стала официальным документом, была даже утверждена директором Абрамовым. Нам эта речь интересна тем, что она содержит в себе выводы, на которые ученый набрел во время раздумий над историческими процессами, над судьбами Речи Посполитой, Украины и России. Он настаивал на самобытности и коренных отличиях славянской истории от истории западных стран, на особенностях общественных отношений русских племен. В первую очередь Костомаров подчеркивал любовь русских людей к порядку и законности и уверенности их в необходимости крепкого общественного строя. Пришел Николай Иванович также к выводу, что русские племена признавали руководящую роль князей, призванных устанавливать порядок и законность. Все то, это, по его мнению, и сделало невозможным длительное господство на Украине польских панов-католиков, которые не признают над собой никакой высшей власти. В последнем он видел основные причины ослабления и исчезновения Речи Посполитой как державы. (Считаем необходимым обратить внимание читателя на то, что Костомаров, следуя общепринятой тогда доктрине, считал украинцев, в конце концов, такими же русскими, как и великороссов).

А еще, утверждалось в речи, – предки русских племен искали не единоначалия, но единородия своих руководителей, почему даже Рюрик правил не один, но вместе со своими многочисленными родственниками. Единовластия, утверждал Костомаров, на русских землях не существовало никогда. А вот удель-

ный строй, характерный для древней Руси, не был ее слабостью, поскольку справедливо управлять может лишь группа лиц. Отсюда ученый делал весьма радикальные выводы: для правильного функционирования государственного организма необходимо иметь постоянный государственный сейм, тогда как власть аристократии нужно всячески ограничивать...

Естественно, такие взгляды ученого были замечены и даже подхвачены. Своими федералистскими устремлениями они импонировали определенной части украинского дворянства...

Летом 1845 года Костомаров навсегда оставил Ровно. «Я уехал оттуда, — вспомнит он через много лет, — с большим ворохом народных песен и записанных преданий и рассказов; некоторые были собраны мной лично, другие доставлялись моими учениками».

Необходимо добавить, что история Богдана Хмельницкого, которую Николай Иванович вез в Киев среди прочих бумаг, значительно продвинулась вперед. В адрес ученого, благодаря стараниям знакомых и друзей, после его приезда на берега Днепра, посыпались казацкие летописи, рукописные собрания актов, книги. Пришли «История русов», «Летопись Самовидца», рукописи «Летописного повествования о Малой России» Александра Ивановича Ригельмана и «Летописи Грабянки» и пр. (Григорий Иванович Грабянка скончался в 1738 году).

В том же, 1845 году, упоминаемый нами К. М. Сементовский, киевский знакомый историка, поместил в петербургском журнале «Маяк» восторженную статью, в которой спешил поделиться новостью, способной порадовать заинтересованную в этом публику: Николай Иванович Костомаров, и без того обогативший малорусскую литературу своими превосходными произведениями, обработал и подготовил к печати превосходный труд о гетманстве Богдана Хмельницкого. Автор статьи сообщал, что сам он уже успел прочитать этот труд в рукописном его варианте и рад заверить читателей «Маяка», что ничего подобного не существует даже в великорусской историографии. Костомаров-де,

посвятивший изучению малорусского края пятнадцать лет жизни, проштудировал писания польских историков, собрал всевозможные русские материалы, относящиеся к данной эпохе, и теперь излагает историю этой личности в наиболее полном и надлежащем ее освещении.

Костомарова уже знали в мире науки. На него возлагались большие надежды.

Часть третья

ТОВАРИЩЕСТВО

СНОВА В КИЕВЕ

Первая мужская гимназия в древнем Киеве, созданная в 1809 году, вышла из недр Главного народного училища, которое размещалось в наиболее заселенной части города, на Подоле, и прослыло довольно демократическим заведением. Туда принимали всех детей, кроме, естественно, выходцев из крепостного сословия.

Новой гимназии дали статус высшего учебного заведения, вроде Нежинского лицея, открытого, правда, гораздо позднее. Этой привилегией она пользовалась вплоть до 1828 года. После страшного пожара (1811), гимназия была переведена с Подола в красивый дворец, возведенный в XVIII столетии.

Местность, где стояло это строение – между Крещатой долиной и Печерским монастырем – во времена Киевской Руси носила название Клов, совершенно непонятное для новых поколений. Старинное слово своим звучанием передавало норов ручья, который с клекотом срывался с горы и стремглав торопился к речке Лыбедь, пересекая дорогу из Старого города, ведущую на Васильков. Дворец назывался также Кловским. Вокруг него шумели кудрявые липы, высаженные руками крепостных крестьян. Деревья выделялись светлым отливом листвы, элегантною красою, а с наступлением тепла – еще и пчелиным гулом. Из-за этого вся местность вблизи Печерска получила название Липки.

С 1833 года липовую рощу стали нещадно вырубать, а свободную площадь застраивать сооружениями для зажиточных людей. Там выросли импозантные дома генерал-губернатора и командующего войсками Киевского округа. Помпезностью выделялись также дворы богачей высокого пошиба, например –

помещиков Ганских, у которых гостил выдающийся французский писатель Оноре де Бальзак (1847), вскоре женившийся на предстательнице их рода.

Кловский дворец, каким его впервые увидел Костомаров, был двухэтажным, с выкрашенными в синий цвет стенами, которые со временем выросли еще на один этаж. На их фоне выделялась лепнина вокруг высоких окон с зеленоватыми стеклами. Строение проектировалось и возводилось несколькими архитекторами, а завершал строительство крепостной Киево-Печерской лавры Степан Демьянович Ковнир, выдающийся мастер так называемого украинского барокко. Внутри дворец расписывали местные живописцы. Получилось нечто очень привлекательное, теплое, хорошее. Но самое главное заключалось в том, что гимназия эта размещалась в Киеве, куда давно уже порывался Николай Иванович.

Первая гимназия пока что могла гордиться только своим директором – историком Максимом Федоровичем Берлинским. Изучая остатки исчезающей старины, он оставил «Краткое описание Киева» (1820) и другие замечательные труды. В ее стенах обучались затем художник Н. Н. Ге, историк Н. В. Закревский, поэт Н. В. Гербель, скульптор П. П. Забелло, фольклорист А. И. Рубец и другие. Впоследствии из нее, дислоцированной уже в ином месте, выйдет немало других выдающихся людей: художник В. В. Левандовский, писатели К. Г. Паустовский и М. А. Булгаков, академики Е. В. Тарле, А. А. Богомолец, государственные деятели и пр.

Обратное путешествие от Ровно до Киева выпало на пик нещадной жары 1845 года. Зато Костомаров мог задерживаться везде, где надеялся застать что-нибудь интересное.

На некоторое время он остановился в старинном Звягеле (после присоединения волынских земель к России его переименовали в Новоград-Волынский); оглядел в нем остатки древнейших укреплений вдоль каменистого берега речки Случь.

Солнечным днем Николай Иванович бродил по губернскому Житомиру. Он без спешки прошелся по шумной, вымощенной камнями и переполненной людом Кафедральной улице, имея по правой руке громаду католического костела. В городе, невзирая на ограничения, чаще всего звучала польская, а не украинская речь, и совершенно редко – великорусская. Итак, расспрашивая, обращался к прохожим на польском языке. Постоял над крутым обрывом – за шумной торговой площадью, уставленной телегами и лошадьми. Крестьяне, сидевшие на одном из возов, наполненном поросятами, поведали, что он находится на Замковой горе. Ноги историка действительно упирались в кремнистое основание. На этой крутизне строились и уничтожались различные укрепления, под защитой которых разыгрывались судьбоносные сражения...

А так на украинской земле везде было одно и то же: царил произвол своевластных крепостников. В цветущем крае господа торговали людьми, разлучали ребенка с матерью, мужа с женой.

Дорога дальше стелилась через Киев, Полтаву, Харьков. Перед тем, как осесть на берегах Днепра, нужно было договориться с матерью, принять решение относительно дальнейшей жизни.

Татьяна Петровна, измученная разлукой с сыном, своим единственным теперь утешением, – не знала, куда его посадить. Потом, оклемавшись, начали усиленно совещаться и в конце концов пришли к согласию, что пользоваться имением, держа его за сотни верст от места службы, – чистая бессмыслица.

– Ще доки я живу, сину... А не дай чого, Боже...

Сын прогонял подобные мысли. Мать на здоровье обычно не жаловалась, была по-молодому чернява и, как всегда, чрезвычайно подвижна.

– Да сохранит нас Господь, матушка!

– Ой, під ним ходимо, сину! Сьогодні здорова, а завтра...

Решили, что Татьяна Петровна будет подыскивать покупателей. Если, добавила, Бог пошлет подходящую службу для сына...

Николай Иванович был уверен:

– Не сомневайтесь, матушка! Юзефович не стал бы вырывать из глуши, если бы в меня не верил!

– Дай-то Бог!

Через некоторое время пришлось попрощаться с родным гнездом, затаив в душе беспокойную мысль: вскоре, возможно, навсегда расстанешься с этими местами. Возможно, в последний раз любишься белыми горами, проступающими за узенькой Ольховаткой.

Ольховатка навевала стихи:

*Зелененький берег тьмиться,
Річка срібная шумить;
Ходить хлопець невеличкий,
На той бік ріки глядить.
На сім боці нив'я, поле,
Сивий степ та слобода,
Зелень в'яла, всюди душно,
В пилу ходить череда.
На тім боці зелень свіжа,
Блищать на луці квітки,
Дикі гори, гай зелений,
І щебечуть в нім пташки...*

Всего пришлось перевидать на своем недолгом еще жизненном пути – но самым дорогим кажется вот это место, где суждено тебе было явиться на свет, где ты вырос, где возле церкви с зеленой маковкой похоронен отец...

Тешился тем, что едет в Киев...

Хома, разделяя хозяйское волнение, расплакался возле ворот:

– Коли ще сюди навідаємось, пане Миколо?

– Не томи душу, – упрекнул его Николай Иванович, отворачивая глаза...

В августе они уже были в Киеве. Поселились в Старом городе, недалеко от Золотых ворот, над живописным оврагом. На зеленых склонах его выпасались белые козочки, а на дне потока, возле быстрой воды, люди привязывали телят. Старый город наполняли белые хаты, перекошенные сарайчики – настоящее село.

Пока держалась сухая осень, пока улицы украшались золотом – дорога к гимназии чудилась сказкой. Даже не верилось, что среди всего этого можно так долго жить! Порой не хотелось даже брать извозчика, а взяв – Николай Иванович отпускал его раньше времени и пешком одолевал крутизну непростого Кловского склона или, наоборот, возвращаясь домой, медленно, с наслаждением, пересекал Крещатик и поднимался в Старый город, где над головою сверкали купола Софии.

Крещатик никак не желал расставаться с тынами, которые прижимались к густым садам, с торчавшими в них строениями. Отовсюду доносились запахи вкусных блюд...

Когда же зачастили дожди и все улицы, не говоря о Крещатике, еще только начинавшем покрываться каменной одеждой, стали превращаться в болото, так что лошади проваливались вплоть до бабок, – Николаю Ивановичу пришлось думать о переезде квартиры.

Помог студент Маркович. Опанас Васильевич, как звали юношу, сын обедневшего полтавского помещика, завершал университетское образование. С Костомаровым его сблизилась любовь к украинской мове. Молодые люди поселились на Крещатике. Одинаково удобно оттуда было добираться и в университет, и в гимназию.

Делá же у нового учителя, как и предвиделось, пошли великолепно. О том свидетельствуют воспоминания художника Н. Н. Ге, тогдашнего гимназиста: «Николай Иванович Костомаров был любимейший учитель всех. Не было ни одного ученика, который бы не слушал его рассказы о русской истории... Николай Иванович никогда никого не спрашивал, никогда не ставил

баллов – даже месячные баллы ставили мы сами... Уроки Николая Ивановича были духовные праздники. Его урока все ждали... Такое же впечатление производил он и в женском пансионе и потом в университете...»*.

Взаимопонимание, уважение к воспитанникам, восхищение историей, проявленное самим учителем, энциклопедичность его знаний – он часами мог говорить о прошлом, начиная от киевских князей и заканчивая рассказами о местных мастерах, которые возвели этот Кловский дворец, затем расписали красками его стены, выполнили все украшения, – все это давало великолепные результаты. Костомаров действительно никогда не опрашивал гимназистов, но предмет его они знали безукоризненно. Любовь к отчизне, а равно и к своему наставнику, сохранялась в его питомцах на протяжении всей жизни.

ЗНАКОМСТВА ШИРЯТСЯ

Круг киевских знакомств, начало которым положили приятельские отношения с Кулишом, постепенно ширился и ширился. Еще задолго до описываемой поры Кулиш создал было какой-то кружок, носивший название Киевская молба, но о нем мы располагаем весьма скудными известиями. Знаем только – будто входил туда и поэт Тарас Шевченко. А коли так, то там наверняка обсуждались серьезные вопросы.

Среди новых знакомцев Николая Ивановича выделялся его полный тезка – Николай Иванович Гулак. Он родился в семье помещика в Полтавской губернии, но отец его вскоре переселился в херсонские степи – именно с ними была связана афера незабвенного Павла Ивановича Чичикова! На дешевых землях переселенец стал собственником большого поместья «Новая Прага» (там было много выходцев из Чехии). Старый Гулак заботился о культуре землепользования, прислушивался к научным веяни-

* С Н. Н. Ге Костомаров встретится в Париже (1857), впоследствии будет общаться в Петербурге.

ям, особенно к западным. Он выступал со статьями в журналах, поднимал вопросы искусственного орошения засушливых почв, ломал себе голову над выращиванием племенного скота. Большое значение херсонский помещик уделял сельскохозяйственным машинам, которые радикально облегчают труд, давая возможность экономно обрабатывать землю. Со своими соседями он жил в согласии, а с крестьянами, по преданиям, обращался по-человечески, что лишний раз подтверждает толковую организацию крупного объединения. Взгляды старого Гулака имели большое влияние на его молодого сына. (Существует также противоположная версия жизни помещика Гулака. Согласно ей, после отставки старик безвыездно жил на Полтавщине).

Сам Николай Иванович Гулак к тому времени окончил Дерптский университет, где изучал юриспруденцию и на выпускных экзаменах удостоился степени кандидата. В 1844 году он поступил на службу в канцелярию киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, хотя отец рекомендовал оставить службу и вплотную заняться литературой. В душе молодого Гулака постоянно жили мечтания о пользе обществу. Он занимался историей, филологией, математикой, космографией, природоведением, географией, славяноведением, старыми и новыми языками. Это привело к переписке с выдающимися учеными, в том числе с зарубежными (с чешским поэтом Вацлавом Ганкой, преподавателем Пражского университета).

ПрияТЕЛЬские отношения молодых людей усилились после того, как Костомаров, в канун Рождества, еще раз посетил Юрасовку, где Татьяна Петровна все-таки нашла покупателей. Формальности были вскоре улажены, пришлось побывать в Острожске, — и все.

Путешествие в родные места оказалось последним. Николай Иванович распрощался с отцовской могилой, и, хоть при этом расплакался, как недавно Хома, однако понял одно: иначе быть не может.

Татьяна Петровна еще какое-то время оставалась в родных местах. Она умоляла сына скорее подыскать жилище в Киеве: жить, естественно, предполагалось вместе.

Возвратился Костомаров совершенно больным. Попробовал обосноваться в старой квартире – но там царил ужасающий холод. Опанас Маркович, оказалось, уехал к брату, комнаты не отапливались. Пришлось перебраться в гостиницу на Бессарабской площади – но и там было ничуть не теплее, удручали постоянные сквозняки. Пока Хома пытался как-то согреть помещение – Николай Иванович оставался в шубе, словно все еще продолжал путешествие.

В таком виде застал его вдруг появившийся Гулак.

– Николай Иванович! – встревожился гость. – Что случилось? Что с вами?

У хозяина не было сил подняться с кресла.

– В дороге, наверное, простудился...

– Вам не годится здесь оставаться! – сразу принял решение Гулак. – Хома, голубчик! Собирай пана в дорогу. У меня вы быстро согреетесь...

Сам Гулак, раскрасневшийся на морозе, был в просторной, косматой и теплой шубе.

– Никаких возражений! – заметил он нерешительность Костомарова. – Я даже извозчика не отпускал, поскольку не знал, приехали ль вы. Такие морозы... В Дерпте я входил в студенческую корпорацию. Там земляки заботились друг о друге... Врача привезу. Вы здесь недавно. Откуда вам знать, кто среди киевских эскулапов скорее поставит на ноги? Хома, быстрей!

Вот так, неожиданно для себя, Николай Иванович оказался в жилище нового знакомого, где пробыл до февраля, ожидая приезда матери.

Гулак снимал просторную квартиру в Старом городе, на Кадетской улице, в доме госпожи Житецкой. Вместе с ним квартировал его двоюродный брат Александр Александрович Навроц-

кий, студент последнего курса философского отделения университета Святого Владимира. Братья были похожи фигурами, очертаниями лиц и даже цветом глаз. Рядом с Навроцким Гулак казался более сдержанным, тогда как Навроцкий отличался холерическим характером. Он переводил Гомера на украинский язык.

Еще не почувствовав перелома болезни, пересиливая боль во всем теле, Костомаров, вместе с Гулаком, принялся за сербский язык. Усваивая его, они подолгу говорили о славянстве, обнаруживая много общего во взглядах.

Очень часто в дом на Кадетской забегал Василий Михайлович Белозерский – довольно красивый черноволосый юноша с большими, по-детски пухлыми губами. Получив университетское образование, он поджидал обещанной службы. Белозерский был постоянно весел. Смех не сходил с его добродушного лица.

Заглядывало также много других друзей и знакомых. Конечно же – Кулиш. Проведя какое-то время в Ровенской гимназии, занимая в ней прежнюю должность Костомарова, Пантелеймон Александрович продержался там недолго. Теперь он собирался в Петербург, куда его призывал П. А. Плетнев, ректор столичного университета. Авторитетного мнения Кулиша в обществе молодежи ценили, хотя, из-за чрезмерной веры в собственную непогрешимость, он сам иногда казался весьма неприятным субъектом.

Бывал на Кадетской также земляк Гулака и Навроцкого, полтавский помещик Николай Иванович Савич. Он выделялся вполне солидным возрастом. Окончив Харьковский университет, три года проведя в Париже, вывезя оттуда новые взгляды на все окружающее и сильные впечатления от встреч с выдающимися людьми, Савич жил в небольшом наследственном имении, не тая недовольства своим положением.

Навещал квартиру также совершенно юный еще студент Юрий Андрузский, ловивший каждое слово своих собеседни-

ков, казавшихся ему большими авторитетами. Заходил иногда Иван Посяда – крепкий на вид молодой человек с крестьянскими навыками и такими же разговорами, но с прекрасным покладистым характером. Он вырос в большой крестьянской семье, однако ему удалось оказаться в университете. Теперь он, опять же по-деревенски, ненасытно впитывал знания, не расставаясь с конспектами лекций и прочитанных книг.

Когда, наконец, врачи разрешили Костомарову идти на службу, Хома обрадовался больше всех.

– Це вас ті узвари, пане Миколо, на ноги поставили, що мені пані з собою дали!

– Может быть, Хома! – соглашался Николай Иванович. – Материнское слово всегда выручает.

После выздоровления, в первое же воскресенье, Костомаров выбрался в гостиную и там познакомился с друзьями своих хозяев. Все гости, кроме, пожалуй, Гулака, оказались детьми небогатых родителей. Все они, давно уже знавшие друг друга, были ознакомлены с поэзией Тараса Шевченко, многие дружили с ним лично. Стихотворения Шевченко звучали там постоянно.

Разговоры тотчас коснулись Украины. Присутствующие отлично знали о бедах крепостного люда, понимали, какой гнев вызывает в простом народе.

Гулак стоял как раз в центре гостиной. Его слова казались весомыми и чрезвычайно важными:

– Господа! Может ли долго существовать такое общество? Стоны и слезы... Гоголь явил нашу родину словно в зеркале. Люди содрогнулись, прочитав его «Мертвые души». Только дураки не могут поверить, что мы действительно такие. Европа указывает на нас как на страну дикарей, в которой существует рабство. Кто бывал за рубежом – тот знает. Мы – анахронизм!

Савич, который сидел с большим фолиантом на острых коленях и медленно листал его, захлопнул книгу, поддержал говорящего:

– Подтверждаю: это – истина! Там не верят, будто нечто подобное может твориться в девятнадцатом веке...

– Но именно такое положение царит у нас в стране, – продолжал Гулак. – И этот ужас многие понимают. Полагаю, и в Петербурге ни для кого не секрет, что мы сидим на бочке с порохом. Батько Тарас неслучайно остерегает: «Опомнитесь все на этом свете, и царедворцы, и нищие! Все вы – дети Адама»!

О подобном стихотворении Тараса Шевченко Костомаров услышал впервые, хотя помнил каждое слово поэта, которое коснулось его ушей. Но здесь, в гостинной, звучало столько нового... Поражало то, что молодого летами Шевченко здесь называют «батьком».

– Следует искать спасения! – загорелся Навроцкий. – Мы же мыслящие существа, *homines sapientes*. А живем в век Гомера... Что скажут о нас через сотни лет?

– Мы должны посовещаться, – твердо, как нечто, уже давно им обдуманное, произнес Гулак. – И вместе скоординировать планы. У нас, в Дерпте, было много студенческих корпораций. Гуртом, как говорится, и батьку хорошо бить!

Молодые глаза его горели упорством и энергией.

– Все придет к одному: на земле утвердится коммунизм! Это будет лучший путь для всего человечества! – вскинулся с места Савич и начал развивать поразившие его идеи, которых он наслушался в Париже. Они казались ему безусловно верными...

В один из таких вечеров, когда за окнами кипела метель, – Костомаров, воспользовавшись паузой, поднялся с места и заметил еще очень слабым после болезни голосом, с удовольствием отмечая, что взгляды присутствующих обращены на него:

– Господа! Страдают все славянские народы. Вдумайтесь: только великороссы, малороссы и белорусы пользуются государственными объединениями, исповедуют свою веру... Зато другие славяне... Сербы и болгары стонут под османским игом. Хорваты и словенцы – под австрийским. Туда же попали чехи, словаки, поляки...

– От поляков мы много бед претерпели. Чего их жалеть? – упрекнул Навроцкий. Однако его не поддержали.

После слов Николая Ивановича в гостиной установилась тишина, как на образцовом гимназическом уроке.

Это придало ему сил. Голос зазвучал уверенней:

– Славяне вписали в историю блестящие страницы. Это очень энергичные люди. Их племена объединялись между собой как равноправные. Федерация была их знаменем! Но славяне сейчас разрознены, потому и не могут избавиться от чужеземной власти. А ведь еще Ломоносов дал толчок мысли об общем происхождении всего славянства. Он высказал предположение, что наши языки имеют общие корни. Сейчас развивается новая отрасль науки – славяноведение, основу которого заложил чех Иосиф Добровский. На почве изучения многих рукописей он написал труд «Основа древнеславянского языка». Но Востоков в России еще прежде него издал «Рассуждения о славянском языке». В наших университетах существуют кафедры славяноведения. Во главе такой кафедры в Харькове стоит Срезневский, в Москве – Бодянский, в Петербурге – Прейс. Все эти ученые прошли подготовку за рубежом... Итак, заложены основы славянского возрождения. И мы не должны стоять в стороне...

Гулак, который часто вел разговоры со своим квартирантом, смотрел на него чересчур внимательно и даже несколько удивленно.

– В Париже функционирует славянское объединение, – вспомнил Гулак, – что-то вроде студенческих корпораций... Там – Адам Мицкевич. Он болеет за Польшу...

Все присутствующие в зале выглядели возбужденными. Все ждали очереди высказать то, что накопило у них на сердце.

Однако ничего существенного никто предложить не мог...

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Мысли о славянской общности, поднятые на вечере у Гулака, тревожили Костомарова еще в Харькове, о чем свидетельствует его университетский товарищ Ф. К. Неслуховский. По словам Неслуховского, в 1840 году Костомаров высказывал предположение, что в обществе зреет идея сближения славян, что эта идея обязательно разовьется. Славяне непременно составят федерацию и займут надлежащее место в мире.

Николай Иванович, действительно, всегда считал славянство великой силой. Он помнил свои разговоры со Срезневским, держал в памяти вычитанное у Мицкевича и Лелевеля, припоминал все виденное и услышанное на Волыни, по всей Украине. Славянские народы, считал он, живут в беспросветном рабстве. Они нуждаются в помощи...

Своими планами Костомаров поделился однажды в гостинной Гулака:

– Славянским племенам необходимо объединяться ради изучения собственного фольклора, своей культуры.

Гулак, как всегда, витийствуя в центре собравшихся, посмотрел на него напряженным взглядом.

– Верно! Но... Только ради этого? И кто станет объединять? Как вам все это мыслится, Николай Иванович?

– Не могу еще точно сказать, – Костомаров развел руками. – В первую очередь, полагаю, надо просвещать людей. «Истина сделает вас свободными», – говорится в Священном писании. Большое дело сотворили славянские просветители Кирилл и Мефодий... Их заветы сейчас позабыты. Но именно просвещение убило в Европе рабство. Надо думать...

На лице Гулака появилось такое выражение – словно он уже добрался до разгадки тайны:

– Чего же медлить? Мы должны организовать товарищество, которое поможет славянам почувствовать свои силы! Изучения фольклора недостаточно... Надо бороться за... свободу!

– В память великих просветителей дадим братству название Кирилла и Мефодия! – закричали среди присутствовавших, кажется – Белозерский.

Костомаров кивал головою, слушая Гулака. Он видел в нем умного сообщника. Слушал и Белозерского. Тот наперегонки с Навроцким говорил об атрибутах будущего товарищества.

– Первым делом – обзавестись перстнем с именами славянских апостолов...

– Сбирать верных людей...

Молодые головы придавали будущему объединению уже далеко не то значение, которое имел в виду Костомаров. Однако он продолжал говорить и спорить.

– А еще нам нужен устав, программа! – твердил Гулак. – Создадим корпорацию... Будем работать ради славянства... Ради воли и свободы....

Костомаров был чрезвычайно импульсивным человеком. Такие черты характера, унаследованные от отца, Ивана Петровича, нередко становились помехой в его ученой деятельности. Тяжело понимать нам и мысли историка, если судить о них на основании мемуаров, обнародованных к тому же в нескольких вариантах, через много лет после важных событий, ставших переломными в его жизни и в жизни близких ему людей. Сколько бы ни осуждали Костомарова в советское время, сколько бы ни хвалили его так называемые «украинские буржуазные националисты», мертвой хваткой вцепившиеся в его сомнительные идеи и только их поднимавшие на постаменты, – все же цель его молодых порывов, направленных на практическое осуществление, остается фактом. В конце концов, они признаны явлением прогрессивным.

Как же пришел он к мысли о создании тайной организации, существование которой едва ли не отрицал по тем или иным соображениям, организации, которая не только существовала в действительности, но даже ставила себе целью проведение революционных преобразований?

Пожилым уже человеком, невзирая на свою удивительную память в молодые годы, Костомаров по-разному вспоминал о зиме 1845 – 1846 годов. Впрочем, ничего удивительного. Ему довелось жить в условиях жесткой реакции, когда под запретом очутился сам украинский язык (настолько царизм опасался сепаратистских настроений). В варианте «Автобиографии», опубликованной в майском номере журнала «Русская мысль» (1885), он как-то обтекаемо написал о своем пребывании в доме Гулака. Там-де, сказано, у него впервые появилась мысль о создании братства, которое бы имело в виду распространение «идеи славянской общности», а также «федерации славянских народов» на базе полной свободы и автономии.

В отдельной же книге, которая вместила в себя «Автобиографию» ученого и вышла через пять лет после смерти историка, читаем: «Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже сферой науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории. Мимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций. Мы стали воображать все славянские народы соединенными между собою в федерации подобно древним греческим республикам или Соединенным Штатам Америки, с тем, чтобы все находились в прочной связи между собою, но каждая сохраняла свято свою отдельную автономию... В виде предположения мною начертан был устав такого общества, которого главными условиями были: полнейшая свобода вероисповедания и национальностей и отвержение иезуитского правила об освящении средств целями, а потому заранее заявлялось, что такое общество ни в коем случае не должно покушаться на что-нибудь имеющее хотя бы тень возмущения против существующего общественного порядка и установленных предержащих властей...Товарищи мои искренно приняли эти идеи».

Наконец, в изданном при советской власти варианте «Автобиографии» сказано: «Около этого же времени я написал не-

большое сочинение о славянской федерации. Старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я прочитал Гулаку; оно ему очень понравилось, и он списал его себе».

Таким образом, даже при эзоповском способе выражения, видно, что за короткий период – зима-весна 1846 года – Костомаров создал, или, по крайней мере, принял непосредственное участие в создании двух основных документов будущей организации: ее устава и книги, которая получила название «Книги бытия украинского народа». В самом ли деле эти произведения были настолько безобидными по отношению к существующим порядкам, как хотел доказать Костомаров в последний период своей жизни, – можно судить по анализу всего написанного им в 40-х годах и уцелевшего до нашего времени.

Однако прежде всего остановимся на одном значительном произведении, которое появилось в печати в 1847 году. Над ним Костомаров работал именно в это время, о котором ведется речь. Мы имеем в виду «Славянскую мифологию». Книга была изъята из обращения и частично уничтожена в год выхода из печати, поскольку автор ее был уже арестован. Книгу напечатали кириллицей, то есть древним славянским шрифтом, созданным на основании древнегреческого начертания букв и названным в честь славянского первоучителя Кирилла. То, что Костомаров занимался мифологией, в которой говорится о славянских богах, не вызывало и не вызывает удивления, но кириллица... Она выбрана неспроста. Николай Иванович наверняка считал: именно кириллица может стать общим, роднящим всех славян алфавитом. В самой же книге он страстно стремился доказать, что в древности все славяне имели общих богов, значит – были между собой в родстве. В произведении широко используются труды славянских мыслителей Шафарика, Коллара, Палацкого и прочих. Сравнительный материал заимствовался также из мифологии других народов, неславянского происхождения. Необходимо заметить, что в произведении представлены не только песни, но и проза, летописи, знаменитое «Слово о полку Игореве»...

Мы не знаем первых вариантов основных документов Кирилло-мефодиевского товарищества, однако у нас имеются вполне законные основания считать, что на их выработку неосценимое влияние имела поэзия Шевченко. Именно она могла придать им то высокое, благородное звучание, которое чувствуется там вплоть до сегодняшних дней.

ШЕВЧЕНКО

Татьяна Петровна появилась в Киеве в начале холодного февраля.

Небо к полудню синело уже вполне по-весеннему, но морозы на открытых местах донимали едва ли не жестче, чем в разгар января. В глазах Татьяны Петровны проступали слезинки.

Хома, единственный из юрасовцев, если не принимать во внимание Галю, служанку Татьяны Петровны, оставшийся в распоряжении семейства, да и то не в статусе крепостного, но вполне свободного человека, – успел привыкнуть к молодому барину. Находясь при нем постоянно, он исполнял, однако, указания его матери, перед которой держал ответ. С Николаем Ивановичем Хома беспардонно спорил и часто брал над ним верх.

В тот же день Хома до отказа натопил все комнаты в новой квартире, снятой уже на Крещатике. Татьяна Петровна, пройдя какое-то расстояние по киевской земле, не очень-то присматривала, как разгружается багаж, доставленный из Юрасовки. Привезенного имущества было немного, самое необходимое. Остальное она продала, раздала. Без хозяйского глаза нечего ждать порядка – так полагала с давних пор. И все же первым делом Татьяна Петровна поспешила отогреть свою душу. Лишь потом промолвила сыну, который неуверенно поглядывал на нее:

– Чи ж добре тут буде? Чий це дім?

– Госпожи Сухоставской. Она – купеческого звания.

За просторными окнами виделся заваленный снегом сад, испещренный густыми тенями, с четким синим отливом. Однако небо, по которому скатывалось квелое солнце, начинало покрываться кровавыми сгустками, пятна которых, сползая вниз, высекали на белом чернильный блеск.

За садом и палисадником шли и ехали люди, которых Татьяна Петровна не знала и не смогла бы запомнить в таком огромном количестве, в каком ей пришлось на них наглядеться, пока добиралась до Киева. Ей стало совсем беспокойно. Опустив голову, она без замечаний слушала рассказы об обещании госпожи Сухоставской создать в этом флигеле отличные условия.

— Летом здесь хорошо, матушка... Расцветут вишни и загудят пчелы!

Татьяна Петровна повела головой опять же в сторону окон и еще раз окинула взглядом безжизненный сад.

— Добре? Гарно?

Она долго молилась перед привезенными и уже развешанными Хомой образами, умоляя Бога о счастье в новом жилище.

— Коли б хутчіш потепліло, — сказала, поднявшись с колен. — Тоді вже я виплачусь перед київськими святими.

Направление мыслей враз оживило Татьяну Петровну.

— Хома! Галька! — зазвенел ее голос. — Несіть-но хутчіш валізу!

На следующий день Татьяна Петровна окончательно переборола кратковременную слабость, взяла всё хозяйство в свои твердые руки.

Сын облегченно вздохнул. Хома разгладил морщину, уже залегшую было у него на лбу из-за хлопот молодого барина, который часто спорит, ничего не понимая в хозяйстве, знает лишь книги. Теперь же Хоме, как усердному лакею, надлежит исполнять указания одной госпожи.

Тарас Григорьевич Шевченко выбрался из Петербурга в марте 1845 года. Он имел намерение поселиться на любимой земле, которую в детстве, перемерил босыми ногами. Особенно

крепко помнилась она крутыми могилами (курганами) посреди широких степей.

Поэт уже завершил учебу в Академии художеств, где, на протяжении семи лет, был любимым учеником непревзойденного Карла Павловича Брюллова. В декабре того же года Тарас Григорьевич получил аттестат на звание некласного художника и как-то сразу же был зачислен нештатным сотрудником Временной комиссии по рассмотрению древних актов.

Комиссия представляла собой научное учреждение, созданное при канцелярии генерал-губернатора Бибикова. Целью ее считалось собирание, изучение и издание исторических документов, в том числе и археологических памятников. Тарас Григорьевич, как он сам говорил и писал, любым способом желал «прислониться» к университету, стать в нем учителем рисования. Однако занять подобную должность было не просто, почему он с готовностью ухватился за сотрудничество с комиссией, тем более, что она размещалась в здании университета. Ему поручили зарисовывать архитектурные памятники, открывать и собирать этнографические и прочие материалы по Киевской, Черниговской и Полтавской губерниям. Работа оказалась достаточно интересной. Она предоставляла возможность общаться с народом, изучать его интересы, слушать и собирать веселые и печальные песни, присловья, сказки, предания.

Из числа опубликованных произведений поэта, кроме тоненького «Кобзаря», к тому времени стала известной также поэма «Гайдамаки» и некоторое число стихов, размещенных в периодических изданиях, в частности – в столичном альманахе «Ласточка» Евгения Гребенки и во второй книге харьковского «Молодика». Итак, любители украинского слова, в добавление к «Кобзарю», могли услаждать свой слух шевченковскими стихами «Причинна», «На вічну пам'ять Котляревському», «Н. Маркевичу», «Гамалія», «Тризна», несколькими вариантами «Думки».

Костомаров не только знал наизусть перечисленное, но слышал вдобавок многое из того, что уже ходило между народом,

не будучи изданным, а то и не подававшим признаков быть когда-нибудь напечатанным, пока власть в руках Николая I, — настолько жгучие вопросы поднимала муза поэта.

Знал Костомаров и то, что Шевченко находится на Украине. Он слышал о поэте от сообщников по братству, деятельность которого начинала уже слегка ощущаться. Кулиш и Белозерский, знакомые с Шевченко, рассказывали, что Тарас Григорьевич путешествует по Украине.

— И пишет, пишет, Николай, — восхищался Кулиш. — Вот только нетерпелив наш Тарас. Ему бы всё переиначить. Всюду он видит неправду...

Костомаров в ответ разводил руками:

— Что поделаешь? Причин для того хватает...

— Но нельзя же всё одним махом?

— К сожалению, это так...

В конце апреля Тарас Григорьевич возвратился в Киев с большими запасами археографических материалов и со значительной поэтической наработкой. В издавшем виды портфеле его лежали поэмы «Сон», «Єретик», «І мертвим, і живим», мистерия «Льох», «Заповіт» и многое тому подобное. Разительные строчки вбирали в себя весь гнев подневольного народа...

Весна того года, после снежной зимы, опять же выдалась обильной на воду. Днепр уподобился щедро наполненному ведру. Зажиточные киевляне нарочито спешили к его берегам, чтобы полюбоваться открывавшимися пейзажами, которые синели под горячим солнцем. Паром, на котором переправлялись спешащие в город путники, казался игрушкой среди сверкавшего моря. Однако, с каждым благополучным рейсом его, на берег скатывались телеги, балагулы, иногда — даже панские кареты.

Воды набиралось так много, что она превратила улицы в непроходимую грязь. Бросая взгляды за окно кабинета, Николай Иванович всякий раз утешался надеждой, что среди прохожих вот-вот удастся завидеть Шевченко, который, говорили знако-

мые, остановился в «номерах» гостиницы в доме Беретти, в центре Бессарабской площади...

Товарищи поэта, которые теперь часто торчали у Костома-ровых, были озабочены своими делами. Познакомиться лично с Шевченко не получалось никак, но речь о нем возникала раз за разом.

– Видите, матушка, с каким человеком рядом живем? – обращался Николай Иванович к Татьяне Петровне. – Вот стихи так стихи...

Мать уже привыкла, что сын досконально знает украинский язык, обучать которому не позволял ей покойный Иван Петрович, видевший в «простом» языке лишь источник веселости. Ее радовало, что сын уже сам написал немало украинских стихов. Еще больше любила она слушать чтение «Кобзаря», особенно – о бесталанной Катерине. На суровые глаза Татьяны Петровны набегали при этом слезы. Очевидно, в строчках поэта она видела сходство со своей судьбою...

Восхищался также Хома. В свободное от работы время он припадал к этой книге, хотя знал ее наизусть, не хуже, пожалуй, самого Николая Ивановича. Служанка Галя, которая не могла привыкнуть к сутолоке городской жизни, вдруг оживала, услышав шевченковские строки.

– Чи ж то правду пани просторікують, буцімто вони можуть привести сюди такого чоловіка? – не верилось Хоме. – Ось вийду на вулицю, дивлюсь, дивлюсь – невже він сидить у тому трактирі, де ми, пане Миколо, ледь дуба не врізали? Такому чоловікові треба в палаці сидіти...

– Якби в палаці сидів, то такого не склав би, – вмешивалась Татьяна Петровна. – Він із кріпаків... Одна Катерина чого варта...

Слова о крепостном праве вырывали из памяти ужасающие картины. Николаю Ивановичу вспоминалось лето на берегах Ольховатки. В крепостном состоянии ему довелось пробыть только месяц, а показалось – год, два, десяток...

Татьяна Петровна видела свое бесталанное девичество. Крепостной душой пришла она в этот мир, крепостной оставалась во

взрослых годах, когда родила «незаконного» сына, – пока Иван Петрович не велел ей стать под венец... С большими трудностями выкупила из неволи родных своих братьев... Она и сейчас не могла вбить себе в голову, что Галя считается ее собственностью. Жалея сироту, она по-матерински прикидывала, как выдать девушку замуж...

Хома, не задумываясь над собственным положением, был доволен барином. Он мог теперь запросто оставить хозяйский дом, но не торопился с этим. Он вслух припоминал услышанные от гостей рассказы, будто Шевченко ездит к пану Юзефовичу, чтобы поговорить с его крепостными.

– Диво! – произносил Хома, в который раз отправляясь на Бессарабскую площадь, надеясь вычислить поэта в толпе. Часами торчал перед дверью трактира и никогда не слышал укоров со стороны Татьяны Петровны. Она все понимала. Она сама не могла дожидаться желанного часа.

То ли Костомарова подвела его память, то ли ему почему-то не хотелось уточнять эту дату, только он продиктовал для «Автобиографии» строчки, из которых явственно вытекает, будто он не запомнил, кто из знакомых пришел к нему вместе с Шевченко. Зато ему четко врезалось в голову, что поэт произвел на него очень сильное впечатление. Достаточно было поговорить с ним в течение часа, чтобы почувствовать к собеседнику «сердечную привязанность».

Можно только догадываться о настроении жителей небольшого флигеля, смотревшего на Крещатик всего тремя окнами сквозь совсем еще жиденькую листву, когда перед ними предстал невысокий плотный мужчина лет тридцати. Был он в светлом сюртуке, отличался простым крестьянским лицом, каким-то спокойно вздернутым носом. Переступив порог, пришелец поздоровался мягким приятным голосом:

– Добрый день вам, добрые люди!

Много лет и событий прошумело с тех пор над Крещатиком. Он превратился едва ли не в самую красивую киевскую улицу.

Давно уже нет описываемого строения, однако доныне, приближаясь к месту, которое сейчас занимает дом под номером 50, ощущаешь в душе волнение. И хотя у нас не имеется достаточных сведений о том удаленном дне, а все же несложно понять: не только Костомаров вторично полюбил гениального Кобзаря, но тронул он сердце и его матери, и слуги Хомя, и служанки Гали. Не раз, уже в Петербурге, Шевченко начнет разговор с Хомя, и тот всегда будет чувствовать в поэте близкого себе человека. Такое же взаимопонимание установится у Шевченко с Татьяной Петровной и с тихой дивчиной Галей.

Трудно себе представить, чтобы в этот день не звучали стихи. В свою очередь, поэт не мог не проникнуться удивлением к чудесной памяти хозяина и к его вниманию к украинской литературе.

Уже следующая встреча настолько сблизила Шевченко и Костомарова, что они стали говорить друг другу «ты». Стихотворения поэта, в его собственном исполнении, звучали как обвинения барству, были пронизаны уважением к человеку.

Встречи следовали одна за другой. «Я с ним видался часто, восхищался его произведениями, из которых многие, еще неизданные, он дал мне в рукописях. Нередко мы просиживали с ним длинные вечера до глубокой ночи, а с наступлением весны часто сходились в небольшом садике Сухоставских, имевшем чисто малорусский характер: он был насажен преимущественно вишнями; было там и несколько колод пчел, утешавших нас своим жужжанием». Это воспоминания самого Костомарова, правда, уже из другого варианта его автобиографии.

Николай Иванович чувствовал, что поэт достиг вершины искусства, что талант его раскрылся полностью. Особенно это относилось к строчкам поэмы «Сон».

Прочие все друзья, товарищи по братству, словно бы отошли в глубокую тень. Даже талантливый Кулиш, энергичный Гулак... Шевченковские стихи после авторского прочтения наполнялись еще более основательным содержанием. Становилось удиви-

тельно, как же этому мастеру, в нескольких словах, удастся выразить то, на что простой человек потратит десятки страниц?

Давние друзья проявляли неудовольствие. Особенно Кулиш. Он заверял, что Костомаров одичал рядом с Шевченко, который не в силах сдерживать своих чувств. А уж Костомаров.... «Высоко оригинальные поэмы и кобзарские плачи Тараса, – добавляет Кулиш, – знал он от слова до слова – наизусть. Особенно ценил он у Шевченко то, что... тот ясновельможных гетманов называл варшавским мусором».

На всю жизнь запечатлелось в памяти Николая Ивановича еще одно посещение поэтом квартиры в доме Сухоставской. Стоял очаровательный теплый день. Густым цветом покрылись все вишни и сливы, разбухла завязь на грушах и яблонях, обозначились заросли сирени. Веселым щебетом заливались птицы. В этот раз Шевченко принес тетрадку нигде еще не напечатанных своих стихов, довел хозяина до состояния восторга, после чего оставил всё это ему...

Заслушавшись, несколько раз прочитав оставленное, выучив его наизусть, Костомаров отважился на решительный шаг: он поделился с поэтом тайной о товариществе.

Как же среагировал на это Тарас Григорьевич, который порывался к деятельности?

Как только Шевченко узнал о существовании товарищества, – он, по воспоминаниям Николая Ивановича, сразу же изъявил готовность пристать к нему. К идеям общества поэт отнесся как с большим восторгом, так и с нетерпением. Все это послужило причиной споров между ним и остальными заговорщиками.

У нас нет конкретных данных, что именно говорилось в весеннем садике, когда в нем появлялся Тарас Григорьевич. Он был в простой соломенной шляпе, с широкими полями, защищавшими его от солнца, в просторном сюртуке, со следами краски на смуглых руках. Сквозь переплетение лет, чувствуем, как вспыхивали глаза Хомя, когда рыженький песик подавал знаки лаем возле ворот. Выскочив на крыльцо, Хома летел по дорожке, усыпанной желтым песком:

– Тарасе Григоровичу! Тарасе Григоровичу! Нумо вашего капелюха! Я його на того цвяха нахромлю, що й завжди!

Рыженький песик подпрыгивал так высоко, стремясь дотянуться к руке поэта, что перевортывался в воздухе, визжал и для равновесия бросался в сторону.

– Да я сам это сделаю, друг мой! – смеялся Шевченко.

А на крыльце, на самых нижних ступеньках, выросло платье Татьяны Петровны. Ее лицо озарялось дивной красотой и непривычным спокойствием. Потеплевшими глазами смотрела служанка Галя, позабыв о беспокойстве перед страшным городом. Через голову матери глядел возбужденный Николай Иванович.

– Добро пожаловать, Тарас!

Видим, как сидят они за столом, принакрытым праздничной скатертью, как Хома возится с блестящим самоваром, купленным еще в Ровно и за многочисленные кривые ножки прозванным «пауком». Хома знает, что Тарас Григорьевич выпьет с десяток стаканов чая, добавляя в него припасенный хозяином ром. Раскрасневшись, он будет утирать лицо, а все равно попросит:

– Нумо, Хома, всып еще того чая, будь ласков!

Счастливо улыбаясь, Хома удовлетворит просьбы гостя.

А с невысокого крыльца за молодыми людьми следит Татьяна Петровна, время от времени склоняясь над белоснежным шитьем и отдавая какие-то приказания Гале...

Костомаров, к сожалению, не приводит в мемуарах темы и предмет возникавших споров, но у нас имеются все основания предполагать, что они касались вопросов окружающей жизни. Нетерпение поэта выливалось в том, что его не удовлетворяло запланированное Костомаровым и прочими братчиками.

– Матери его сто чертей! Посмотри, Мыкола, что творится вокруг? Ты с людьми потолкуй не только о старинной песне, не только о жупане полковника Нечая. Напирай на сегодняшний день! Что ты съешь мне бумаги? Составили их, быть может, люди, которые сами не знали жизни! А ты предлагаешь уговари-

вать помещиков, чтобы отпустили крепостных! Сколько же лет пройдет, пока паны «прозреют»? Сколько людей пропадет под розгами? Отпустил ты Хому, планируешь отпустить Галю, знаю, – но это же капля в море!

– А ты, брат Тарас, хочешь сразу всё получить? – горячился Николай Иванович. – Сегодня Хома, завтра Ярема... История творится десятилетиями, столетиями!

– Десятилетиями? Столетиями? Бог ты мой! Да Богдан Хмельницкий за полгода прогнал всех панов...

– Это так... Но что тогда было... Реки крови... Не приведи, Господи...

От их криков вскакивал рыжий песик. Оставив в покое косточку, к которой вмиг прилипали мухи, он лаял на птенчиков, невидимых в зеленых деревьях, на воробьев, купавшихся в песке прогретых солнцем тропинок.

Татьяна Петровна не опускала взгляда на шитье, пока спорщики не стихали. Она догадывалась, что их волнует, понимала, как их тянет друг к другу.

– Ох-хо-хо! – вздыхала она.

Время от времени Шевченко переходил на стихи. Серые глаза его рассыпали искры гнева, черты лица заострялись. Поэт любил читать вслух и делал это с большим мастерством.

*Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить!..*

Хома сразу же забывал о своих заботах, каменел на месте.

Голос Шевченко, кажется, приглушал все прочее. Костомаров смотрел на гостя так же, как и Хома, как и Галя...

На квартире Костомарова и дальше проходили встречи единомышленников. Кроме Гулака, Навроцкого, Белозерского, Пильчикова, Андрузского, Посяды – приходил Степан Федорович Зенович, профессор университета, переведенный из закры-

того Кременецкого лицея. Он был убежденным республиканцем, мечтал о соединении славян в каких-то прочных государственных рамках, но только на принципах автономности и равноправия. Его взгляды также в значительной мере отразились на программе братчиков.

– Заглядывайте в старину, молодые люди, – кивал он седой головою. – Древность мудра. Николай Иванович это понимает...

Естественно, влияние Костомарова на людей было велико. Вот что, характеризуя тот период, написал о нем Пантелеймон Кулиш: «Имея редкий дар слова и память, которая хранила все, что того стоило и не стоило, он был моим профессором – моим и моих товарищей, которые тянулись к нему с жадностью людей, учившихся, как было тогда, «чему-нибудь и как-нибудь».

Да, Костомаров стал лидером товарищества, но присутствие в Киеве поэта Шевченко волновало еще сильнее. Достаточно послушать на этот счет признания современников. «Я тоже жил в это время в Киеве, – пишет один из них, Николай Шигарин, – и хорошо помню, что стихи Шевченко читались во многих кружках, в особенности кровными малороссами и студентами разных национальностей, с особенным увлечением. Некоторые тогда учились малорусскому языку собственно для того только, чтобы в состоянии быть читать и понимать Шевченко. Кроме печатанной книги ходили по рукам рукописные тетрадки, которые списывались почитателями Шевченко наперерыв друг с другом. Я сам провел не один вечер над перепискою стихов для себя и для своих знакомых, которым высылал тетрадки в провинцию».

По городу распространялись слухи, будто поэт пробудет на родине долго, что он везде зарисовывает старину, интересные сооружения и людей. Это в самом деле имело под собой основание. Кроме работы по заданиям Временной комиссии Шевченко думал о создании серии изображений, составлявших офорты под общим названием «Живописная Украина», собирался издавать виды Киева.

О намерениях Тараса Григорьевича осесть на берегах Днепра свидетельствовало также то, что вскоре он переехал из гостиницы, где остановился поначалу, в дом Житницкого на Козьеболотной улице, близ Крещатицкой площади. Впрочем, переехал – не то слово. Вещей у поэта было немного. Если не принимать во внимание художнических причиндалов, то они вмещались в одном чемодане. Поселился он вместе с другим живописцем, Михаилом Макаревичем Сажиним, своим товарищем по Академии художеств, и с фольклористом и писателем Александром Степановичем Афанасьевым-Чужбинским. Строение было новое, сложенное из пахучих сосновых бревен, простора хватало. Тарас Григорьевич занял мезонин, что, однако, не мешало ему появляться внизу, где пожелает. К нему сходились друзья и знакомые, среди которых набиралось немало тех, кто навещал Костомарова на Крещатике.

Не раз этот дом посещал и Николай Иванович. Мы располагаем даже свидетельствами, о чем велись разговоры между ним и Тарасом Григорьевичем.

Произошло это в самом начале лета, когда киевские сады не успели стряхнуть с себя белое оперение. Зелень сверкала еще первородной свежестью. Шевченко с утра пропадал на днепровских склонах, возле сияющих золотом церквей, в людных местах. Глаз художника впитывал краски, а рука переносила их на бумагу или на полотно.

Необходимо отметить, что именно в это время Тарас Григорьевич читал стихотворения на вечерах у знакомых, в молодежных кружках, где только мог. И везде пропагандировал идеи Кирилло-мефодиевского братства, упирая на радикальном их понимании: настаивал на необходимости переустройства общества.

Однажды Тарас Григорьевич познакомился с молодым студентом университета – поляком Юлианом Белиной-Кенджицким. Сблизила их любовь к украинской песне: польский юноша родился и вырос на Украине, близ Винницы. Конечно,

студент стал частым гостем в домике на Козьеболотной. После множества спетых дуэтом песен, после первых бесед, Шевченко решил, что прогрессивно настроенному Юлиану можно доверить тайну. Рассказывая о Кирилло-мефодиевском обществе, он имел в виду приобщение студенческой молодежи, которая живо откликается на призывы. К тому же – перед ним был поляк, а поляки составляли значительную часть славянской массы. Их революционные настроения надо было использовать. Шевченко обратился к Костомарову, желая устроить ему встречу с юношей. И все, что творилось в дальнейшем, прекрасно освещает суть расхождений между Шевченко и Костомаровым. Соглашаясь с тем, что крепостное право следует уничтожить, а не дожидаться, когда оно исчезнет само по себе, что в обществе необходимо провести радикальные перемены, славян – объединить в общих государственных рамках, – они расходились в вопросе, каким образом этого можно достигнуть. Впрочем, о том, что происходило в тот вечер, лучше послушать рассказ самого студента, впоследствии ставшего видным борцом за независимость Польши.

«Незнакомец сидел в кресле возле стола, на котором в беспорядке лежали книги, рисунки, бумага. Когда я вошел, он встал, сделал два шага, и мы встретились нос к носу. Я назвал себя...

– Знаю, знаю, – ответил он, протягивая руку:

– Костомаров...

Шевченко, наверняка, томило нетерпение.

– Говори, Мыкола, что ты собирался сказать, – вмешался он. У Костомарова был озабоченный вид.

– Да, конечно, надо начинать, – настаивал Шевченко.

Костомаров тихо и неохотно начал:

– Так, как есть – плохо, – сказал он несколько запальчиво. – Немцы, французы, англосаксы держатся вместе, а мы, славяне, каждый ходим своей дорогой, а бывает, что и в одной упряжке с врагом, который взваливает на нас всю тяжесть.

Сказав это, он умолк, будто хотел слышать, что мы на это ответим.

Воцарилась тишина.

– Что ж тут поделаешь? – спросил я осторожно.

– Что поделаешь? – повторил неохотно Костомаров. – Делать то, что делают другие – объединяться.

Тут отозвался Шевченко.

– Говори, – сказал он, – по порядку, не крути. Я твою мысль знаю, пусть и другие знают. Хочешь посветить, а каганец прячешь под стол!»

Прервем эту длинную цитату, из которой понятно, что Шевченко желал поскорее выяснить реакцию молодого поляка на основные положения программы Костомарова, к которым он сам относился скептически, ждал изложения их самим Николаем Ивановичем.

«Костомаров почесал в затылке.

– Трудно... Дело вот в чем: мы, украинцы, сами не можем ничего сделать – сил у нас мало. Москва всех к себе тянет. Поляки Москвы бояться и не доверяют ей – с кем же тут делать дело».

Однако Шевченко продолжал настаивать, и «Костомаров неохотно начал:

– Так вот: прежде всего надо собрать всех образованных славян в одно общество, пусть познакомятся, пусть обсудят сами дела, поговорят, про долю поговорят и недолю, о том, что у всех наболело. Прежде чем начать что-то делать, пусть познакомятся, поймут, что делать, как делать, можно ли что-нибудь сделать всем вместе. И уже потом можно браться за работу!»

Конечно же, подобная перспектива мало чем привлекала польского юношу, а Шевченко и дальше вытягивал ответы на жгучие вопросы, в первую очередь – кто же способен объединить славян?

Когда Костомаров выпалил одним духом, что славянам надлежит объединиться под православным царем – тут снова не выдержал Шевченко, возразил историку, что тот хочет затащить всех в одну поповскую хату!

Комментарии здесь излишни. Принципиальные споры в Кирилло-мефодиевском братстве, получается, заключались в

том, следует ли призывать народ к низвержению царизма, или же вначале следует объединить славян под властью царя и эгидой православной церкви, а всего прочего добиваться распространением передового мировоззрения, постепенными реформами.

Не на высоте, по мнению Шевченко, оказался Николай Иванович и в своих воззрениях на равноправие славянских народов. Как свидетельствуют воспоминания того же Белины-Кенджицкого, первоначально Костомаров вообще не желал встречаться с поляком, мотивируя отказ тем, что с поляками-католиками украинцам приходилось долго воевать. Ведь и сам он не так давно пришел к категорическим выводам: католицизм – враг православия. Шевченко ему отвечал: творилось это давно, а сейчас и поляков, и русских, и украинцев «гладит одна и та же рука» – то есть, все пребывают под гнетом самодержавия.

Таким вот образом, в Кирилло-мефодиевском братстве чуть ли не сразу определились две позиции: радикальная и умеренно либеральная.

Всё процитированное, однако, свидетельствует, что убеждения и взгляды Костомарова в какой-то степени менялись. Подобная эволюция, под влиянием Шевченко, могла привести историка к еще большему слиянию его взглядов со взглядами Кобзаря, если б этот процесс не прервали неожиданные события.

КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В конце мая 1846 года Костомарова известили, что в университете Святого Владимира его намерены избрать преподавателем русской истории вместо скончавшегося профессора Домбровского – ради этого ему предстоит прочитать свою пробную лекцию.

Профессор В. Ф. Домбровский болел уже довольно давно. Недомогания вынудили его оставить преподавание в пансионе

мадам де Мельян, и Николай Иванович, помимо работы в Первой мужской гимназии, заменил его в этом учебном заведении для благородных девиц.

Работа в университете была заветной мечтой молодого историка. Неделью спустя, в большом зале, наполненном студентами, он уже рассказывал им, с каких пор начинается отечественная история. Основным тезисом в его пробной лекции служило положение: российская история есть история славянского племени, живущего на территории современной России. Итак, изучение истории, как науки, надлежит начинать с тех времен, в отрезке которых на «российском материке» находят приметы славянских поселений. Приступив к разговору о готах и гуннах, будущий профессор изложил их историю в таком виде, что возникли они в результате смешения разных племен, в том числе – и славян...

К описываемой весне относится также чуть ли не первый словесный портрет Николая Ивановича, созданный его ученицей из упомянутого пансиона мадам де Мельян. Вот каким увидели его зоркие девичьи глаза: «Это был молодой человек с очень свежим лицом, среднего роста, крепкого, так сказать, коренастого телосложения, в виц-мундире (обыкновенная одежда учителей, преподававших в общественных заведениях), в очень широких перчатках и в сапогах такого размера, который возбуждал смех своей огромностью. Вместо поклона он как-то неловко пригнулся, встал, сложил по-детски руки и взмахнул головой, как бы желая освободить свой лоб и глаза от густых прядей волос, надвинутых небрежно надетою шляпою; на волосах, вокруг головы, оставалась втиснутая шляпой полоса, словно с головы только что сняли обруч. Сквозь золотые очки светились умные голубые глаза».

Что же, девушкам нравился его довольно «красивый тонкий нос, едва заметно вздернутый», нравились «прекрасные губы, из-за которых при чтении виднелись кое-когда безукоризненной

чистоты и белизны зубы», а симпатичную улыбку его не портили даже заметные на лбу и носу «небольшие рябинки от оспы».

Естественно, на эти смешные недостатки, которые поразили юных слушательниц, не обращали внимания профессора. Они примечали нечто иное, выраженное словами той же ученицы, которой суждена была особая роль в судьбе Николая Ивановича (о чем будет сказано дальше): «занимательность его лекций и самый способ чтения приобретали все большую к нему симпатию и уважение».

Что же, дебют в университетском зале получился насыщенным цитатами из писателей древности. Автор приводил их словами оригиналов, наизусть. Звучала латынь, древнегреческий язык, старославянские выражения. Высокая эрудиция и чрезвычайные способности претендента были налицо. Когда, наконец, провели баллотирование – не оказалось ни одного голоса против.

Это был триумф, пусть еще и не очень значительный.

Обрадованный, Николай Иванович вышел из вожделенного красного здания, миновал сверкающие кареты, каких-то людей в высоких цилиндрах, выбрался на запыленный пустырь, увидел на нем старушку в красной коротенькой свитке, которая пасла рябых коров, и как-то сразу предстал перед ним Шевченко.

– Тарас!

– Мыкола!

Они обнялись.

Тарас Григорьевич бродил по городу с повидавшим виды этюдником. Он загорел, на темном лице еще разительней проступали всё понимающие глаза. От радости приятеля поэт сам пришел в восхищение.

– Мыкола! Да мы с твоей помощью такие дела провернем! В университете столько хлопцев, которые думают-гадают, как уберечь народ от лиха!

– В основном – поляки, – покривилось лицо Николая Ивановича.

– Снова за рыбу деньги! Того же ката они ненавидят!

Тарасу Григорьевичу было уже не до рисования. Его голову распирали планы на будущее.

– Просыпается народ! Ой, просыпается!

Приятели уже шагали по улицам. Возбужденный Шевченко, невзирая ни на что, затянул народную песню...

На следующий день Костомаров переехал на новую квартиру в Старом же городе, на Рейтарской улице. Оставив обживать Татьяну Петровну с Хомой и Галей, он отправился в Одессу, на морские купанья.

Однако в дороге, в тесном почтовом дилижансе, осыпанном рыжей пылью, и даже на отдыхе в выгоревшем под солнцем южном городе, его не оставляли мысли о лекциях, в которые будут вслушиваться студенты, об университете, товариществе и тех возможностях, которые открываются перед человеком, вещающим с кафедры...

Возвратившись в Киев, окрепший телом и духом, он уже имел в голове с десятка готовых лекций. Вступительная, которую прочитал в начале учебного года – а собралось довольно много студентов, даже несколько профессоров! – произвела на слушателей очень приятное впечатление.

Итак, в августе 1846 года, Костомаров стал адъюнкт-профессором, что повлекло за собой также звание потомственного дворянина, получение чина коллежского асессора, равного званию армейского майора.

В радостном возбуждении, на новой квартире, встретил он Тараса Шевченко. Поэт только что прибыл с раскопок кургана под названием Перепьятиха, неподалеку от Фастова. Археологические работы велись под руководством профессора Николая Дмитриевича Иванишева.

– О, Тарас! И что удалось выкопать генералу?

«Генералом от археологии» Костомаров называл своего коллегу Иванишева, которого знал уже хорошо: тот был инициатором создания Временной комиссии.

– Тебе от него подарок, Николай! – смеялся Шевченко, вываливая на стол что-то завернутое в вышитый петухами рушник. – Из раскопанной нами могилы. Про нее, говорят, писал еще Геродот. Ученые докумекали.

Подарок оказался желтым черепом, пролежавшим в кургане сотни лет.

– Ой, Тарас! Как он подходит к моим фолиантам.

Николай Иванович уже прилаживал находку на книжные полки.

Не унимаясь, Шевченко показывал альбомы с зарисовками, говорил не столько о раскопках, сколько о встречах с крестьянами, о записанных от них песнях, в которых прославляются предводители народных восстаний, о знакомствах с просвещенными людьми, которые работают под руководством Иванишева.

– Знаешь, Мыкола, я познакомился с поляком Прушинским. Уроженец Волыни, он учился в Виленском университете. Был учеником того самого Лелевеля, которого считают вдохновителем восстания. Видел он и Мицкевича... А потом очутился в ссылке... Поляки по-прежнему переполнены гневом... Присматривайся к ним в университете, говорю тебе!

Разговорам снова не было конца-края.

В кабинет раз за разом заглядывал Хома, стараясь подольше побыть рядом с гостем. Татьяна Петровна неоднократно приглашала в столовую, где угощала лучшими блюдами, не спуская глаз с поэта. Весело звучал голос Гали.

Вопреки убеждениям Николай Иванович уже как-то по-иному вспоминал Волынь, откуда не так давно возвратился, тамошних помещиков.

О Волыни вообще говорилось много – Шевченко имел твердое намерение ехать туда по делам Временной комиссии, то есть – зарисовывать указанные материалы. Николай Иванович рассказывал поэту о тамошних замках, руинах, о поле Берестечского сражения, но более всего – о встречах с волынянами.

Вскорости поэт в самом деле получил соответствующее поручение и отправился в дорогу...

А для Костомарова наступили опьяняющие дни работы. «С тех пор я начал жить в совершенном уединении, погрузившись в занятия историею, – вспомнит он через много лет, – время мое поглощалось писанием лекций по русской истории, которых надобно было каждую неделю приготовить четыре. Кроме того я иногда принимался за Богдана Хмельницкого, дополняя написанное мною некоторыми источниками, отысканными в университетской библиотеке».

Киевский университет был совсем еще молодым учебным заведением. Студенческая семья его состояла главным образом из поляков, которые живо откликались на все призывы к оппозиции царизму. Киевские студенты поддерживали прогрессивное объединение «Союз польского народа», возглавляемое революционером Шимоном Конарским. Целью объединения провозглашалась борьба за демократические преобразования, в том числе – за уничтожение крепостного права. Однако все это закончилось трагически: предательски схваченного Конарского быстро казнили, объединение – было разгромлено (1838). Одновременно пострадало много киевских студентов. Университет Святого Владимира на какое-то время даже закрывали и открывали лишь по указанию царя.

Но и после этих жестких репрессий, которые сопровождались отдачей студентов в солдаты, изгнанием профессоров-поляков, заменой их русскими, – даже после этих репрессий искра свободолюбия на берегах Днепра нисколько не угасала. Рукописные произведения Шевченко ходили среди молодежи. Их распространяли также члены Кирилло-мефодиевского братства – В. Белозерский, А. Навроцкий, О. Маркович.

Верные царские приспешники, начиная с мелких чиновников и кончая высокопоставленными, каковыми были попечитель Киевского учебного округа генерал-майор Александр Семенович Траскин, человек вполне еще среднего возраста, но невероятной толщины, или даже сам сатрап значительной части Украины,

генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибилов – вечно подвыпивший солдафон, получивший от Шевченко прозвание «пьяный капрал», – все они понимали, какая опасность таится в недрах рассадника вольнодумства, в университете Святого Владимира. Не довольствуясь суровыми предостережениями, внимательной службой подвластного ему аппарата, – Бибилов приказывал собирать студентов и лично выступал перед ними с угрозами. Он разглагольствовал, будто ему известна каждая мысль молодых вольнодумцев, будто он доподлинно знает обо всех их намерениях по организации тайных обществ. В конце концов генерал-губернатор угрожал закрытием университета.

– Занимайтесь лучше женщинами и волокитством! – посоветовал он в конце одной речи и громко расхохотался, поддержанный лстивыми генералами и чиновниками.

Однако студенты, построенные ровными рядами, в ответ молчали, пока не раздалась настоящая фельдфебельская команда:

– Рразой-дись!

Сам Костомаров, хоть и заверял, будто он окончательно уединился, – постоянно ощущал себя в центре событий. Речь в приведенных выше воспоминаниях шла, очевидно, только о часах внимательного труда над лекциями, над материалами из эпохи Хмельницкого, то есть, о часах, посвященных науке. Потому что в других его воспоминаниях об этом периоде содержатся иные строчки. В них он признается, что идеи основанного им товарищества занимали его «до фанатизма», что он распространял их где только мог: с кафедры, в разговорах с коллегами-профессорами, даже в духовной академии. Неоценимую помощь в этом оказывал ему Дмитрий Павлович Пильчиков, уже окончивший Киевский университет и служивший преподавателем Полтавского кадетского корпуса. По признанию Костомарова, Пильчиков умел разговаривать с молодежью.

Одним словом, идеи товарищества получили широкое распространение.

В университетских коридорах, невзирая на противодействие начальства, все так же звучала польская речь. Молодые поляки были лучше образованы, и это стало понятно сразу, как только Николай Иванович оказался на кафедре. Студенты, в свою очередь, быстро оценили не только захватывающие рассказы молодого ученого о прошлом, но и его основательную профессиональную подготовку. Они постоянно окружали профессора во время переменок между занятиями, наперебой засыпая его вопросами. Наиболее заинтересованных Николай Иванович приглашал к себе на квартиру, где разговоры продолжались на протяжении долгих часов. Естественно, идеи славянского братства занимали в них не последнее место.

Подобное отношение к студентам не могло пройти незамеченным для начальства, которое везде имело своих соглядатаев. Костомарову не раз делали официальные предостережения за панибратство с молодыми людьми.

АПОГЕЙ

Шевченко возвратился в город поздней осенью.

Он путешествовал по Волини, побывал во многих местах, о которых успел предварительно побеседовать с Николаем Ивановичем еще в летнюю пору. Его поразило поле Берестечского сражения, удивили старинные крепостные сооружения, показавшиеся символами поработленного человека. Из путешествия Тарас Григорьевич привез множество рисунков.

Теперь уже Костомаров расспрашивал поэта, что переменялось в знакомых ему краях. После длительной отлучки Шевченко казался еще более уверенным в себе.

– Ничего не переменялось, Мыкола! Народ кипит! Доколе можно терпеть!.. Матери его сто чертей! Грядет новая Колиивщина, говорю тебе. Надо только направить народный гнев, чтобы уничтожить старые порядки и на обновленной земле возро-

дять справедливую жизнь... А что мы с тобою делаем? Да и все наши братчики... Плачемся в жилетку...

Николай Иванович отмахивался от призывов раздуть огонь по всей земле. Его щеки нервно подергивались.

— Знаешь, Тарас, что тогда будет? Вот почитай...

Он снова и снова пытался всучить ему в руки листы бумаги, покрытые разными почерками. Там описывались народные восстания прошлых столетий. Костомаров без устали продолжал собирать материалы, дополняя работу о Богдане Хмельницком.

— Волосы встают дыбом!.. Реки крови... Это возбуждает низменные инстинкты... И нисколько не способствует развитию цивилизации...

Тарас Григорьевич сжимал кулаки, со всей силы ударяя по лакированной столешнице. Хома, заглядывая в раскрытую дверь, испуганно приседал на пороге. Где-то вскрикивала Галя. Сивые глаза поэта враз становились темными и маленькими, словно острия гвоздей.

— Разве от того, что сейчас творится, не становится страшно? Разве сейчас не льются реки крови и слез? И это способствует цивилизации? Можно что-нибудь хуже придумать? Рядом с роскошным замком, за одно зеркало в котором можно купить провизии на все селение, стоят покривившиеся халупы! Ветер раздирает соломенные стрехи! Нет даже дымохода, нет окон! И в ней полно стариков и детей... Позор!

— Знаю, знаю, — вздыхал Костомаров. — Волынские села... Польские паны...

— Не в одних поляках дело! А то и вовсе не в них. Именем царя на земле творится неправда! В том же Почаеве такие нищие при святой обители, как и по окружающих панских имениях. А шляхта жирует даже в большей безопасности под защитой православного царя, чем под властью польского короля! Никакой разницы не вижу между паном-поляком и паном-православным! Даже наоборот: пан-католик больше остерегается царской власти!

Николай Иванович, к своему удивлению, уже не так отставал царя. Споры их становились ожесточеннее, когда речь заходила о том, как можно добиться намеченного братством. Но споры не отдаляли их друг от друга, а только сближали. Шевченко и Костомаров использовали любую возможность, чтобы побыть вместе...

Николай Иванович собирался купить вблизи Киева хутор, где бы Татьяна Петровна могла обзавестись каким-никаким хозяйством. Она соскучилась по деревенскому приволью.

Зимней порою, но по голой еще земле, приятели отправились за Днепр, под местечко Бровары, где (имелось такое известие) продавался хутор с сотнею десятин земли.

Костомарову место понравилось. На хуторе было тихо, как в ухе. С неба сыпался легкий снежок. Там можно было спокойно и плодотворно работать...

Две пожилые женщины, нахваливая свое родовое имение, вернее, его остатки, подносили к глазам носовые платки.

– Не думалось, что так получится...

– И, сестра! На все божья воля... Не плачь...

– Не плачь и ты, сестра...

Однако «негоцию» нельзя было пока совершить из-за недостатка документов.

Тарас Григорьевич расспрашивал о прислуге, а когда пришлось снова садиться в возок и продвигаться в противоположном уже направлении – разговор опять коснулся планов товарищества.

И так – до самого Киева. О чем только не вспомнилось друзьям, куда не заглянули они в своем будущем! Хома, управлявший упряжкой, вбирал голову в плечи, страшась невероятных слов.

– Послушай, Мыкола! Матери его сто чертей... Подлый наш царь...

– Нет, ты все-таки взвесь, Тарас! Подлый-то он, может, и подлый, но как без него могла получиться огромная держава? Я вот изучаю доступные документы, взвешиваю...

Один настаивал на своем, другой – стоял на противоположном...

Они собирались даже работать в одном учреждении. Дело в том, что университетский учитель рисования, художник Павлов, подал прошение об освобождении от должности – Тарас Григорьевич надеялся заполучить вакантное место.

«Братчики» чаще всего собирались у Николая Ивановича Гулака. Он занимал уже новую квартиру на Стрелецкой улице, вблизи старинных крепостных валов. Вместительный дом принадлежал настоятелю Андреевской церкви Василию Завадскому. Сам отец Василий обитал в маленьком флигеле в глубине двора, куда, из многочисленных хлевов, из-за оград и конюшен, доносились свиные, куриные, коровьи, телячьи и лошадиные голоса. В большом же доме, помимо Гулака, вмещалось еще несколько квартирантов.

Наиболее тихой и надежной комнатой оказался кабинет Гулака. Он был заставлен шкафами с книгами, собранными в большом количестве, хотя сам хозяин его, оставив службу в генерал-губернаторской канцелярии, намеревался отправиться в Петербург. Библиотека оставлялась Навроцкому.

Гости Гулака чувствовали себя свободно, словно и не сидел на троне властный Николай I, не существовало зорких жандармских глаз, не следило за мыслями обывателей III отделение собственной императорской канцелярии.

До сих пор невозможно точно сказать, сколько членов насчитывалось в Кирилло-мефодиевском братстве, хоть мы и предполагаем основанием утверждать, будто было их около сотни. Апогея своей деятельности братство достигло в декабре 1846 года. Зимой, как всегда, богатые люди оставляли имения и съезжались в города. Перед Рождеством в Киеве встретились наиболее активные кирилло-мефодиевцы. Кроме кабинета Гулака, они собирались на Ириновской улице, в доме, где остановился Кулиш, прибывший на берега Днепра – он служил уже в Петер-

бурге, имел намерение жениться на сестре Василия Белозерского, а затем, вместе с нею, отправиться за рубеж. Его посылали туда с целью изучения славянских языков, чтобы впоследствии он смог занять кафедру в столичном университете. Прейс, который ее возглавлял, неожиданно умер... Собирались «братчики» и на квартире у Костомарова.

С Полтавщины, из своего имения, по первому снегу прибыл в Киев помещик Савич. Торопясь в Париж, он обещал передать стихотворения Шевченко самому Мицкевичу... Что касается братства – на этот счет у Савича были заготовлены особые планы.

– Собственной тени пугаетесь, господа? Те, которые выводили полки на Сенатскую площадь, также долго раздумывали... Поступать следует по-иному. Надо захватить Печерскую крепость! Я уже познакомился с многими офицерами... Действовать надлежит оттуда. Царскую семью арестуем, а то и... – Он выразительно показывал, что придется сделать с царем, если возникнет потребность.

Савича было страшно слушать. Возле него вертелся быстрый Навроцкий. Над его словами задумывался Шевченко.

Из Полтавы прибыли как раз Пильчиков и Белозерский – они служили преподавателями в кадетском корпусе. Заглядывал вертлявый Андрузский – торопливый юноша успевал везде. Не пропускал собраний студент Посяда, отягощенный бумагами, которые все так же носил под мышкой. Наведывался и другой студент – Александр Тулуб.

Говорили о просвещении для народа и для господ, о выпуске книг необходимого направления. Посяда рассказывал, какие письма об улучшении крестьянского быта рассылает он помещикам, даже царю.

– Вот! Пока не успел отправить! – демонстрировал исписанные листы. – Денег недостает... Обо всем рассказано.

В душе у парня жила вера, что царь не знает о народном горе.

Задумывались «братчики» также над выпуском собственного журнала, который планировали издавать на всех славянских наречиях. Там будут обсуждаться вопросы объединения народов... Обсуждались прокламации – обращения к украинцам, русским и полякам с программными положениями общества. Рассказывали, кто уже проникся идеями братства, на кого есть надежды.

Очень часто на сходках читались стихотворения Шевченко. Копии их имелись в карманах у каждого «братчика». Когда же читал сам Тарас Григорьевич – утихали споры. Более всего волновали поэмы «Сон» и послание «І мертвим, і живим...».

Во время чтения поэт преображался. Он делался выше ростом, каким-то нездешним, настоящим пророком. Голос его гремел:

*Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної України!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили.*

Но, пожалуй, больше всего времени отнимало обсуждение программных документов общества, над которыми долго корпел, перерабатывая, перебеливая их, Николай Иванович Костомаров, приобщая к работе Гулака и Белозерского. До нас дошли лишь конечные варианты того, что было ими написано.

К декабрю 1846 года братство имело уже более-менее четко выработанную платформу. Она вместилась в упоминаемом произведении, получившем окончательное название – «Книги бытия украинского народа».

Автор сравнительно небольшого по объему произведения в значительной степени стоял на позициях христианского социа-

лизма, идеи которого распространялись в Западной Европе начиная с XVIII столетия. Можно смело сказать: все, что провозглашалось в «Книгах бытия...», – будило мысли и разум, призывало к борьбе.

Высоким библейским тоном рассказывается в «Книгах», как Бог сотворил небо и землю, заселил ее разными животными, над которыми вознес человека. Одного Бога должен считать человек своим повелителем, чтобы жить счастливо. Однако люди, расплодившись по всей земле, забыли Господни заповеди. Поддавшись дьяволу, они начали верить в разных богов, которые завелись у различных племен. Господь стал карать их потопами, морами, войнами, неволей. Стали верховодить людьми недостойные цари, не имеющие на то никакого права, ведь оно принадлежит одному только Богу. Цари потому и называются «неправедными и лукавыми». Избрав меж людьми наиболее услужливых, цари сотворили неправедное барство, а прочих превратили в рабов. Прославляя первоначальное христианство, его борьбу против угнетателей и провозглашенное равенство людей, автор книги осуждает папство и вообще духовенство, как привилегированную касту, которая стоит над людьми.

В конце концов люди поняли, говорится в произведении, какая несправедливость установилась в мире, и начали восставать. Примером здесь выставляется революция 1789 года. Убив короля, французы одновременно прогнали и угнетавших их господ. И все ж им не удалось построить справедливое общество. Причину неудачи автор видит в том, что на французской земле не было настоящей веры в Бога.

Перейдя к характеристике славянских народов, автор явно идеализирует их: у славян-де не заводилось своих господ, все были равны меж собою, управляли же ими выборные старшины. Что касается христианской веры – ее славяне восприняли в чистейшем виде от посланных Богом Кирилла и Мефодия, которые перевели Святое письмо на славянский язык. Однако и славяне успели перенять немало плохого от более «старших»

по времени появления на земле народов и начали враждовать между собой. За это Бог назначил славянам наказание. Вот и оказались они в плену: чехи – в немецком, сербы и болгары – в турецком, русские – в татарском. И только через значительный отрезок времени возникли три мощных славянских государства: Польша, Литва и Московщина. Первые два объединились между собой. И завелось в Славянщине барство, и распространилась кривда...

А что произошло на Украине? Согласно произведению, она объединилась с Польшей «как сестра с сестрою», «неразделимо и несмеси́мо», оставшись автономным образованием. Подобные утверждения, понятно, противоречат фактам: украинские земли были насильно захвачены Литвой, а после унии 1569 года автоматически перешли под власть Польши. Но лучше всего обратимся к тексту произведения: «Не любила Украина ни царя, ни пана, составила у себя казачество, то есть братство» – написано там. Указанное казачество, будучи будто бы однородным, имея благородные, чистые обычаи, охраняя православную веру, умножалось в числе. Все люди на Украине стали бы казаками, затем и прочие славяне взяли бы с них пример. Однако польские паны, а также иезуиты, слуги Ватикана, наблюдая, как укрепляется казачество, запретили своим рабам присоединяться к казакам, начали издеваться над украинцами, мучить их. Казачество поднялось на борьбу, за ним – и весь простой народ. В 1648 – 1654 годах польские паны были изгнаны с Украины, и она добровольно соединилась с Россией. Последний факт оценивается в произведении как положительное явление.

Только и это объединение не дало хороших последствий: «... вскоре увидела Украина, что попала в неволю, поскольку по простоте своей не поняла, что такое царь московский, а царь московский все равно было, что идол и мучитель». Особо ужасную роль в судьбе украинской земли сыграл Петр I, который «на костях построил... себе столицу». Еще большего лиха принесла Украине Екатерина II. «А немка царица Катерина, распутни-

ца всесветная, безбожница, мужеубийца, кончила казачество и свободу, отобравши тех, которые были в Украине старшинами, наделила их дворянством и землями и отдала им вольную их братию в ярмо, одних поделала господами, а других рабами».

Страшная беда установилась на свободных некогда землях, где был уничтожен дух казачества – Запорожская Сечь. И пропала вроде бы Украина, но так только кажется. «Не погибла она, ибо не хотела знать ни царя, ни господина; а хотя и был царь над нею, но чуждый, и хотя были дворяне, но чужие; а хотя из украинской крови эти выродки, однако они не сквернят своими подлыми устами украинского языка и сами себя не называют украинцами, а истинный украинец, будет ли он происхождения простого или дворянского, должен не любить ни царя, ни господина, а должен любить и помнить одного Бога – Иисуса Христа, царя и господина неба и земли».

Против жестокого царя восставали поляки (имеются в виду события 1794 года – восстание, возглавленное Тадеушем Костюшко и направленное против интервенции царской России и Пруссии, а также против реакционного режима, установленного в Польше магнатами). Восставали и сами русские (речь о декабристах) – только все неудачно. Царь расправился с ними. И снова деспот властвует над славянскими народами. Но такое положение не может продолжаться долго. Потому что «встанет Украина из своей могилы и опять воззовет к братьям славянам, и услышат воззвание ее, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в Великой России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у болгар». Более того, Украина, забыв давние обиды, поможет возродиться и «сестре» своей – Польше!

Как видим, в этих словах звучит открытый революционный призыв: ликвидировать монархию, уничтожить крепостное право, предоставить всем людям равные права! Здесь уже нет и

тени того, на чем так настаивал Костомаров поначалу, говоря об особой роли русской монархии в деле объединения славянских народов.

Произошли все эти перемены в мировоззрении Николая Ивановича, безусловно, под воздействием Шевченко. Всё высказанное в поэзии, он наверняка старался втиснуть в программу Кирилло-мефодиевского товарищества. Его оценки исторического процесса, деятельности государственных персон, современного положения страны, выраженные поэтическим языком, вплетались в ткань сочиненного «братчиками», в первую очередь Костомаровым. Для этого достаточно сопоставить тексты «Книг бытия украинского народа» со строками Шевченко – и все начинает перекликаться. «Поднимется Украина из могилы» – проставлено в «Книге бытия», а в шевченковской поэзии «Стоїть в селі Суботові» читаем:

*Церков-домовина
Розвалиться... І з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти...*

Обратимся к оценке русских царей. Слова историка приведены выше, поэтическая же характеристика их дается в шевченковских произведениях, уже написанных к тому времени.

Раскроем поэму «Сон»:

*Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину...*

Заглянем в мистерию «Великий льох». Вот как жалуется в ней женская душа, которую не пускают в рай лишь по той причине, что она улыбнулась Екатерине II, когда царица проплывала вниз по Днепру:

*Чи я знала, ще сповита
Що тая цариця –
Лютий ворог України,
Голодна вовчиця...*

Посмотрим еще раз в стихотворение «Стоїть в селі Суботові».

*Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли...*

Так говорится о фаворитах императрицы.

А вот как оценивается эксплуататорская суть царизма и подерживаемых им господ в том же стихотворении:

*Мир душі твоїй, Богдане,
Не так воно стало,
Москалики що застали,
Те і обчухали...*

И все же сто́ит отметить вот что. Хотя в «Книгах бытия» ощущается значительное влияние поэзии Тараса Григорьевича Шевченко, однако отождествлять ее полностью с духом всего его творчества нельзя – по причине мистико-религиозной окраски «Книг бытия», а также по причине пропаганды в ней явной исключительности и даже мессианства украинского народа среди прочих славянских племен. Все это несвойственно было Шевченко, как несвойственны ему и призывы к реформаторской деятельности...

На Правобережной Украине к тому времени действительно ходило много сочинений схожей тематики. В них говорилось о

судьбе Польши, высказывались надежды на ее возрождение. Среди такой литературы были произведения Мицкевича, в частности «Книги народа польского и польского пилигримства» и *Dziady* – с ними Николай Иванович ознакомился, помним, еще во время своего пребывания на Волыни. Итак, при работе над «Книгами бытия украинского народа» указанные произведения в значительной мере послужили канвой, по которой последняя была вышита весьма умелой рукой.

Но, как бы там ни было, роль Костомарова в создании «Книг бытия» следует признать первостатейной. В этом документе он выразил не только собственные чаяния, но также надежды и мысли значительной части всех заговорщиков.

Чтобы окончательно подвести черту под разбором кирилло-мефодиевских документов, остановимся на «Уставе» товарищества, написанном, как заверял Костомаров, опять же его рукою.

Произведение делится на две части: «Главные идеи» и «Главные правила».

«Главные идеи» состоят из 6 пунктов. Они провозглашали:

1) все славяне должны добиваться духовного и политического объединения. В этом заключается их истинное назначение;

2) каждое славянское племя пользуется правами самостоятельности;

3) каждое племя должно иметь народное правление и обеспечивать равноправие своих граждан;

4) и правление, и законодательство, и право собственности и образования базируются на принципах христианской религии;

5) образование человека и его моральная чистота должны служить неременным условием участия его в государственном управлении;

6) все племена должны иметь общий славянский собор из своих представителей племен для координации своих действий.

«Главные правила» декларировали, что братство основано с целью распространения его основополагающих идей, главным

образом путем воспитания молодежи, посредством литературы, увеличением количества своих членов. Товарищество, таким образом, провозглашало мирный путь осуществления программы, то есть выбирало принципы, против которых выступал Шевченко. И все же, понимая опасность даже такой деятельности в условиях николаевского режима, главные правила требовали от каждого вступившего приносить присягу, что он использует все возможности для осуществления начертанного уставом и программой, а также в том, что он не выдаст сообщников, даже будучи подвергнутым пыткам.

«Уставом» особенно подчеркивалось, что товарищество будет распространять письменность, добиваться искоренения рабства и унижения неимущих классов общества, введения республиканского правления, что в каждой вновь образованной славянской республике непременно будут признаны равенство граждан и свобода, уничтожены сословия и сословные отличия.

Главным городом будущей федерации предстояло стать Киеву.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

1847 год начался с прощания.

Кажется, еще слышались звуки новогоднего смеха, сопровождавшего людей на киевских улицах, гулом отдавались в ушах поздравления, звенело стекло бокалов и шипело в них старое вино, — а уже отъезжали Шевченко и Гулак.

Тарас Григорьевич собирался заново издавать свои поэтические произведения, дополнив их чем-то из новенького, недавно написанного (что разрешит цензура). «Кобзарь» первого издания, тиражом в 1000 экземпляров, за семь лет разошелся между почитателями «красного письменства» — где уж там видеть его новым читателям! Не сыскать было и второго издания — так называемого «Чигиринского кобзаря». Вот и поехал поэт собирать

свои рукописи, оставленные у друзей и знакомых по всему Левобережью. Садился в почтовый дилижанс – такой важный, в козлом кожухе, в высокой бараньей шапке, совершенно отличный от элегантного Гулака. Тот торопился в Петербург, потому и оделся вполне по-столичному, чтобы «Бурх» не смеялся над провинциальной серостью. Выглядел Гулак озабоченным, долго жал руки, крепко обнимал.

– Думаю – вскоре! – сказал почти заговорщицки.

Гулаку и Шевченко было по пути до Борзны. Вот уж наговорятся, поскольку оба сошлись на мысли о необходимости решительных действий. Они да еще Навроцкий, Андрузский... Но последний – мальчишка. Не будет этих двоих – заговорит по-иному...

Еще прежде того уехали в Полтаву Белозерский с Пильчиковым.

Уехал и Кулиш. Пантелеймон Александрович торопился на собственную свадьбу. Рассказывал о невесте, сестре Белозерского – и замирал от восторга. Настоящая вродя. Было даже удивительно видеть его – вроде не от мира сего. Прощаясь с Кулишом и обещая прибыть к нему на свадьбу, Шевченко то ли шутил, то ли жаловался:

– Женю вас, хлопцы, да и сам о том же думаю. Кто со мною овечек пас – давно уже собственных деток кормят, которые сами пасут...

Присутствующий Савич качал головою:

– Тарас! До двадцати лет парубок сам невесту подыскивает, до тридцати – люди женят. А после тридцати, как мы с тобой, – сам бес не женит!

Все смеялись, всем было весело. Шевченко тоже захохотал, но вдруг притих. Быть может, и в самом деле ему показалось неосуществимой собственная женитьба? Куда привести жену?

Савич также готов был отправиться в путь.

– Как только явлюсь в Париж – так сразу к Мицкевичу, Тарас!

Савич увозил с собой поэму «Кавказ». Несчастливой станет поездка, а все же ему удалось вручить рукопись – божился поэте...

Савич долго махал рукою. Прослезился, поскольку не знал, когда возвратится. Все равно, мол, друзья не приняли его планов. Жаль...

Теперь, наверное, никогда не узнать, с какой целью разлетались «братчики», увозя вперемешку с произведениями Шевченко, с обращениями к русским, украинцам, полякам, программные документы товарищества. Какие разговоры велись между ними? Что побуждало Гулака оставлять Украину? Намеревался вроде держать магистерский экзамен в столичном университете – так мог сделать это и в Киеве. Искал службу учителя – мог найти ее на Днепре. То ли так уж мечтал о петербургской кафедре... А что влекло за рубеж Кулиша, сразу же после свадьбы? Почему вместе с ним спешил туда Белозерский? Почему, еще прежде того, оказался в Полтаве Пильчиков? Почему везде велись разговоры о славянстве, пропагандировалась поэзия Шевченко и идеи товарищества?

Вопросы, вопросы без ответа...

Однако Костомарову, после прощанья с друзьями, некогда было задумываться. Новый год обещал осуществление многих планов историка.

В его душе звенела песня: Николай Иванович также собирался жениться! Именно это имел в виду Шевченко, говоря о собственном будущем. В качестве невесты Николай Иванович выбрал свою ученицу из пансиона мадам де Мельян. Она внимательно слушала его рассказы и, к удивлению прочих учителей, воспринимавших ее как бесенка в форменном платье, основательно отвечала выученное дома. Девушку звали Алина Крагельская. Она происходила из польской семьи, у которой были более-менее серьезные знакомства, а вот значительных средств – уже не имелось. Училась Алина в пансионе вместе с

сестрой, мгновенно схватывала услышанное, ухитрялась отвечать за сестру либо же ловко ей подсказывала. А еще по-детски кокетничала с учителем – он ей очень нравился. Этой Крагельской принадлежит словесный портрет Костомарова, приведенный нами на странице 156.

Выпущенную из пансиона девушку Николай Иванович встретил в Одессе. Ей уже исполнилось 16 лет. В дорогом и пышном наряде она показалась такой недоступной красавицей, что он не сразу сообразил, откуда ей, незнакомке, известно его имя-отчество.

– Николай Иванович! – закричала девушка на весь театр. – Ой, мама! Это же наш Николай Иванович!

Средних лет госпожу, как две капли похожую на Алину, смутила выходка дочери. И все ж она приветливо улыбнулась.

В антракте какая-то сила повела Николая Ивановича к чужой ложе.

– Мсье Костомаров, я очень рада! – снова выручила госпожа Крагельская, поскольку молодой блондин, представший перед нею, продолжал молчать...

Даму звали Анелей Устиновной.

Алина проявляла большой интерес к фортепьянной игре. Огромный инструмент, спаянный из сотен деталей, стоял на дачной террасе. Тоненькие пальчики бабочками взлетали над рядами клавишей, едва задевая одну из них, или же осами впивались в другие.

Николай Иванович слушал музыку, и волшебные звуки переносили его то в Харьков, где он сам пытался овладеть недоступной гармонией, то воскрешали в памяти московский пансион...

Зато после возвращения в Киев он без промедления воспользовался приглашением Анели Устиновны, поспешил с визитом. Его рекомендовали отчиму Алины – старому Мазурову – и таким вот образом он сделался там близким знакомым. В небольшом доме Крагельских-Мазуровых на Госпитальной улице, в исполнении Алины, звучала музыка Бетховена, Россини, Шу-

берта, Листа... В благодарность за услышанное Николай Иванович читал Мицкевича, особенно поэмы *Dziady* и «Пан Тадеуш». Читал с восхищением, ему тоже хлопали.

В январе в Киеве гастролировал венгерский композитор Ференц Лист. Это было уже третье посещение им России. В феврале он дал свой первый концерт в зале так называемого Контрактового дома. По приглашению Крагельских маэстро появился в их доме, дал несколько уроков Алине. Исполняя свои вариации на украинские темы, Лист использовал народную песню «Ой, не ходи Грицю...» Более того, Алина выступила вместе с ним на сцене перед переполненным залом, и часть аплодисментов, предназначенных Листу, адресовалась ей.

Естественно, красивую исполнительницу тут же заметили. Появились воздыхатели – так что Николаю Ивановичу пришлось действовать срочно и решительно. Он понял – Алина его судьба. Правда, подобного рода намерения посещали его и прежде, в Харькове, где он собирался связать свою судьбу с юной гувернанткой. Тогда был слишком молод, зато теперь...

Татьяна Петровна не желала и слушать о «такой» невестке.

– Полячка? Ні, ні... Католиків нам не треба...

Николай Иванович стоял на своем. Импульсивные характеры матери и сына нередко приводили к комическим сценам. Случалось, спорщики с криками высказывали во двор. Хома, не зная, как избежать еще худшего, бил себя руками по бедрам, сдержанно вскрикивал:

– Ой, лишенько! Що сусіди скажуть... Галько, неси хутчіш воду!

В конце концов Хома сам приготавливал ведро с колодезным холодом, зная, что паныч прикажет вылить ему все это на голову...

Николай Иванович все-таки победил. Татьяна Петровна, охрипшая, заплаканная, сказала глуховатым голосом:

– Про мене, синку, бери й свинку... Аби ти з нею жив...

После этого матери жениха и невесты обменялись визитами. Госпожа Крагельская задирала нос, видя простоту своей буду-

щей сватьи. Но что сделаешь? Сказано: соломенный парубок берет золотую девушку! Было бы приданое... А так...

Сама Алина, удивительно, понравилась Татьяне Петровне.

Свадьбу назначили на воскресенье, 30 марта.

Николай Иванович не ходил, но летал. Припоминались рассказы счастливого Кулиша: как Тарас Григорьевич был у него шафером, как держал над головами венец... Теперь Кулиш с молодой женой и Василием Белозерским уже чуть ли не в Варшаве. Шевченко гостит у друзей. Прислал письмо с расчудесными словами: «Друже мій Миколо!» А закончил послание так: «Не забывай же щирого брата Шевченка...» В письме поэт выспрашивал о делах товарищества, говоря об этом завуалировано, интересовался, скоро ли начнет выходить журнал. Спрашивал, утвержден ли он, наконец, учителем рисования... Деньги на издание журнала обещал прислать из Чернигова, где остановился в гостинице «Царьград»!

Николай Иванович в ответ упрекнул собрата: доколе, мол, будешь сидеть в цареградской неволе? Он призывал поэта на свадьбу, был по-прежнему весел...

Весна сорок седьмого года оказалась ранней и очень дружной. В конце марта можно было ходить в одном сюртуке. Ребятишки из бедных семейств носились вообще босиком, выбивая из почвы свежую пыль.

Из окон новой квартиры, снятой близ Андреевской церкви, Николай Иванович любовался весенней природой. Внизу, по левую руку, переливался красками буйный Подол, за ним сверкала днепровская ширь. Чуть дальше, за синевой, проступали леса и увитые зеленью луговые просторы. Деревья в городе, особенно на днепровских склонах, были готовы вот-вот распусть свои листья, а вербы – уже обсыпались зеленью. Пело все птичье царство, перекликались довольные люди.

Нанятый дом сохранял еще свежесть живого дерева и не впитанных красочных наслоений. Запахи, сливаясь с ароматами

весны, пьянили не только Николая Ивановича. Он же явственно представлял себе, как после свадьбы будет сидеть перед окнами вместе с юной супругой. Будут вдвоем наслаждаться видом тоненьких вишен, высаженных в саду, и далекими, заднепровскими пейзажами... Впрочем, предполагал, просидят здесь недолго: надеялся получить заграничную командировку. Пока он будет заниматься науками – Алина станет брать уроки у знаменитых тамошних музыкантов...

Татьяну Петровну поглощали заботы. Хома даже исхудал лицом, исполняя лавину предсвадебных поручений, мотаясь по магазинам то на извозчицких таратайках, а то и пешком... С трудом держалась на ногах и служанка Галя... Свадьба – большое событие...

В пятницу, 28 марта, Николай Иванович возвратился поздно вечером, счастливый, хоть и смертельно усталый. Между прочим – он договорился о воскресном венчании. Все эти заботы были очень и очень приятны...

Он напился в столовой чаю, видя, как его движения повторяются в темных оконных стеклах. Вознамерился было прилечь в новой спальне, лишь мысленно порылся в книжных шкафах, выбирая приятное чтение.

Татьяна Петровна задержалась на кухне. Она еще никогда не ощущала такой страшной усталости, как в этот хлопотный день.

И вдруг послышались голоса. Где-то фыркнула лошадь. Резко стукнула калитка.

Николай Иванович поначалу не обратил на звуки внимания. Заслышал лишь быстрые шаги Хома, его сдавленный крик, но в кабинет, куда все-таки довелось пройти ради книги, вбежал... Юзефович!

– Михаил Владимирович! – не поверил глазам Николай Иванович, понимая, однако, что в этом визите помощника попечителя учебного округа скрывается что-то необычное. – Вы?

У гостя был вид перепуганного зайца. Обыкновенно спокойные, с чуть вызывающим выражением глаза его горели огнем.

Широкие шрамы от давних дуэлей набухли кровью, сделались бурыми.

– Извините! – ухватился Юзефович за сердце. – Меня привело... Чрезвычайные обстоятельства! Я прибыл вас спасти!

– Что случилось? Говорите! – упал у Костомарова голос. В кратчайшее мгновение он успел передумать решительно обо всем.

– На вас поступил донос! Дайте все подозрительное! Я спрячу!

– Донос?

Николай Иванович вспомнил, что в кармане сюртука у него лежит черновик произведения о развитии человечества, всей Украины, написанный его рукою. Он бросился в направлении шкафа, выхватил из кармана злополучный сверток (то были «Книги бытия...»), собираясь сжечь его, но не успел шагнуть в направлении лампы, как Юзефович вырвал бумагу из рук и исчез за дверью.

Удивленный и даже обескураженный таким поведением гостя, Николай Иванович застыл на месте. Приоткрытая дверь, между тем, распахнулась, и в кабинет ввалились цивильный губернатор Фундуклей, жандармский полковник Белоусов и полицмейстер Галяткин. Следом за ними протиснулся генерал Траскин – сам попечитель округа.

– Господа! Что это все означает...

На шум вбежала Татьяна Петровна. От неожиданности она не могла произнести и слова. Хома, поддерживая хозяйку, испуганно водил глазами перед таким количеством господ. Он не знал, кто они, но догадывался, что их присутствие угрожает барину лихом.

Тем временем гости, сопя и постанывая, точь-в-точь как толстяк Траскин, ничего не говоря, поскольку хозяева ни о чем не спрашивали, уже сгребали бумаги, схваченные на столе, вытащенные из ящиков, бросали их в простыню, которую Хома подал по их приказу. Далее полковник Белоусов сделал знак: всем удалиться, он опечатает кабинет.

– Поедете с нами, профессор! – почти спокойно промолвил губернатор, будто приглашал к себе в гости.

Юзефович, красный как рак, старался не встречаться с Костомаровым взглядом. Он успокаивал Татьяну Петровну, которая, с побелевшим лицом, сидела в пододвинутом Хомой кресле:

– Молитесь Богу, мадам... Всё в его руках...

Поскрипывая сапогами и сверкая безукоризненным мундиром, Фундуклей еще раз напомнил:

– Едете с нами, профессор!

Лишь тогда Татьяна Петровна пришла в себя и закричала с тем визгом в голосе, который Николай Иванович слышал в детстве, когда кучер Савелий принес весть о гибели Ивана Петровича.

– Тише, мадам, тише, – умоляюще складывал руки Тракин. – Бог не допустит беззакония.

В Старом городе выли собаки и тянули печальную песню девичьи голоса, когда Николая Ивановича усадили в дрожки рядом с полицмейстером Галяткиным. Тихо шумели едва распутившиеся деревья.

– К дому господина губернатора! – слышался голос полицмейстера.

Все случилось так неожиданно, что Николай Иванович ничего не промолвил, ничего не понимал, кроме одного: произошло непоправимое. Он не помнил, куда и как его увозили, поскольку из темноты, глазами в глаза, упиралась взглядом Алина...

Опомнился Костомаров в каком-то зале. Его провели по широкой мраморной лестнице, затем потащили вдоль анфилады комнат. И вот перед ним опять губернатор – уже совершенно спокойный, довольный, с пробором на голове. Именно таким приходилось его видеть прежде, как если бы тот взбудораженный вельможа, который сгребал в кабинете бумаги, так и остался там.

– Знаете Гулака, Николай Иванович? – донесся вкрадчивый голос.

Звучанию губернаторской речи мешало лишь то, что между собеседниками выросла невидимая стена.

– Да, ваше превосходительство.

– Он учинил донос! Зашел в Петербурге в собственную канцелярию его императорского величества и все рассказал.

– Что...

Это был еще больший удар, чем арест. Костомарову хотелось ответить, что он не чувствует за собой вины, но сказать ничего не мог. Кровь стучала в виски. Стало темно. Пламя свечей расплывалось кругами, поглощая и губернатора, и всех, кто стоял с ним рядом.

– Велено доставить в Петербург... Но вам лучше сознаться... Вас обличают бумаги... Рассказывайте о тайном товариществе!

Николай Иванович наконец-то понял: ему надлежит защищаться.

– Никакого товарищества не было! – вырвалось из него. – Мы просто встречались... Гулак ошибся...

Жандармский полковник, бравируя выправкой, с наслаждением гурмана поглаживал выхваченный Юзефовичем сверток.

– Этим все сказано, господин Костомаров... Признавайтесь... «Не должен любить ни царя, ни господина...» Помните такие слова?

– Товарищества не было!.. Мы просто встречались...

– Было! – закричал Фундуклей. – Ваша рука писала это? «Не останется ни царя, ни царевича, ни царевны, ни князя, ни графа, ни сиятельства, ни превосходительства...» И вы еще смеете отрицать? Не так заговорите в Петербурге! Советую признаться...

Николаю Ивановичу сделалось страшно, как в детстве, когда его превращали в крепостного...

Фундуклей с Белоусовым кричали наперегонки, но в голове узника мешались все голоса, мысли. Крики их не имели к нему отношения...

Всю ночь Костомарова продержали в полицейском околотке, как матерого злоумышленника, в маленькой грязной комна-

те, где пищали мыши, воняло остатками пищи и немытыми полами. Уснуть он не мог. Человеческие шаги и разговоры за дверью воспринимались пушечными выстрелами. Перед глазами все время торчала окровавленная голова...

На третий день его привезли домой, попрощаться с матерью. Часы в гостиной показывали то время, когда он должен был становиться под венец.

Татьяна Петровна вскрикнула:

— Что они с тобой сделали, Господи! Какую свадьбу устроили!

Словно в тумане предстала перед ним Алина. В девичьих глазах, как и грезилось на дрожках, стоял вопрос: как же это? За что? Надолго ли?

Он ничего ответить не мог...

В Петербург повезли на перекладных. С одной стороны сидел квартальный надзиратель Лобачевский, с другой – рядовой жандарм в голубом мундире. Жандарм многозначительно вздыхал, говорил с украинским акцентом.

Дорога, стелившаяся через Могилев и Витебск, казалась страшной, будто на тот свет. Этой дорогой, знал, отправлялись все, кто перечил воли царя. Скомканные бумажные листы, которые попали в жандармские руки, грозили самым высоким наказанием. Так обещал Фундуклей. Ему вторил Белоусов.

Как же это могло случиться? Как мог оказаться предателем Николай Иванович Гулак?

Предполагаемой вины Гулака во всем случившемся не было ни малейшей.

Донос на «братчиков» учинил студент университета Алексей Петров – сосед Гулака по дому священника Завадского. Еще в рождественские святки 1846 года Петров услышал разговоры за стенкой, стал прислушиваться. Его поразило, что люди, которые собираются в соседних помещениях, говорят на одни и те же темы: о государстве, о славянской общности, о воле, просвещении и даже (страшно сказать!) о республике. Будучи вы-

ходцем из семьи жандармского офицера, Петров знал, как нещадно царь борется с вольномыслящими людьми и как ценит он тех, кто помогает правительству. Можно, решил студент, за просто сделать карьеру. Нужно только вслушиваться и запоминать. Если прозвучало слово «республика» – ошибиться нельзя. Это – против царя!

Студент потирал руки от хороших предчувствий. Позабыв о занятиях, он ждал наступления вечера, чтобы погрузиться в подслушивания. Какое-то время спустя Петров уже знал имена заговорщиков. Особого внимания заслуживал некий Савич. Он просто бредил республикой, вспоминая о Париже, говорил о современных французских ученых, о захвате в Печерской крепости. Он призывал к революции, и там, за стеной, его слушали!

– Да, – шептал про себя Петров, – вы у меня в руках, господа! Навроцкий, Гулак, Костомаров, Шевченко... Революция?

При первом же подходящем случае Петров познакомился с Гулаком, вошел у него в доверие, прикинулся вольномыслящим. От Гулака, а также из уст Навроцкого, он услышал программные документы общества и, вдобавок, вольнолюбивые стихи Шевченко. Сощурился веки, чтобы не выплеснуть радость, Петров попросил разрешения переписать устав братства – и ему разрешили!..

У нас имеются все основания считать, что Петров недолго держал секрет в голове. Первый донос им был сделан в декабрьские дни...

Как бы там ни было, 28 февраля 1847 года Петров пришел к Юзефовичу с форменным заявлением, что у него имеются сведения о существовании тайного общества, которое лелеет антиправительственные намерения.

Подобного рода заявлениям в николаевской России придавалось первостепенное значение. Его необходимо было пустить в ход. Иначе... Можно было оказаться в одном ряду со злоумышленниками...

Юзефович доложил о доносе непосредственному шефу, генералу Траскину. Вдвоем они снова вызвали Петрова и потребовали изложить все известное на бумаге. Студент так и поступил, добавив при этом копию «Устава». Юзефович и Траскин посоветовали и в дальнейшем узнавать как можно больше о членах преступного сообщества, постараться обзавестись вещественными доказательствами...

Генерал-губернатор Бибилов, а также правитель его канцелярии Писарев, в то время обретались с докладами в Петербурге. Известие о преступлении, вместе с «Уставом» тайного общества, Траскин направил на берега Невы. 17 марта, прочитав «ужасные» бумаги, Бибилов доложил о них шефу жандармов графу Алексею Федоровичу Орлову, предъявив ему также «Устав». Одновременно Бибилов предлагал отыскать Гулака в столице, произвести у него на квартире обыск и допросить его самого. Высоко ценя своего правителя канцелярии Писарева, генерал-губернатор рекомендовал как можно шире использовать его в борьбе с крамолой. Если принадлежность Гулака к преступному объединению будет обнаружена – ослушника следует тотчас арестовать и отправить в Киевскую крепость...

В тот же день, 17 марта, жандармы начали вести журнал исследований. Из журнала видно, что наследник престола, будущий Александр II, который в те дни «управлял» Россией, поскольку Николай I болел, отнесся к доносу намного серьезней, нежели Бибилов. Наследник велел арестовать Гулака, и только затем исследовать его бумаги.

Гулак служил уже в канцелярии столичного университета (сказалось содействие ректора П. А. Плетнева, покровительствовавшего Кулишу). Арестованного, со всеми бумагами, его привезли на Фонтанку, в III отделение, где уже ждали Писарев и начальник канцелярии этого заведения – генерал-лейтенант Леонтий Васильевич Дубельт.

Гулак оказался стойким молодым человеком. Он ни в чем не сознался. Тогда Бибилов, который все еще оставался в сто-

лице, получил указание произвести обыски на квартирах прочих подозреваемых киевлян. У кого будут выявлены доказательства принадлежности к обществу – тех предписывалось доставить в Санкт-Петербург, напрямую в III отделение. В списке подозреваемых стояли фамилии профессора Костомарова, студентов Посяды, Тулуба, Андрузского, бывших студентов Марковича, художника Шевченко. Входили туда также Савич, Кулиш, Белозерский.

Прочитав столь грозное указание, гражданский киевский губернатор Фундуклей и жандармский полковник Белоусов решили использовать Юзефовича, зная его приятельские отношения с Костомаровым. Им крайне нужны были документы братства.

Юзефовичу маневр удался.

Аресты продолжались...

В руках у жандармов оказались Навроцкий, Андрузский. В Варшаве были перехвачены Кулиш и Белозерский: они как раз наносили визит наместнику Польши генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу. Жандармы терпеливо ждали выздоровления Марковича.

Шевченко схватили 5 апреля, когда он возвращался в Киев и переправлялся через разлившийся Днепр. Тарас Григорьевич вез в портфеле бумаги с автографами своих произведений, среди которых были рукописи поэмы «Сон», поэм «Кавказ», «І мертвим, і живим...». Все это оказалось в руках охранителей порядка.

Губернатор Фундуклей, завидев в своем кабинете празднично одетого поэта, неподдельно удивился:

– Вы куда собирались, Тарас Григорьевич? – поинтересовался он.

– К Костомарову, на свадьбу, – отвечал тот.

Фундуклей, передают, не удержался от хохота:

– Ну что же! Где жених – там быть и шаферу. Езжайте со всеми своими бумагами. Там разберутся.

На следующий день Шевченко повезли в Петербург, также в сопровождении двух стражей: жандарма и полицейского.

Алина Крагельская, вместе с матерью и Татьяной Петровной отправившаяся вслед за женихом, впоследствии вспоминала, что в Броварах, первой станции на Московском тракте, они заметили возок с арестованным поэтом. Девушка ни разу не видела Шевченко, но много о нем слышала от жениха. Костомаров всегда с восхищением говорил о стихах великого друга, читал его произведения... И вот – поэт перед нею.

Этот день навсегда запомнился юной невесте. Вот как описывает она все это много лет спустя: «Услыхал ли он оклик Татьяны Петровны или узнал ее и Хому, – но не прошло и минуты, как «Тарас» подошел к нашему экипажу и со слезой, блеснувшей в его серых глазах, надломанным голосом проговорил:

– Оце ж бідна Миколина мати, а це, мабуть, його молодесенька дружинонька. Ой, лихо, лихо тяжке, горенько і матері, і дівчині».

«Произнеся такое выражение скорби, – пишет далее Алина Крагельская, – Тарас Григорьевич перецеловался с нами. Жандармский офицер подошел и... попросил его проститься с нами и садиться в повозку... «Тарас» успел только сказать нам, что лично о себе он не горюет, потому что он одинок, «бобыль», а «Миколи мені жаль, бо в його є мати й дружинонька: він нічим не винен, хіба тим, що зі мною побратався. Прости ж мене, матінко, і не кляни!» Он снова перецеловался с нами, сел с жандармами в телегу, тройка курьерских лошадей подхватила с места вскачь».

Тем временем Гулак по-прежнему не сознавался, хотя допрашивал его уже сам Орлов. Жандармы прибегали к услугам священника, имея намерение вызвать для напутствия узника его престарелого отца из Херсонской губернии. Жандармы были уверены, что Гулак в точности знает, где находятся рукописи «Книг бытия украинского народа». Наконец арестованного перевели в Петропавловскую крепость, точнее – в известный Алексеевский равелин, в седьмой каземат. И вот там-то, несколько дней спустя, у заключенного обнаружили рукопись вместе с про-

кламациями к великорусскому и польскому народам, написанными рукой Костомарова.

28 марта граф Орлов направил царю доклад с такими итогами: «Гулак и лица, которые с ним переписываются, проявляют мысли, враждебные нашему правительству... Малороссию и все славянские племена они представляют себе в угнетенном и наихудшем состоянии, выражают страстное желание освободить, особенно Малороссию, из этого положения и даже намекают на какое-то сообщество, называя его христианским».

Охранников самодержавного режима особенно тревожило обнаруженное в документах общества положение, что «... царская власть противоречит законам Божиим и природе людей, что люди все равны и должны управляться лишь старейшинами, что в результате монархического правления возникают одно лихо и страдания».

КАЗЕМАТЫ III ОТДЕЛЕНИЯ

В столицу Костомарова доставили 11 апреля.

В дороге он потерял уже все надежды на какой бы то ни было приемлемый исход. Перестал терзать себя даже за то, что поддался на уловки Юзефовича. Не держал больше зла и на Гулака, который учинил донос. Костомаров решил уморить себя голодом. В этом, полагал, будет наилучший выход. Молодой жандарм, во время коротких остановок, пока переменяли лошадей, смотрел на узника с состраданием:

– Господин Костомаров! Мне кусок в горло не лезет... Съешьте хоть что-нибудь...

Николай Иванович будто ничего не слышал.

С обеих сторон почтового тракта пронеслось уже много городов и сел. Один за другим мелькали верстовые столбы... Много людей встречалось на тракте, в селениях, однако настроение заключенного нисколько не улучшалось. Когда же, посреди доро-

ги, раскроив ее на две полосы, воткнулась в небо острая спица, а жандарм сказал «Гатчина! Коннетабль!» – лишь тогда дошло до сознания, что везут его в Петербург, о котором отец говорил как о сказке, куда он сам порывался, да не успел...

Погода, чем дальше продвигались на север, становилась все хуже и хуже. По Гатчине ехали на полозьях, по обледенелой дороге. Выглянувшее солнце осветило царский дворец, просторное снежное озеро. Вдоль дороги все так же виднелись полосатые будки. Везде сновали солдаты.

В трактире, при почтовой станции, Костомарову сделалось плохо. Он потерял сознание... Когда же пришел в себя – на столе исходила паром еда. Жандарм произнес твердым голосом:

– Подумайте о матери, господин... Я видел, как она с вами прощалась... Вы должны поесть...

Офицер также глядел сурово, но не произнес ни слова.

В Гатчине Костомаров впервые после ареста позавтракал.

И снова – дорога...

Улицы Петербурга еще не распрощались с зимой. Потемневший лед на Фонтанке держался надежно. Вдоль черных тропинок передвигались прохожие.

Возок вдруг повернул и нырнул в ворота. Арестанта сдернули на землю и провели сквозь высокую дверь. Он оказался в комнате, где стояла кровать, обитая красной тканью, виднелся маленький письменный столик. Явился жандарм, совсем не похожий на того, который сопровождал от Киева, швырнул на стол пикейный халат. Промычал:

– Велено переодеться!

Унося одеяние узника, жандарм щелкнул замком.

В верхней части дверей торчало стекло, в котором виднелись каски и сверкающие штыки.

Да, профессор Костомаров оказался в III отделении собственной канцелярии его царского величества, которое размещалось в небольшом двухэтажном доме на берегу Фонтанки. Там находились кабинеты чиновников, следователей и казематы для заключенных.

Через час Костомарова повели к шефу жандармов. Граф Орлов оказался высоким, холеным стариком, сияющим от множества орденов. Рядом с ним, с выражением сочувствия на круглом лице, восседал начальник канцелярии корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт. На тугой красной коже лица его выделялась седина бакенбард. Глаза бегали, будто чего-то выискивая.

Орлов заговорил громким голосом, как на солдатском плацу.

– За такие вещи, – потряс в воздухе вырванными Юзефовичем бумагами, – прямая дорога на эшафот! Только не вы это намарали... Вы – дворянин! Чистосердечное признание поможет выявить настоящего негодяя, а вам – спасти свою жизнь!

Искричавшись, Орлов величественно удалился. Дубельт ласковым голосом, по-прежнему бегая лисьими глазками, предложил:

– Вот вам вопросы, господин Костомаров... Дайте обстоятельные ответы... Только самые чистосердечные, друг мой...

Нам теперь тяжело понять настроение Костомарова. Он не знал о роли студента Петрова, а, значит, верил в предательство Гулака. Естественной реакцией его выглядит стремление во что бы то ни стало показать в невыгодном свете самого «предателя». В своих ответах на вопросы III отделения Николай Иванович написал о Гулаке как о человеке нетвердого характера, склонного к мистификациям. Он, мол, горячо ухватился за идею товарищества, которому предстоит носить имена Кирилла и Мефодия, хотя ему безразлично, что это за товарищество, лишь бы тайное... Но тайного товарищества не было и быть не могло. То, что написано рукой Костомарова и теперь находится в III отделении, – это не что иное, как литературное произведение, которое ему, Костомарову, попало в руки во время службы учителем на Волыни. Написано оно каким-то поляком-эмигрантом, мечтающим о возрождении *ojczyzny*. Правда, Николай Иванович перевел рукопись на украинский язык, поскольку в этом содержится определенный научный интерес... «Непозволитель-

ные рукописи эти, как-то «Dziady», «Поднестриянку» или «Закон Божий», «Сон» и другие, – сознавался он, – я приобретал отчасти по врожденной страсти к редкостям, отчасти с целью, что все пригодится для исследователей языка и для собраний исторических, но теперь я крайне сожалею и глубоко раскаиваюсь, что держал и переписывал эти мерзости». Кстати, у него-де, Костомарова, действительно была мысль создать научное общество, целью которого стало бы изучение славянских проблем. Однако он никогда не разделял преступных мыслей относительно существующего строя, скорее – наоборот: всегда полагал, что славянские народы должны объединиться под скипетром российского императора...

Жандармы, изучив признания, сразу же сделали заключение, что выглядят они довольно путанными и что автор их наверняка желает выставить себя ни в чем невиновным.

Вскоре в III отделении были собраны прочие заподозренные. Допросы не утихали. Шевченко держался с достоинством, отрицал свою принадлежность к любому тайному обществу (необходимо отметить, что в советское время из его показаний исключались моменты, которые могли бы бросить тень на личность поэта, как стойкого борца, чем самому поэту был нанесен скорее вред, а не польза). И все же неопровержимым доказательством «вины» Тараса Григорьевича стала его поэзия, особенно поэма «Сон», направленная против самодержавия и лично против Николая I.

Существование товарищества отрицали также Навроцкий, Тулуб, Посада... Только Андрузский болтал много всякой всячины, но ему, перепуганному, неприглядному, не очень-то верили даже жандармы. Впрочем, ничего существенного сказать он не мог.

Значительный этап в следственном процессе наступил лишь после того, как привезли Белозерского. Василий Михайлович сразу и твердо заявил, что он действительно, вместе с Костома-

ровым, намеревался организовать некое товарищество, по образцу учено-литературных объединений, какие встречаются у славянских народов, к примеру – у чехов. Только они, Белозерский и Костомаров, даже не помышляли об изменениях в государственном строе. Они полагали, что правительство с пониманием встретит их начинания, поддержит идею. Более того, они вскоре забыли о самом названии Кирилло-мефодиевское братство, занимаясь чисто научными проблемами.

Не помог следствию и нарочито доставленный в Петербург доносчик Петров. Он не мог доказать вину Костомарова, поскольку не общался с ним, не знал его, а только улавливал его голос сквозь стенку. Лично Петров был знаком лишь с Гулаком, Навроцким и Марковичем.

3 мая, полагая, что следствие уже завершено, жандармы решили узникам читать книги, хотя прежде все это было строго воспрещено.

В мыслях Костомарова между тем произошел психологический перелом. Считается, что он испугался душевного разлада, в результате которого мог наговорить немало такого, чего в действительности не было ни с ним, ни с его товарищами. Он попросил разрешения написать новые показания. Сам Николай Иванович причину всего этого пояснил следующим образом: к нему в каземат пришел чиновник Попов и предложил «показать» то же самое, что и Белозерский, то есть – сознаться, что рукопись, составленная неизвестным славянином, была просто переписана им, Белозерским. А что касается тайного общества, они лишь подумывали, что было бы неплохо создать нечто подобное, способное помочь правительству. Подумав, Костомаров-де согласился с Поповым.

Неизвестно, в самом ли деле приходил в каземат высокий жандармский чиновник, подбивал ли на что-то подобное. Окончив Казанский университет, Попов одно время был гимназическим учителем Виссариона Белинского, а на жандармской службе подвизался с 1830 года, занимаясь также литературной дея-

тельностью. В этот раз 47-летний Попов, начальник I (секретной) экспедиции III отделения, старательно помогал раскрывать замыслы кирилло-мефодиевцев, и общение его с ними не отличалось гуманностью. Скажем, Шевченко с отвращением напишет о Попове как о верном служаке самодержавия.

Конечно, Попов не смел предпринять ничего такого, что противоречило бы воле Дубельта, Орлова, самого Николая I. Но из материалов следственного процесса действительно видно – карандаш Дубельта перечеркнул предыдущие показания Костомарова, а в журнале следствия записано, что Костомаров в новых своих показаниях пояснил все так же «открыто и точно», как и Белозерский.

Получалось – общество существовало, но состояло всего из трех членов: Гулака, Костомарова и Белозерского, которые лишь мечтали объединить славян под скипетром российского императора. Однако уже в середине 1846 года все трое поняли несуразность своих намерений, товарищество распалось. Гулак отправился в Петербург, Белозерский в Полтаву. Прочие личности если и сближались с заговорщиками – имелись в виду Навроцкий, Маркович, Посяда и другие – так только на почве опять же чисто научных интересов. Ни «Книги бытия украинского народа», ни «Устав», писалось в журнале, не имели практического применения, как и стихотворения Шевченко, написанные в 1840 году...

Учитывая все это, можно сделать заключение, что на такие признания узников действительно подталкивало само следствие, желавшее придать делу абсолютно невинный характер.

Киевские чины, через Бибикова, прислали в Петербург сообщение, будто на телах кирилло-мефодиевцев наколоты некие знаки в виде гетманской булавы – однако ничего подобного обнаружить не удалось. Жандармы попытались организовать личную ставку заговорщиков, чтобы уличить их в нестыковках, но и эти мероприятия не принесли результатов. Даже юнец Андрузский, который многое «вспомнил», хотя по сути ничего

не ведал, – заявил, что допустил преувеличение в показаниях, а теперь не желает выставиться лжесвидетелем. И только предатель Петров лез из кожи, да и он не мог внести в следствие чего-то нового...

Гулак, по-прежнему находившийся в крепости, вскоре прислал показания, в которых подтверждал почти то же, на чем настаивали Белозерский и Костомаров. О других участниках товарищества Гулак даже не вспоминал.

Кулиш покаялся перед царем, попросил прощения за свои предыдущие публикации. Что же касается братства, решительно заявил, будто никогда о нем и не слышал.

28 мая граф Орлов составил окончательную характеристику выявленного «преступления»: «...цель их товарищества была в объединении славянских племен, но они имели намерение объединить племена под скипетром Вашего Царского Величества. Не задевая современного правления в России, они желали, чтобы те иноземные славянские племена, которые имеют намерения присоединиться к нам, были устроены по образцу Царства Польского. Им казалось, что Вашему Величеству, по силе духа Вашего, одному и можно совершить это большое дело; но, сомневаясь, может ли Ваше Величество, занятое внутренним упорядочением державы, принять участие в этом деле, они надеялись достичь объединения славян своими силами».

Вместе с тем Орлов разделил обвиняемых на три категории. К первой относились члены тайного объединения – Гулак, Костомаров и Белозерский. Ко второй – те, кто оказался под их непосредственным влиянием: Навроцкий, Посяда, Андрузский, Маркович, Савич, Шевченко, а также Кулиш. Они обвинялись в создании антиправительственных, а то и просто либеральных произведений. К третьей – те, кто просто о чем-то подобном слышал.

В зависимости от этого были выработаны меры наказания. Свои предложения жандармы представили на утверждение Николаю I.

Гулаку, как наиболее упрямому заговорщику, способному на какое угодно преступление, выпало трехлетнее заключение в Шлиссельбургской крепости, затем – ссылка под строжайший надзор полиции.

Белозерскому зачтены были «чистосердечные» признания. Его предполагалось сослать в Петрозаводск.

Костомарову... Впрочем, о нем мы скажем отдельно, но чуть позже.

Наибольшее наказание жандармы придумали для Шевченко за создание «крамольных» стихотворений, направленных на раскрытие роли царизма и звериной сущности крепостников. Поэта отдавали в солдаты Отдельного Оренбургского корпуса, под строгий надзор начальства, чтобы только из-под пера его никогда не могли выйти «жуткие» стихотворения. Царь усилил вес приговора, приписав на нем собственной рукою: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».

Андрузского и Посяду выслали в Казань, предоставив им возможность завершить образование в тамошнем университете, под надзором полиции. Однако Андрузский не воспользовался этой возможностью из-за болезни глаз, а вскоре, по причине найденных у него вольнолюбивых произведений и вообще за либеральный образ мыслей, его отправили в Соловецкий монастырь. На Украину он смог возвратиться лишь после смерти Николая I.

Марковича, которого привезли в Петербург позже всех, после выздоровления выслали в город Орел.

Савичу царь повелел немедленно возвратиться из-за границы и безвыездно оставаться в своем имении; Кулишу же, после временного тюремного заключения, было велено ехать на службу в Тулу.

Тараса Григорьевича в III отделении Костомаров увидел на очной ставке. По свидетельству ученого, поэт «отличался беззаботной веселостью и шутливостью», но это, наверняка, было

все напускным – чтобы взбодрить товарищей. Шевченко не мог не понимать серьезность создавшегося положения. Когда же их «разводили по номерам, Шевченко прощаясь..., сказал: «Не журись, Микола, ще колись будемо укупі жити».

Тем не менее, следствие закончилось, царь утвердил приговоры.

За окнами стояла весна, но узники почти не чувствовали ее и даже не видели, кроме того, что камни, видневшиеся сквозь решетки, очистились от снега и высохли под солнцем. И все же весенние запахи врывались под мрачные своды.

Шевченко представлял себе родные просторы, покрытые синим маревом. Тоску по милому краю он изливал в стихах, которые записывал карандашом на тонкой почтовой бумаге. Автографы удалось вывезти в Оренбургский край, объединить их под общим названием «В казематі» и озаглавить «Моим союзникам».

В получившемся цикле наибольший интерес представляют стихи, связанные с Кирилло-мефодиевским братством, среди них – стихотворение «Чи ми ще зійдемося знову», (в нем говорится о словах «правди і любові», которым суждено быть разнесенными по миру сообщниками автора), и стихотворение «Веселе сонечко ховалось».

Поводом для написания последнего послужило то, что 19 мая из окна каземата, сквозь решетку, Шевченко увидел мать Костомарова. Приехав в столицу, Татьяна Петровна долго не могла отыскать в ней сына, хотя поселилась невдалеке от того места, где томились кирилло-мефодиевцы. Правда, Алина Крагельская, которая случайно познакомилась с женой Кулиша, догадывалась, что Николай Иванович содержится в III отделении. В молодых головах рождались даже отчаянно-смелые планы. Подруги по несчастью намеревались явиться во двор III отделения под видом торговок, закричать о своих товарах, предполагая, что кто-нибудь из узников выглянет в окно. Их с трудом убедили не делать подобного. Тайны жандармов раскрылись без этих ухищрений, довольно небезопасных...

Вот какие строки легли на бумагу после того, как взорам поэта предстала мать товарища:

*Веселе стонечко ховалось
В веселих хмарах весняних.
Гостей закованих своїх
Сердешним чаєм напували
І часових перемінjali,
Синємундирних часових.
І до дверей, на ключ замкнутих,
І до решотки на вікні
Привик я трохи...
І я згадав своє село.
Кого я там коли покинув?
І батько й мати в домовині...
І жалем серце запеклось,
Що нікому мене згадати!
Дивлюсь: твоя, мій брате, мати
Чорніше чорної землі
Іде, з хреста неначе знята...*

В поэтическом наследии Шевченко сохранилось четыре автографа данного стихотворения. При первом из них отсутствует заглавие. Слова о Татьяне Петровне звучат следующим образом:

Дивлюсь – невольникова мати...

Царским стражам еще нельзя было выдавать имени члена товарищества и свое к нему отношение. Зато при перебеливании произведения в ссылке над стихотворением уже проставлено имя Костомарова. Строка звучит там несколько иначе:

Дивлюсь – товаришева мати.

Впоследствии, в автографе, подаренном Татьяне Петровне, читаем:

Дивлюсь, аж, брате, твоя мати...

Но и на выражении «брат» поэт не остановился. При следующем перебеливании произведения, уже после освобождения из ссылки, строка получила окончательное оформление:

Дивлюсь, твоя, мій брате, мати...

Костомаров, сидя в каземате на Фонтанке, не знал этих стихотворений, но ощущение, что поэт находится рядом, придавало ему сил. Однако соседство их продолжалось недолго.

«30 мая утром, — вспоминает Николай Иванович, — глядя из окна, я увидал, как выводили Шевченко, сильно обросшего бородой, и сажали в наемную карету вместе с вооруженными жандармами. Увидя меня в окне, он приветливо и с улыбкой поклонился мне, на что я также отвечал знаком приветствия».

Вслед за этим в каземат Костомарова вошел жандарм и повел его в кабинет Дубельта. Театрально закатывая глаза и непременно обращаясь со словами «мой добрый друг», Дубельт приказал писарю прочитать заготовленный приговор. Там было сказано, что «адъюнкт-профессор Костомаров имел намерение вместе с другими лицами составить украинско-славянское общество, в коем рассуждаемо было бы о соединении славян в одно государство, и сверх того, дал ход преступной рукописи «Закон божий» (другое название «Книг бытия украинского народа». — С. В.), а потому лишить его занимаемой им кафедры, заключить в крепость на один год, а по прошествии этого времени послать на службу в одну из отдаленных губерний, но никак не по ученой части, с учреждением над ним особого строжайшего надзора». Карандашная надпись сбоку, оставленная рукой императора Николая I, гласила: «В Вятскую губернию». (В подлинном документе стоит: «Коллежского асессора Костомарова,

участвовавшего в Украйно-славянском обществе, придумавшего кольца и название обществу святых Кирилла и Мефодия, давшего ход преступной рукописи «Закон Божий» и хотя впоследствии откровенно сознавшегося, но тем более виновного, что он был старше всех по летам, а по званию профессора обязан был отвращать молодых людей от дурного направления, заключить в крепость на один год и после того отправить в одну из отдаленных великороссийских губерний на службу, но никак не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего надзора»).

Приговор был прочитан, а каких-нибудь полчаса спустя арестанта вывели во двор, посадили в закрытую карету и повезли через мост. В окошко кареты было видно, как внизу качаются стальные волны. На воде трепетали цветные ветрила. Над волнами хмурилось низкое небо. Начинался мелкий дождь...

Как видим, жандармские чины, царское правительство, разбирая дело кирилло-мефодиевцев, вели себя несколько странно: наказание получилось не таковым, как предполагалось вначале. Даже трем главным зачинщикам, которых признали реальными членами тайного объединения, вина была уменьшена по той причине, что они вроде бы позабыли о своих намерениях. Не придавалось также значения провокаторским доносам Петрова о радикальных замыслах Гулака, Навроцкого и прочих. Следствие вроде поверило, что Костомаров и его сообщники не разделяли идей, которыми переполнены программные документы братства – «Книги бытия украинского народа», его «Устав» – то есть намерений ликвидировать крепостничество, снести сословные перегородки, установить республиканский строй и провозгласить всеобщее равенство. Говоря на первых допросах об эшафоте, смертных приговорах, граф Орлов несколько не преувеличивал возможное наказание. Учитывая идейные связи «братчиков» с польскими инсургентами, с декабристами, то есть их революционность, – он имел основания утверждать подобное.

Что же все это значило? Какие перемены произошли в головах власть предержащих?

На эти вопросы исследователи дают различные ответы. Одни из них (М. Денисенко) считали, что Орлов и Дубельт нарочито стремились вырвать у жертв такие известия, которые необходимы были правительству, чтобы не демонстрировать перед мировым сообществом наличие признаков освободительного движения среди православного населения Украины. Им не хотелось выставлять себя перед мировой общественностью в виде поборников современного рабства – крепостного права. Более того, они стремились показать «Кирилло-мефодиевское общество как верноподданническую организацию». Другие, как П. А. Зайончковский, который тщательно изучал деятельность кирилло-мефодиевцев, в своей книге «Кирилло-Мефодиевское общество» пришел к выводу, что царизм был даже заинтересован в объявлении вольнодумцев верноподданными, поскольку хотел показать себя защитником интересов мирового славянства, готовясь, под видом освобождения балканских славян, к разделу Турецкой империи. Ему крайне необходимо было заработать авторитет в их глазах.

А тем временем, расправившись с «братчиками», царское правительство прибегало к различным мерам, чтобы память о заговоре как можно скорее предать забвению, чтобы известия «о смутьянах» не стали достоянием зарубежья (правда, в западноевропейской прессе по этому поводу кое-что появилось, пусть и в искаженном виде). Из III отделения сразу же было послано распоряжение генерал-губернатору Бибикову проследить, не осталось ли где произведений Шевченко и прочих запрещенных книг и рукописей. К запрещенному граф Орлов относил и произведения Костомарова, в частности его «Ветку», «Украинские баллады», «Славянскую мифологию». Все поименованное велено было срочно изъять.

Бибиков, разумеется, дал необходимые указания цивильным губернаторам. Государственная машина тотчас была приведена в движение.

Нечто похожее, между прочим, было предпринято и по ведомству Министерства народного просвещения, возглавляемого графом С. С. Уваровым.

Часть четвертая

НАКАЗАНИЕ И ТРУД

СТРАШНЫЙ ГОД

Татьяна Петровна, с почерневшим, осунувшимся лицом, долго гладила бритую голову сына. Ей чудилось, будто она перенеслась в те далекие годы, когда, без венца, девчоночкой, родила младенца и, ничего не видя перед собою, целовала синие прожилки под его светлой кожей, покрытой едва заметным пушком.

Сейчас она снова видела ту же голову и снова чувствовала в себе животный страх и бессилие перед страшной неправдой, вызванной волей лихих людей. Они карают ее безвинного сына!

— Миколо! Дитино моя!

Она совершенно забыла «господские», то есть великорусские слова. Она редко употребляла их в присутствии киевских гостей, поскольку все они говорили на родном ее языке. Но теперь, раз за разом, приходилось произносить их в «Бурхе», даже на пути к нему. Ей хотелось, чтобы посторонние люди не обращали на нее внимания, однако не оставляли без ответа ее просьб и намерений. Из-за слез она ничего не видела. Опасалась, чтобы не начали расспрашивать, кто она такая, зачем явилась, хотя и грела надежду, будто все еще может уладиться, как только весть доберется до царских ушей. Царю-батюшке достаточно посмотреть на Мыколу и тотчас понять: он не обидит и мухи!

— Миколо! Дитино моя! Як це сталося? За що тебе Бог карає?

Совсем недавно она так гордилась сыном, который дошел до профессорского звания, стал потомственным дворянином. Ради него она бросила родные места, устремилась в Киев, лишь бы быть рядом с ним. Мечтала о внуках, похожих одновременно на сына и на его чернобровую молодичку, пока что лишь то-ненькую девчонку, которая поначалу ей не нравилась. Однако

невеста даже сейчас не отреклась от суженного, верила, что он чист перед Богом, приехала вместе с матерью вслед за ним в непонятный огромный город, который издевается над Мыколою. Ведь стоило Ивану Петровичу вырваться сюда, записать сына сыном – и все бы богатство перешло в его руки. И не пришлось бы ей, Татьяне Петровне, высвобождать из неволи собственных братьев, отрывая от сына последние крохи имущества, брошенного, как собаке, племянниками Ивана Петровича... Юрасовские крестьяне обливались слезами, переходя к чужим господам... Да, все несчастья – из-за этого города...

Татьяне Петровне разрешили встретиться с сыном в комендантском доме Петропавловской крепости. Перед этим Николаю Ивановичу забрили лоб, как настоящему каторжнику, выпарили в бане. И вот он сидит на казенной скамейке, жалкий, несчастный, а солнечные лучи насквозь протыкают его несуразно огромные ушные раковины. Кожа на его лице, с непривычно обострившимися скулами, мелко подергивается, как только он собирается вымолвить слово.

– Як же там... у тебе? Де ти тепер... житимеш...

Сначала его привели к безрукому генералу Ивану Никитовичу Скобелеву. Привыкший наблюдать чужое горе, повидавший разные метаморфозы с людьми, – старик поручил узника смотрителю Алексеевского равелина, пожилому майору.

– В седьмом нумере, матушка... Меня самого теперь зовут «Седьмой нумер»... Там достаточно просторно. Койка, дубовый стол... Правда, под грубой скатертью... Деревянная табуретка. Стены – темные от сажи, влажные... Есть и окошко. Только сквозь него ничего не видно. Два стеклышка сверху, и те плотно замазаны. Одно небо виднеется... Даже на крúжке выбиты литеры «А» и «Р»: Алексеевский равелин... Ко мне приставлен стражник с четырьмя солдатами...

– Алексеевський равелін... Господи...

Она уже много расспрашивала о Петропавловской крепости. Все знакомые с ужасом произносили это сочетание: «Алексеевский равелин»...

Сын говорил как во сне, будто не верил своим словам. А мать от услышанного содрогалась всем телом:

– Господи! Хіба ж ти зарізяка? Алексеевський равелін, «Сьомий номер»... Хіба ж вони не ймуть тобі віри? Хіба ж ти тікатимеш? Без царського дозволу вийдеш звідси?..

Солдаты, доставившие Николая Ивановича, молчаливые и высокие, безразлично взирали на чужое горе. Стражник, горбоносый мужчина, бросил утешительные слова:

– Зачем побиваться, мать? Год пролетит как день!

– Ой, нема гірш на світі, як доганяти та чекати! – запричитала Татьяна Петровна совсем по-крестьянски, рада хотя бы такой поддержке со стороны казенного человека.

Но стражник не сказал ей больше ни слова. Очевидно, и так переборщил в проявлении чувств при общении с государственным преступником и его родительницей.

– Мені дозволено бачитися з тобою, сину! Дозволено носити тобі книги... Кажі, що треба...

Свидание завершилось быстро. Узник снова очутился в седьмом «номере». С него тут же сняли «вольную» одежду, снова всучили штопаное белье, огромные толстые чулки и старые, кем-то ношенные ботинки. Сверху набросили полосатую блузу, нахлобучили белый колпак.

– Ха-а-рош! – засмеялся солдат, с грохотом опустив на каменный пол окованный сталью приклад.

– Пускай сидит и живет! – добавил смотритель. – Не на свадьбу, чего там, сойдет...

Стража вела себя так, будто имела перед собою покойника...

Началось бесконечное арестантское бытие.

Правда, поначалу оно имело свои неожиданности. Через две недели разрешили увидеться с невестой, вернее, попрощаться с ней, быть может – навеки. В комендантский дом Алина явилась в сопровождении матери. Госпожа Крагельская старалась утешить несостоявшегося зятя, рассказывая, какими милостями одарит Всевышний, если верить ему беззаветно.

– Я буду постоянно молиться! – обещал Николай Иванович.

Госпожа Крагельская поведала о давнишнем знакомстве с генералом Дубельтом.

– Он нас помнит... Алина была совсем еще маленькой. Мой покойный муж служил тогда в Вильне... Леонтий Васильевич танцевал со мной на балу... Алину держал на руках, когда приезжал к нам в гости...

Алина говорила мало, еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Она внимательно глядела в глаза, словно пытаясь передать свои мысли без помощи слов. Чувствовалось: ради жениха она способна на что угодно. Такая девушка непременно дождетсся суженного.

– Я буду ждать, знай! – проговорила и лишь после этого вдруг зарыдала...

Возвращаясь в Киев, она успела передать записочку с повелением – беречь здоровье и надеяться на лучшее. Надеяться на Бога.

Петропавловской крепости, насыпанной на Заячьем острове из спехом привезенной земли и лишь затем переведенной в камень, не пришлось стать свидетельницей ратных подвигов. Границы России с побежденной Швецией отодвинулись от основанной Петром I новой столицы. Крепости суждено было «переквалифицироваться».

Алексеевский равелин, часть возведенного укрепления, стал самым страшным в нем местом, где оборвалась жизнь не одного человека. На территории равелина, отъединенной от остального пространства стеною с глубоким каналом, уже в XVIII веке появилась деревянная тюрьма для особо опасных государственных преступников. Павел I, вступив на престол, повелел замесить ее прочным сооружением. Тюрьму называли «секретным домом». В 1825 году ее двери закрылись за декабристами... Впоследствии, уже после того, как там отсидел свой срок Костомаров, в ней мучились петрашевцы, Чернышевский, народники.

В 1884 году тюрьму, наконец, разобрали, узников перевели в Шлиссельбург...

«Секретный дом» представлял собой одноэтажное строение в виде замкнутого треугольника. Оно вмещало 26 камер, с выходами в коридор. Там, на плетеных веревочных дорожках, расхаживали часовые с оголенными саблями, блеск которых дразнил заключенным глаза. В камерах было темно и влажно. Влага проникала не только сквозь стены и потолок, но и сквозь пол – строение стояло в наиболее низком месте твердыни. Кому удавалось вынести тяжесть одиночного заключения – того подстерегали телесные недуги. Вот что писал об Алексеевском равелине ученый П. Е. Щеголев, изучавший его специально: «Кто сидел там – того не дано было знать не только чинам комендантского управления, но и тем, кто служил в этой самой тюрьме. Для заключения в эту наисекретнейшую тюрьму и для освобождения отсюда нужно было повеление царя. Вход сюда был дозволен коменданту крепости, шефу жандармов и управляющему III отделением. В камеру заключенных мог входить только смотритель и только с смотрителем кто-либо другой. Попадая в эту тюрьму, заключенные теряли свои фамилии и могли быть называемы только номером. Когда заключенный умирал, то тело его ночью тайно переносили из этой тюрьмы в другое помещение крепости, чтобы не подумали, будто в этой тюрьме есть заключенные, а утром являлась полиция и забирала его, а фамилию и имя ему давали по наитию, какие придется».

В юности Костомаров обладал отличным здоровьем – не пропали даром отцовские устремления! Ему вредили лишь впечатлительная натура, импульсивность характера. Однако впоследствии, чуть ли не со времени пребывания в Алексеевском равелине, в теле Николая Ивановича начался болезненный процесс, который и положил его преждевременно в могилу. Имя ему – туберкулез.

Первые дни, проведенные в камере, показались бесконечными, как море. Если б не разрешение читать – можно было на

самом деле сойти с ума. Татьяна Петровна, наведавшись в Киев, устроив там собственные дела, поспешила назад в Петербург. Она регулярно снабжала сына разрешенными книгами. Тюремное руководство возвратило «клиенту» очки, которые солдаты отняли было вместе с гражданской одеждой. Кроме того, в знак царской милости, Николаю Ивановичу разрешалось пить чай и курить. Средств, выделяемых казной двадцати копеек на день, хватить на все не могло. Они уходили на кашу, щи, иногда – на кашу с маслом, в праздники – на сладкий пирог.

Узнику не разрешалось писать чернилами, но не было запрета на пользование карандашом. Он мог продолжать свои прежние, гимназические и университетские занятия, наверстывать упущения юности, в частности – в древнегреческом языке. С наступлением осени занятия чаще всего припадали на ночь, потому что днем, в силу утвержденного предписания, в рavelине не разрешалось освещение, а в полутьме болели глаза. Покорная инструкциям стража лишь к вечеру вносила светильник, от которого в каземате, и так наполненном табачным дымом, устанавливалась вонь, начинали носиться хлопья сажи, забивавшие ноздри, горло, раздиравшие грудь. Узник надрывно кашлял...

Зато можно было с головой окунуться в мир античной древности. Костомаров вскоре начал свободно читать «Илиаду» и «Одиссею», лишь временами заглядывая в подстрочник.

В качестве отдыха от занятий служил испанский язык – удалось прочесть всего «Дон Кихота» Сервантеса и несколько пьес Кальдерона.

Усилием воли приходилось избегать воспоминаний о прошлом, о Киеве, об исторических изысканиях. Загонял все это в глубины сознания, да только оно все равно всплывало во сне, разъедало мятущийся мозг...

Так продолжалось до конца зимы. Мучило однообразие пищи, то, что теперь называется авитаминозом. Расшатывались и выпадали зубы... Вскоре все-таки начало казаться, будто самое плохое осталось уже позади. Однако же в феврале Николай Ива-

нович почувствовал сильную головную боль, которая не проходила ни днем, ни ночью. Участились нервные приступы. Начались галлюцинации слуха и зрения. Отчетливо слышались голоса друзей и единомышленников, особенно – киевских. Они заговаривали о каких-то неосуществленных планах, о народных страданиях...

В камеру входили также давно умершие люди, о которых читалось когда-то в старинных книгах и документах. Узник беседовал с ними иногда спокойно, иногда с криками, что нисколько не удивляло стражу: в Алексеевском равелине подобное считалось привычным явлением.

Особенно наседали две исторические фигуры. Одна была супругой Богдана Хмельницкого – таинственная женщина, непонятно каким образом вошедшая в будни гетмана, безусловно, руководимая враждебными ему силами. В руках гетманских недругов она стала послушным им средством, способным на злокозненные поступки. Женщина эта трагически завершила свой жизненный путь: не без ведома самого Богдана, она была повешена его старшим сыном (будто бы за любовную связь с неким львовским поляком)...

С наступлением темноты, когда за дверьми замирали всяческие движения, когда часовые погружались в дремоту – привидение могло материализоваться из клубка табачного дыма, из еле заметной тени. Женщина возникала перед глазами, как перед гоголевским Хомою Брутом – забитая им до смерти панночка. Кроваво-красные уста ее вначале шевелились без членораздельных слов, затем слышались всхлипывания и жалобы. Привидение силилось доказать, что оно нисколько не намеревалось сжить Богдана со света.

«Это поклеп! Поклеп! – раздавался стон. – О, Господи!..»

От резкого женского плача узник вскрикивал, но привидение не исчезало. Чувствовались прикосновения теплой кожи...

В сознание приводили солдаты, брызнув в лицо холодной водой... Только гетманша могла появиться снова и снова, не раз в течение дня...

Другая фигура – это Кремуций Корд, древнеримский историк времен Августа и Тиберия, о котором упоминает в своих сочинениях Тацит. Он приходил совершенно иначе: подсаживался неожиданно, сбоку, тихо-тихо, – клал руку на страницу книги, которую как раз пытался перевернуть Николай Иванович. Рука была крепкая, толстая, с аккуратно отполированными ногтями, с красной царапиной на указательном пальце, которая не заживала на протяжении месяца.

«*Ave!* (здравствуй) – говорил Кремуций необыкновенно четким голосом и на чистейшей латыни начинал обвинять императора Тиберия и его клеветника Сеяна, для которых не существовало законов. – *Audi ac memento!* (Слушай и запоминай)».

Татьяна Петровна, видя, как увядает сын, готова была подложить под него свои руки, но поделаться ничем не могла. Она надеялась лишь на Бога и на вяло текущее время...

– Миколо! Миколо! Молись!

В ответ на материнские просьбы тюремный врач предложил модное в то время водолечение, пропагандируемое грефенбергским подвижником Винцентом Присницем. Дошло до того, что Николай Иванович бросался под водосточную трубу с ледяной струей, то есть, вместе с врачом явно преувеличивал целебное свойство холода. Не исключено, что и эти «лечебные» мероприятия способствовали возникновению заболеваний.

Чтобы чуть-чуть облегчить состояние нервной системы – Николай Иванович перестал заниматься греческим языком, углубился в чтение романов Жорж Санд. Стало вроде бы легче. Читалось без напряжения – французский язык был знаком ему со времен пребывания в московском пансионе. Супруга Хмельницкого и Кремуций Корд стали навещать все реже и реже.

Весной, с появлением зелени в тюремном дворе, куда выводили на короткую прогулку, – здоровье узника несколько стабилизировалось...

Так миновали день за днем. Татьяна Петровна считала, сколько их еще остается. Когда в тюремное помещение, сквозь зама-

занные окна, начало вливаться достаточно света на протяжении целых суток, то есть в столице наступили «белые ночи», – солдаты внесли вдруг в камеру пропахший влагой и холодом чемодан. Следом за ними вошел сам смотритель.

– Помните, какой сегодня день, седьмой номер? – начал старик, жуя седой ус, и, не дожидаясь ответа, выпалил: – 30 мая!

– Ой!

Это означало, что страшный год миновал.

Естественно, Николай Иванович помнил эту дату. И все ж он побаивался, нет ли причины продлить заключение. Ведь с ним обращались так, как с Кремуцием Кордом... Он – всего лишь какой-то там номер!

– Закончилось! – засмеялся горбоносый стражник. – Сегодня вас увезут на Фонтанку, седьмой номер. Ведь у вас есть какая-нибудь фамилия? Помните вы ее? Слава Богу, выдержали... А ведь мало кто выдерживает!

В голосе стражника зазвучала гордость за свою тюрьму.

Солдаты-охранники, как и год назад, глядели так же безучастно. Что им чужая радость?

САРАТОВ

Летом 1848 года в России свирепствовала холера.

На глазах у Николая Ивановича скончался ямщик, который доставил его на тверскую землю. За несколько часов до смерти он пел веселые песни и с гиканьем правил упряжкой.

На пыльных дорогах попадались обозы со страшной поклажей – с телами умерших. Из золотистой соломы высовывались темные пальцы, иногда – усохшие головы, руки, ноги. В придорожных церквях звучали молебствия, а при въезде в селения торчали заставы из бородатых крестьян, вооруженных дубинами. На пропахших дымом развилках дорог томились военные караулы, составленные из хмельных солдат.

От самого Петербурга и до берегов Волги никто не чинил никаких препятствий. Везли двое жандармов, один из которых был в эполетах, второй – рядовой служака.

Перед этим, на протяжении двух недель, ему снова пришлось просидеть в III отделении, но только не в каземате, а в светлой комнате на втором этаже. Кормили хорошо. Позволили даже пользоваться благами жизни. И если б за дверью не торчали солдаты – можно было подумать, что ты на воле. В конце концов, принимая во внимание болезнь узника, ему разрешено было вместо Вятской губернии избрать другую.

В III отделении следили только за тем, чтобы не нарушить верховного указания: узнику нельзя служить «по ученой части».

Напутствуя на дорогу, Дубельт придал лицу умильное выражение, будто творил молитву.

– Мой добрый друг, – промолвил он на прощанье. – Кто собирается управлять людьми – те ходят в козых шкурах и живут в вертепах и ущельях. Запомните это и не разрешайте никому втягивать себя в сообщества. Живите, как полагается христианину. Помните: над нами есть царь и Бог!

И все ж в упомянутой комнате, в стенах III отделения, Николай Иванович почувствовал себя вновь человеком. В его голове скопилась масса литературных замыслов. Хотелось написать пьесу о Кремуции Корде. Виделось много общего между его и своей судьбою...

Звучали слова из собственного стихотворения «На добраніч», задуманного в Алексеевском равелине, еще в июне 1847 года, нигде не записанного, но запечатленного в памяти:

*Вийдуть мученики бліді – катовані тіні!
Дасться суд їм невмолимий, що тебе постигне!*

За спинами Дубельта и Орлова виделись суровые глаза Николая I... Но чаще всего Николай Иванович перебирал в памяти задумки из области истории. Хотелось все-таки взяться за на-

уку. Нужно было завершить жизнеописание Богдана Хмельницкого...

Еще в Петербурге он попросил разрешения остановиться в Новгороде – и, удивительно, ему позволили это. На берегу Волхова удалось осмотреть Юриев монастырь, Софийский собор. Перед глазами въявь возникала живая история: в уцелевшей настенной живописи, в старательно возведенных каменных укреплениях, в каждой уцелевшей древней надписи. Больше всего интересовался старинными письменами, доносившими дух далекой эпохи.

– Здесь процветала славянская республика, понимаете? Здесь жили свободные люди! – уверял он сопровождавших монахов, а те без особой охоты делились своими познаниями с бледным проезжим человеком, будто бы даже из благородных. Но почему неотрывно следует за ним стража?

– Да, господин хороший...

Сонный жандарм, наблюдая восторги недавнего арестанта, ронял замечания:

– Как бы не пришлось поворачивать оглобли...

Осмотры и разговоры смущали ум. Еще сильнее хотелось взяться за книги...

Жандармы снова и снова торопили ямщиков, избежавших холеры. Через десять дней все-таки достигли Саратова. Возок остановился перед домом губернатора М. Л. Кожевникова...

В тот же вечер, освобожденный из-под стражи, Николай Иванович долго бродил по улицам, прогретым июньским солнцем. Он чуть не рыдал оттого, что дождался свободы, не умер, не сошел с ума.

– Господи! – умолял Всевышнего, всматриваясь в насыщенную теплом темноту. – Дай мне сил и возможностей совершить задуманное!

Внизу, накатываясь на песок, плескались волжские волны. От них веяло прохладой. А вдали, при въезде в город, пылали костры.

Кажется, он не опасался холеры, хотя в Саратове она так же косила людей, как и по всей России. За стенкой гостиничного номера, в котором удалось провести свой первый свободный вечер, скончался флигель-адъютант из Санкт-Петербурга. Молодой офицер, говорили, отчаянно сражался за жизнь, но смерть ее пересилила.

Саратов, основанный на правобережной волжской возвышенности, разделенной на обширные части, оказался довольно значительным городом: насчитывал несколько десятков тысяч жителей. На противоположном, низменном берегу реки лежало татарское поселение. Вновь основанный город поначалу носил название «Сара-тау», «Желтая гора», – впоследствии словосочетание превратилось в привычное для русского уха слово.

Проведя какое-то время в гостинице, Николай Иванович решил подыскать удобную квартиру. Обходя центр города, он везде натыкался на улицы, лишенные насаждений или даже одиноко стоящих деревьев. Саратовцы, получалось, как бы соревновались между собою: у кого получится более чистый двор, чьи окна не будут закрываться листвою.

Улицы Саратова одним лишь напоминали киевские: они не были замощены камнем. После дождя пешеходы месили грязь, а в погожие дни – чихали и кашляли от пыли.

Правда, на окраинах города Костомаров обнаружил немало зелени. Вообще – чем дальше от центра – тем ее набиралось больше. Однако ему было выгодно жить поближе к губернскому правлению, где была предоставлена служба, чтобы не бегать по грязи. И вот на окраине города, на углу Константиновской и Ильинской улиц, обнаружилось нечто, вроде бы подходящее. Из-за забора, окружавшего дом, выглядывал флигель в несколько окон, над которым вздымалась верба. Густыми ветвями дерево обнимало тесовую крышу. Вся эта картина опять же напоминала собой Украину, Киев, берега Днепра... Еще бы белые стены... Но белых стен в Саратове не было.

Николай Иванович толкнул калитку, вошел во двор, внимательно всматриваясь, не бегут ли собаки. Солнце садилось как раз в раскаленную пыль. Широкий двор, поросший бурьяном, с протоптанными тропинками, также до боли напоминал украинские подворья... А посреди всего этого сидит молодой еще человек за небольшим деревянным столом с лоснящимся самоваром, прихлебывает горячий чай!

— Гостям мы рады! Милости прошу...

После обмена приветствиями Николай Иванович спросил:

— Не пустите ли пожить в вашем доме под этой вербой?

Хозяин пригласил к чаепитию. Ответил лишь после того, как гость пригубил напиток.

— Там, наверху, имеются комнаты... Но вы ж не такой человек, чтобы себя ограничивать? Поищите где-нибудь в другом месте.

— Здесь тихо. А мне нужно работать с книгами.

Слово к слову — они познакомились ближе, будто давно уже знали друг друга. Хозяина звали Николаем Дмитриевичем Прудентовым. Он служил архивариусом в духовной консистории.

— Как открыли Саратовско-Царицынскую епархию — так и несу эту службу. Двадцатый год.

Вместе осмотрели дом внутри. Из окон открывался вид на Волгу и на татарское городище. Все это напоминало собой последнюю квартиру в Киеве, над Днепром.

— Мне здесь нравится! — заключил Николай Иванович.

Хозяин больше не возражал, догадываясь, кого Бог послал ему в квартиранты, равно и в собеседники.

— Хорошо!

Прудентов любил толковать о всякой всячине, да и сам обладал приличными знаниями. Иногда он просиживал с квартирантом целые вечера. Говорили о раскольниках, об украинских селах — украинцы жили на Волге большими колониями, сохраняя свое наречие, песни, элементы быта, даже белые стены! Говорили о бунтах Степана Разина и Емельки Пугачева. Волга стала свидетелем многих событий...

Принимая во внимание, что он был когда-то профессором, но впредь не может служить «по ученой части», а также то, что генерал Дубельт, в конце концов, написал ему щадящую рекомендацию, – службу Николаю Ивановичу придумали совсем немудреную: заведывание казначейской частью в канцелярии губернатора!

Только путного из этого ничего не вышло.

Было просто смешно наблюдать, как Николай Иванович складывает цифры, присоединяя рубль к рублю, копейку к копейке. Сколько ни проверял он подсчеты – получалось не то. У него подергивались щеки, он мелко качал головой. Все это знаменовало память об Алексеевском равелине.

Опальный профессор срывался с места и начинал размахивать руками. Чиновники, собравшиеся в коридоре, смотрели на него сквозь слегка приоткрытую дверь и хватались за животы.

– Финансы – мудреное дело!

– Не говорите!

– А как же! Для этого нужна голова на плечах!

Хохот сопровождал Костомарова и на улицах. Более того, слухи о чуде-ссылном распространялись по городу. Вскоре его стали узнавать мальчишки. Они бежали следом, кричали и хохотали, как дикие существа, а то и запускали комьями земли.

– Тю! Тю!

– Барин! Подай копеечку! Их у тебя во-о-он как много!

– Га-га!

– И мне!

– Мне тоже!

Ребятишки принимали его за юродивого, вроде городского дурачка. Взрослые смотрели на это с улыбкой, не останавливая детей.

Он и в самом деле казался странным в своей не в меру широкой одежде, в огромных сапожищах – с годами любовь ко всему безразмерному в одежде и в обуви только усилилась, – с тем же подергиваньем лица, с тем же размахиваньем руками.

Дело несколько переменялось, когда губернатор Кожевников распорядился назначить Николая Ивановича переводчиком и даже установил ему годовое жалованье в размере 350 рублей. Суммы этой было вполне достаточно для беззаботной жизни: цены на продовольствие держались на низком уровне.

На новом посту Николай Иванович почувствовал себя даже совсем неплохо. Он готов был переводить что угодно и с какого угодно языка, но... Переводить было нечего. Вскоре губернатор велел ему заведовать уголовным столом, затем — и секретным. Получалось, что секретное дело о слежке за политическим ссыльным, бывшим профессором, попало ему же в руки.

Зато реальное дело Николаю Ивановичу пришлось иметь с самыми разными людьми. Прежде всего — с миром раскольников, которых в те годы в России насчитывалось более 10 миллионов. Они сохраняли свои обычаи, фольклор, считались даже в определенной степени в оппозиции к правительству. Саратовский край вообще прослыл местом, куда ссылали опасных для власти людей. Когда-то там поселили пленных французов, явившихся покорять Россию...

К 1848 году в Саратове содержалась компания ссыльных поляков, с которыми Костомаров сошелся довольно близко. Почти все они прежде являлись студентами Виленского университета, и теперь их польский патриотизм раз за разом натывался на его малорусские и великорусские симпатии. Подобные разговоры и споры принуждали думать об обогащении знаний.

А еще в Саратове существовала гимназия, обитало много интеллигентных семейств, в которых также набиралось немало людей с университетским образованием. Итак, ссыльный Костомаров получил возможность изучать Россию.

Вскоре, следом за Николаем Ивановичем, прибыла Татьяна Петровна. Под ее руководством снятое сыном жилище превратилось в приветливую квартиру, где установился уют, накопилось много зелени.

Не оставлял прежней службы и Хома Голубченко. Преданный своим господам, он явился вместе с Татьяной Петровной, хотя уже крепко подумывал о женитьбе, о собственном доме. Приехала и служанка Галя, которая, казалось, навечно привязана к хозяйке.

Имея достаточно времени и обладая определенной свободой, но не располагая возможностью служить «по ученой части», Костомаров поначалу занимался чем угодно: математикой, астрономией, даже хиромантией. К подобного рода занятиям ему удалось приобщить молодую саратовскую помещицу, вдову и мать пятерых детей – Анну Никаноровну Пасхалову. Она оказалась очень образованной женщиной, веселой и шутливой. Вдвоем молодые люди наблюдали звездное небо, мечтали о совместных полетах на воздушном шаре.

Общие интересы Костомарова и Пасхаловой переключились вскоре на изучение саратовского края. В этом Николаю Ивановичу способствовали разговоры и общение с домовладельцем Прудентовым. Не последним считалось и то, что в семи верстах от города у Пасхаловой имелась собственная деревня. Оттуда, вместе с ее владелицей, Николай Иванович осуществлял этнографические экскурсии в окружающие хутора и села, как делал это на Украине, с той лишь разницей, что изучал теперь фольклор великорусского народа, слушая его песни, предания, сказки.

Как только Николай Иванович изрекал давно ожидаемый приказ «Утречком запрягай Пана Твардовского... И приготовь все прочее... Ты знаешь...» – для Хома Голубченко наступали самые отрадные часы и даже целые дни.

Пан Твардовский слыл некогда бравым обозным конем. Хома выторговал его в саратовской ярмарке у старого хромого солдата, который тщетно пытался поведать всем о походе 1831 года. Конь пересек тогда польские земли вплоть до Варшавы, затем в обратном направлении. Однако из-за какой-то болезни у него стали плохо сгибаться ноги в суставах. К старости его бег на-

чал смахивать на замысловатый танец, отчего он и получил прозвание Пан Твардовский.

Хома еще с вечера готовил бричку, смазывал дегтем колеса, вычищал лошадиные бока, которые Пан Твардовский подставлял с готовностью, как будто наперед понимая, какие надежды возлагаются на него.

Татьяна Петровна тоже не ведала покоя, не давала его и служанке Гале. Труба над флигелем в такие моменты выпускала насыщенный черный дым, а двор распирали запахи печеного и вареного.

Утром Хома выносил из дома и ставил на дно брички корзины с провизией. Он сам размещал приготовленное, сам прикрывал еду бумагами, уже ненужными пану Мыколе. На первом месте оказывался самовар-паук, память о городе Ровно.

Наконец открывались ворота. Хома издавал звук губами – и бричка, вроде бы без малейших усилий Пана Твардовского, оказывалась на улице. На короткое мгновение вожжи вручались Николаю Ивановичу – Хома же запирает ворота, усаживался на сидение, «вйокал» во всю мощь молодых своих легких – начинался бесконечный лошадиный танец!

Пес Бежук обыкновенно заглядывал в соседние улицы, а домой возвращался с окровавленными ушами. Однако стоило Хоме громко крикнуть, а Пану Твардовскому фыркнуть и пробежать расстояние в двадцать шагов, – как Бежук с непременным лаем выскакивал из чужого сада.

– Ач! – смеялся Хома, стегая дорогу кнутом, отчего пыль вздымалась змеистыми кольцами. – I ви тутечки, мосьпане!

Прыткий Бежук демонстрировал, как он запросто обгоняет коня: бежал вперед, возвращался назад и снова – вперед! С красного языка у него стекала розовая слюна.

Пикники обыкновенно устраивались на астраханской дороге, вблизи деревни Пасхаловой. Путь на Астрахань тянулся по высокому волжскому берегу. Внизу, синела река. Растревоженная весенним разливом, она долго не могла войти в привычное

русло. По широкой водной стремнине неслись суда и суденышки, челны, плоты, полоскались под ветром разноцветные паруса. Иногда проплывали пароходы, шлепая заморскими колесами. А вдоль берега, друг за дружкой, плелись бурлаки, таща встреч течению переполненные кладью баржи. Что-то захватывающее чудилось в удивительной картине, которая чаровала уши, душу, глаза.

Николай Иванович переводил взгляд на Пана Твардовского.

– Эх, Хома! Хома! Чего только не перевидал этот конь на своем веку! Если бы заговорил – может, и про фельдмаршала Дибича рассказал бы, как тот брал Варшаву!

– Чого ж! – соглашался Хома, выгибая бровь. – Чим би тільки його нагодувати, пане Миколо, щоб заговорив людським голосом?

Оба весело хохотали. Конь вытанцовывал и вытанцовывал, а Бежук между тем успевал проверять придорожные кусты.

Вскоре открывалось место, удобное для пикника. Оттуда уже махали руками приятели, улыбалась госпожа Пасхалова...

Саратовские знакомцы неизменно приветливо встречали Николая Ивановича. Будучи людьми молодыми и жизнерадостными, они не теряли надежды повеселиться. Зная ненасытный интерес ученого к народной песне, сказке – приятели подговаривали какого-нибудь мужичка, учили его вычитанной или сочиненной ими же песне или сказке и подсылали его в качестве «носителя» фольклора. Только Николай Иванович не попадался на этот «крючок». Вычитанное в журналах было ему знакомо, а сочиненное шутниками – отличал мгновенно.

Особенно любил Николай Иванович праздничные дни, когда предоставлялась возможность наблюдать народную жизнь во всей ее полноте, изучать обычаи, любоваться убранствами, словно когда-то, на недоступной теперь Украине.

Он никогда не пропускал пасхальные праздники, Троицу.

Не обходилось без пикника и в ночь под Ивана Купалу.

Высокий берег Волги усеивался сплошными огнями. Молодые приятели также разводили костер. Вместе с Хомой и под его ру-

ководством сносили в кучу усохшую древесину. Хома раздувал сапогом самовар-паук, раскладывал прихваченную дома провизию. И, как всегда, можно было слышать его необычные споры с Николаем Ивановичем.

— Давай-ка, Хома, — велел Костомаров, — те колбасы, которые в «Хмельницком» завернуты!

— Е ні, пане Миколо! — с чувством собственного превосходства отвечал Хома. — У «Хмельницькому» книші, а ковбаса — в «Свирговському».

Слуга, безусловно, лучше знал, на что пошли черновые листы того или иного сочинения.

— Ось! Вам мене з пантелику не збити!

После взаимного угощения, после непрерывных шуток, паньчи начинали прыгать через костер, видя, как делает это крестьянская молодежь.

— Ну-ка! Ну-ка! — подзадоривали друг друга.

Николай Иванович прыгал первым. Прыжки у него получались настолько смешными, что хохот приятелей заставлял даже Пана Твардовского отрываться от торбы с овсом и выворачивать свои огромные ноздри. А уж госпожа Пасхалова, Анна Никанорова...

Глядя на все это, Бежук подпрыгивал от восторга, пожалуй, выше огненных языков. Он бы мигом преодолел любой костер, только где там... Люди не подпускают.

— Ось так треба, панове! — почти без разбега Хома оказывался на другой стороне огня, а грохот его приземления был слышен на противоположном берегу Волги...

Вместе со своими товарищами, с госпожой Пасхаловой, Николай Иванович записывал народные песни. Иногда пытался раскапывать древние захоронения.

На волжских берегах повсеместно говорилось о Стеньке Разине. Именем славного атамана украшались урочища, скалы, курганы. Оно постоянно звучало в народных песнях...

После столь длительного молчания ученого, в еженедельной газете «Саратовские губернские ведомости» за 1851 год, в номере 22, видим публикацию, подписанную «Н. К.» и озаглавленную «Народные песни, собранные в Саратовской губернии». Нелишним будет заметить, что какое-то время Николай Иванович сам прослужил редактором данной газеты, но допустил в ней курьезную ошибку, превратно истолковав одно местное словечко. В результате он был не только отставлен от должности, привлекающей его внимание, но даже вызвал опасение со стороны губернатора: не тронулся ли вновь присланный подопечный умом? Что же касается коллег-чиновников – они насмеялись открыто:

– Как это вы, Костомаров, могли быть профессором, если не способны даже на то, на чем у нас писаришку не проведешь? Надо же, судно от грузчика не можете отличить!

Публикации фольклора продолжались и дальше. Время от времени на газетных страницах, пусть даже в набранных мелочью примечаниях, замелькала, наконец, фамилия автора – «Костомаров».

Дошло до того, что петербургский цензор, профессор Никитенко, тот самый, о котором Николай Иванович наслышался в Острогожске от Василия Должикова, внес в свой дневник интригующую запись: «В «Саратовских губернских ведомостях» напечатано несколько народных песен не совсем нравственного содержания – разумеется, в виде материала для изучения нашей народности. Негласный комитет, который управляется ныне Корфом, доложил об этом государю».

Николай I, прочитав газету, указанную ему верными слугами, сделал решительные выводы: «До такой степени скверно, что заслуживает строгого взыскания с цензора, да и губернатору выговор за небрежение. Хочу знать, кто цензор, посадить на месяц на гауптвахту».

Царские слова относились, в частности, вот к какому произведению русской народной музыки:

*Девчоночка молода раздогодлива была,
Черноброва, черноглаза парня высушила,
Присушила русы-кудри ко буйной голове,
Заставила шататься по чужой стороне,
Приневолила любить чужемужних жен.
Чужемужние жены – лебедушки белы,
А моя шельма жена – полынь горькая трава...*

Наказание не заставило себя долго ждать. Директор саратовской гимназии Майер, исполнявший должность цензора, избежал лиха только благодаря заступничеству нового Министра народного просвещения. Петербургский цензурный комитет, на основании разгоревшегося «скандала», сделал вывод, что народные песни необходимо цензурировать так же тщательно, как и прочие произведения.

Как-то сразу после этих событий саратовский полицмейстер начал ездить по городу в сопровождении казака. Ему достаточно было увидеть кого-нибудь с гармонью или услышать от кого-нибудь громкую песню – полицмейстер тут же приказывал хлестать людей нагайкой. Губернский город, который так любил пение, в одночасье вымер.

Гнев полицмейстера распространялся на все. Собрав подчиненных и просто зависящих от него людей, в том числе содержателей веселых домов, кабаков, – начальник прочитал им правила поведения и от себя добавил:

– Никто не смеет больше шататься по кабакам! Нельзя отлучаться за пределы города! Корреспонденцию позволительно вести только с моего разрешения!

Завершив наставления, он закричал без всякого напряжения голоса, однако чересчур громко и с полной уверенностью, что все будет именно так, как велено:

– Подписать!

Покорно, даже поспешно, лишь бы скорей отсюда убраться, люди так и сделали. Один Николай Иванович не согласился поставить подпись.

– Что? – не поверил глазам полицмейстер. – Да я... Да ты у меня...

Это означало начало борьбы с высоким начальством.

Непокорному ссыльному суждена была масса всяческих неприятностей, только за него вступился новый губернатор, А. Д. Игнатьев. Более того, вновь назначенное руководство губернии приставило Николая Ивановича к статистике, что давало возможность более тщательно заниматься изучением волжского края. Через некоторое время в саратовской газете стали появляться материалы, написанные Костомаровым на основании статистических данных – о торговле, промышленности, о местных ремеслах.

Собирацию и изучению фольклорных данных способствовало также знакомство и дружба с Данилом Лукичем Мордовцем (Мордовцевым). Этот молодой человек родился и вырос на землях донского казачества. Отец его происходил из старинного запорожского рода, в силу чего Данило Лукич безупречно владел украинским языком. К описываемому периоду он успел уже завершить обучение в Петербургском университете, откуда был выпущен со степенью кандидата. Приехав в Саратов, через какое-то время Мордовец вступил в брак с Анной Никаноровной Пасхаловой и определился на службу в статистический губернский комитет.

Вскоре Мордовец начнет активно сотрудничать с периодическими изданиями, станет известным украинским и русским писателем. Дружба его с Костомаровым в будущем будет продолжаться до смерти последнего. Однако разговор об этом нас ждет впереди.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

В апреле 1851 года в Саратов прибыл невысокий молодой человек со светлыми, чуть рыжеватыми волосами, причесанными слегка набок, с высоким лбом и очками в золотой оправе, из-за стеклышек которых глядели быстрые умные глаза. Молниеносно и как-то очень решительно ориентируясь в хитросплетении улиц и улочек, он восхищенно посматривал на сверкающую ширь разлившейся Волги. Было понятно, что здесь ему все известно, а потому – все родное.

– Куда прикажете, господин? – подлетел извозчик, на ходу подхватывая багаж.

– Вперед, голубчик! – засмеялся приезжий. – Дальше – покажу!

Молодого человека звали Николаем Гавриловичем Чернышевским. Он действительно был уроженцем Саратова. И хотя отец его носил рясу священника, хотя самому ему выпало учиться в местной семинарии, то есть, предстояло принять сан священника, однако духовная карьера юношу не прельстила. Уехав в Петербург, он окончил столичный университет и теперь получил назначение в Саратовскую гимназию учителем русской словесности вместо умершего Волкова.

Правда, после смерти преподавателя Волкова курс отечественной литературы какое-то время вел Синайский, учитель древнегреческого языка. Погруженный в древности, Синайский знал и любил классические литературные образцы, высоко вознося Софокла, Аристотеля, а также Хераскова, Капниста, как настоящих представителей доморощенного классицизма, зато Пушкина и Лермонтова считал недотепами.

Молодой же учитель совершенно иначе смотрел на русскую литературу и на ее значение в общественной жизни. С литературой он связывал самые острые вопросы бурлящей вокруг современности. В гимназии Николай Гаврилович расшевеливал юных слушателей, очаровывал их неординарными мыслями и своим

отношением к ним самим – как к равным себе соотечественникам. Он призывал учеников задумываться над общественными вопросами.

Понемногу начали меняться и гимназические учителя, в том числе и директор Майер, который, как мы уже помним, имея хорошую репутацию у Министра народного просвещения, ставил ни во что подчиненных преподавателей, а гимназистов считал дураками и лентяями. Главным принципом воспитания для Майера было установление жесткого порядка и даже внедрение муштры. При новом, энергичном учителе, вооруженном современными знаниями, директору, да и прочим наставникам, неудобным и страшным казалось прослыть отсталыми типами, несоответствующими деловому и общественному положению.

О Чернышевском вскоре заговорил весь Саратов. Всех, кто помнил его ребенком, затем подростком, как ученика семинарии, – он удивлял своими способностями. Знания Николая Гавриловича пополнялись чтением разного рода книг, доступных ему на различных языках и наречиях.

Многие саратовские обыватели желали видеть Чернышевского своим гостем. Да и престарелые родители его страстно желали, чтобы сын их как можно скорее стал в городе своим человеком. Николай Гаврилович давал частные уроки во многих семьях, посещал балы и собрания, но мало кому выпадала возможность побеседовать с ним на надлежащем уровне.

В Петербурге Чернышевский считался любимым учеником профессора Срезневского, который, начиная с 1847 года, занимал там университетскую кафедру, осиротевшую после смерти Прейса. (Ректор Плетнев, напомним, собирался передать ее Кулишу, но из этих планов, понятно, ничего не вышло). Срезневский и посоветовал Николаю Гавриловичу, по приезде на родину, непременно познакомиться с Костомаровым.

Через некоторое время Чернышевский действительно стал своим человеком в доме Прудентова, вернее – в том флигеле, где обитал его квартирант. Николай Гаврилович обычно прихо-

дил пешком – такую привычку вывез из Петербурга, где принципиально не брал извозчиков. В Саратове он прибегал к их услугам только в том случае, когда не выпадало возможности одолеть повсеместное болото, либо когда припекало нещадное солнце. Стоило гостю дернуть возле калитки веревочку – как за дощатым забором раздавалось треньканье колокольчика, а на скрипучих ступеньках гремели каблуки Хомы, а то и самого Николая Ивановича:

– Заходите! Просим!

Татьяна Петровна как-то сразу полюбила гостя. Зачастую она просто не знала, чем его угощать, радовалась, лишь заслышав звонкий голос.

– Ой, пане Миколо!

Для Чернышевского Татьяна Петровна служила символом Украины, которой он сам никогда не видел, но всегда мечтал на ней побывать: полюбоваться белыми хатками между зелеными садами, певучими девушками в ярких веночках... Представление о дальней земле навевали ему украинские колонии на волжских берегах.

Костомаров стал уже также достаточно приметной фигурой не только среди прочих ссыльных. То, что вначале обращало на себя внимание саратовских обывателей – то есть чужаковатость привезенного жандармами человека, вроде бы прежнего профессора, его неприспособленность к жизни, неспособность к канцелярской работе, – оказалось не главным. Удивляло иное. Приезжий год просидел в Петропавловской крепости! Он и сейчас продолжает нести наказание, однако все время читает и пишет, хотя и без этого ему ведомо много разнообразной всячины... Он постоянно записывает народные песни, запускает воздушные шары, а то и...

Все это, в конце концов, заставило саратовских обывателей заговорить о прудентовском квартиранте совершенно иначе. Способствовал этому и сам Николай Дмитриевич Прудентов, который, в свою очередь, также пользовался имиджем бывшего

человека. Однако знания своего квартиранта он ставил на недосягаемую высоту.

– Два самых выдающихся ума в нашем городе! – утверждал Прудентов в беседах со знакомыми и даже с мало знакомыми людьми, имея в виду Костомарова и Чернышевского. – Да разве только в Саратове? Как сойдутся вместе, так я порой слушаю, слушаю... Господи, откуда только можно набраться стольких знаний?

До самой кончины Прудентов вспоминал о Костомарове с тем же восторгом. Впоследствии он ходил по городу в шубе, подаренной историком, называл ее «костомаркой» и вспоминал, рассказывал...

Первые встречи Чернышевского с Костомаровым вызвали взаимную заинтересованность. В том же году в письме к Срезневскому Николай Гаврилович отметил, что в самом деле нашел в Костомарове очень близкого себе человека. Тогда же он сообщил своему петербургскому наставнику, что часто бывает в гостях у вновь обретенного знакомого.

Да, в разговорах они перебрали исключительно все и вскоре имели друг о друге полное представление. Характеризуя этот период в собственной биографии, Чернышевский впоследствии написал: «В России было между учеными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом основано мое расположение к нему».

Указанные элементы, прежде всего, наличествовали в том, что основное внимание в своих исторических изысканиях Костомаров обращал на изучение народных движений, интересов и устремлений народных масс. Это умиляло и даже поражало Чернышевского, поскольку все историки его времени писали преимущественно о царях и прочих главенствующих личностях, как будто одни они и вершили весь исторический процесс.

Однако двое выдающихся людей сразу же обнаружили и разительные разногласия во взглядах. «Мы виделись, – отмечал

Чернышевский, — очень часто: временами по целым месяцам каждый день, и почти каждый день просиживали вместе долго... Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уже довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уже твердым». Они спорили без конца и почти никогда не приходили к общему мнению.

Какие же разногласия открывались в мировоззрении двух выдающихся людей? Ответ на этот вопрос дал сам Костомаров. Понимая, что мир необходимо как-то менять, они по-разному смотрели на пути перемен и на результаты задуманных действий. Чернышевский настаивал, даже был убежден, что современный строй представляет собой непомерное зло. Такой порядок вещей должен быть уничтожен, нужен радикальный переворот. Силу, способную совершить перемены, Николай Гаврилович усматривал в крестьянстве, в деревенской общине, сохранявшей в себе черты социальной справедливости.

Костомарову, который не разделял намерений собеседника, приходили на ум давнишние киевские вечера. В голове возникали смелые выкрики в кабинете Гулака. Разгневанный Тарас Шевченко призывал громить угнетателей. В теле поэта кипела кровь его закрепощенных предков. Однако Костомарову, как и прежде, перемены виделись лишь в постепенных, законных преобразованиях. Первое место в этом процессе должно было занимать просвещение всех слоев народа. Особое же внимание, как и прежде, уделял он объединению славянских племен и народностей.

Разговоры в кабинете Костомарова часто переходили на кирилло-мефодиевцев. Чернышевский внимательно расспрашивал о мельчайших деталях, связанных с их деятельностью, о намерениях отдельных членов братства. Идею федеративного объединения славян Николай Гаврилович считал несвоевременной, даже вредной, однако его чрезвычайно интересовала вольнолюбивая поэзия Шевченко. Слушая страстные стихи из уст Николая Ивановича, Чернышевский понимал их без перевода. Оче-

видно, он многое успел перенять от Срезневского, не говоря уж о том, что многие строки Шевченко мог видеть также в печати. В мыслях Тараса Григорьевича бурлило что-то стихийное, нео-долимое, которое очень захватывало Чернышевского. Особенно нравились ему строки:

*Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте...*

Слова же самого Николая Гавриловича наполняли души слушателей не менее решительными намерениями. Он внимательно изучал труды европейских мыслителей. Надежды на перемены, о которых путано, хоть и страстно, твердил в Киеве помещик Савич, в устах Чернышевского, подкрепленные логикой развития мира, звучали куда более весомо. Постоянно слышались имена Фурье, Фейербаха, Гегеля, Герцена, Белинского. Чернышевский казался просто пропитанным идеями материализма и коммунизма, идеями полного социального равенства всех людей. Еще в Петербурге, через Александра Владимировича Ханькова, он был близок к кружку Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, где об этих идеях говорилось постоянно.

Высоко ставя авторитет Костомарова как историка, Чернышевский старался помогать ему и в его научных студиях. Он обращался к Срезневскому и к прочим своим петербургским знакомым с просьбами присылать в Саратов нужные книги.

Разговоры о современности продолжались также в кружке Чернышевского, который собирался в квартире гимназического учителя географии Белова и который Костомаров посещал регулярно. В свое время Белов окончил Казанский университет. Кроме самого хозяина в кружок входили также сосланный в Саратов студент Виленского университета И. Мелянтович, давний знакомый Костомарова, А. Пасхалова, наведывался также гимназиче-

ский учитель Варенцов. «Всё интересное в области литературы, искусства, философии, педагогики и прочих наук, а также жгучие современные вопросы всесторонне здесь освещались и дебатировались, в числе наиболее интересных и страстных ораторов были Костомаров и Чернышевский», – к такому выводу пришли современные нам исследователи тех далеких времен. Мы располагаем также известиями, что Чернышевский приглашал домой к себе гимназистов-старшеклассников и «совместно с Костомаровым развивал их путем чтения и бесед».

Следует, однако, заметить, что Чернышевский, высоко ценя Костомарова, все же понимал: будущее способно более резко обнаружить их расхождение во взглядах. Уверенный в близости революции, Николай Гаврилович стремился заглянуть в грядущие годы. В дневниковых записях он поместил разговор со своей невестой, дочерью саратовского врача Васильева, Ольгой Соколатовой.

«— ...Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар... Я приму участие.

— Вместе с Костомаровым?

— Едва ли, – он чересчур благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Все эти разговоры, встречи, общение с Чернышевским производили на Костомарова неизгладимое впечатление, призывали к действию. За перемены нужно было бороться. Не случайно украинский ученый Е. С. Шаблюковский, тщательно взвесив результаты общения Костомарова с Чернышевским, резюмировал, что в Саратове «окончательно сформировался тот Костомаров, который так активно выступил в конце 50-х – начале 60-х годов».

Однако Николай Гаврилович пробыл в Саратове сравнительно недолго. Весной 1853 года он женился на Ольге Сократовне и перебрался на берега Невы. Общение его с Костомаровым прервалось на весьма продолжительное время, в течение которого Татьяна Петровна приобрела в Саратове собственный двухэтажный домик, обзавелась кое-каким хозяйством.

ИСТОРИЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Тем временем полным ходом пошла работа над произведением о Богдане Хмельницком.

Николай Иванович написал письмо графу Константину Свидзинскому, с которым был знаком еще в Киеве, – и граф стал присылать ему одну за другой латинские и польские книги, старинные рукописи и другие подобные документы. Давала знать о себе также помощь Чернышевского. Все это, так или иначе, влиялось в разномастный фактический материал, уже собранный ученым, тщательно обрабатывалось.

Книга о Богдане Хмельницком, в общих чертах обрисованная еще в Киеве, дополнялась и разрасталась. Круги от описываемых в ней событий достигали не только Варшавы, Москвы, Чигирина, но растекались все дальше и дальше...

Кое-что из трудов по истории Украины уже просилось в печать – а такие возможности появились лишь после смерти Николая I. Так, в 1855 году в журнале «Москвитянин» был напечатан труд Николая Ивановича «Иван Свирговский, украинский гетман XVI столетия»; через год, в знаменитом пушкинском «Современнике», уже перешедшем в руки Н. Некрасова и И. Панаева – работа «Борьба украинских казаков с Польшей в первой половине XVII века до Богдана Хмельницкого».

Это были, правда, пока лишь подступы к генеральной теме, но читателей сразу же привлекала какая-то полновесная насыщенность работ фактическими материалами, чудесный изобра-

зительный язык, благодаря которому исторические лица проступали зримо, выпукло, будто в классических литературных произведениях. Внимательные читатели загорелись прямо-таки нетерпением как можно скорее встретиться с новыми трудами историка, с книгой, о которой еще в 1845 году извещал петербургский журнал «Маяк».

Николай I умер в начале 1855 года, крайне подавленный неудачами проводимой им политики и даже просто сногшибательным для него ходом Крымской войны, в которой русская армия действовала против английских, французских и турецких войск. Отсталая военная техника зачастую сводила на нет беззаветную храбрость и самоотверженность русских воинов. В Петербурге распространялись слухи, будто царь отравился, и слухи эти казались отнюдь не беспочвенными. Характер императора, уверенного в значимости своей исключительной личности, мог толкнуть его даже на самоубийство. Во всяком случае, в печальную для его самосознания зиму, он не щадил своей жизни. На подобные выводы наталкивают свидетельства многих современников. Перед смертью царь вроде бы улегся на походную кровать в своем кабинете, накрылся шинелью и велел позвать внука. «Учись, – сказал ему обреченно и уверенно, поскольку уже принял отраву, – как следует умирать!» Рассказывали, правда, что в последнее мгновение он все ж испугался смерти, стал умолять врача нейтрализовать действие яда, но тот лишь беспомощно развел руками: поздно, ваше величество! Через некоторое время на царском ложе остывал бездыханный труп.

После кончины однозначно жесткого самодержца ожили надежды на близкие перемены, на улучшение участи тех сограждан, которые оказывали активное сопротивление, надежды на освобождение от крепостного ига. «Точно небо открылось над нами, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать!» – вспоминал о тех временах литературный критик и общественный деятель

Н. В. Шелгунов. «Мы пьяны, мы сошли с ума, мы молоды стали!» – вторил ему восхищенный голос лондонского изгнанника А. И. Герцена, как только известие о кончине императора достигло берегов Альбиона.

От Александра II, воспитанника поэта В. А. Жуковского, ждали радикальных перемен. Именно с такими надеждами отправился в столицу и Николай Иванович Костомаров, которому было предоставлено что-то вроде продолжительного отпуска.

Собственно, это был уже второй его отпуск. Первый, в 1852 году, он провел в Крыму, на лечении. Состояние здоровья его тогда было настолько плохим, что он считал себя обреченным на смерть. Эта-то убежденность во многом способствовала окончательному разрыву с Алиной Крагельской, которая собиралась приехать в Саратов и, как могла, отбивалась от уговоров выйти замуж за кого-то другого. Николай Иванович не желал обречь девушку на страдания...

Тогда же, в Крыму, он снова осматривал и изучал исторические памятники, все-таки надеясь на возвращение к жизни. Впрочем, он постоянно лечился также в Саратове, у разного рода лекарей. В большинстве случаев ему попадались сомнительные, а то и просто скверные специалисты. Здоровье же, надломленное в Петропавловской крепости, все ухудшалось...

В путешествие 1855 года Костомаров выбрал уже поздней осенью. Выехал на почтовых. Путь пролегал через Пензу, Арзамас, Муром, Владимир, Москву. В старинных русских городах можно было задерживаться на какой угодно срок. От Москвы до Петербурга ехал уже по железной дороге, впервые в жизни: удивлению и восторгу не было границ. Паровая машина обещала надежно связать ее бесконечные пространства Российской империи.

В Петербурге Костомаров остановился в меблированных комнатах на Малой Морской. Номер оказался просторным, с высокой перегородкой для спальни, с хорошей прислугой.

Теперь, наконец-то, ему предоставлялась возможность основательно осмотреть этот город. Пробыв в столице больше года, он собственными глазами видел в ней только Царскосельский тракт, незаметно переходящий в городскую магистраль, триумфальные ворота, заставы, живописные набережные Фонтанки, Невы, кусочек Невского проспекта. Дальше все перечеркивалось Алексеевским равелином.

А тем временем он уже хорошо знал столицу по произведениям Пушкина, Шевченко, Мицкевича. Самые красивые сооружения изучал на гравюрах в журналах, которые удавалось листать еще в Харькове, Киеве, в «своем» Саратове.

С каким-то опасением прошелся Николай Иванович вдоль знаменитого Невского проспекта. Торцовая мостовая, устроенная из бесчисленного количества вбитых в грунт деревяшек, издавала приятные звуки под тысячами копыт, – как при игре на клавишине. Праздная публика на главной магистрали столицы поражала пестротой и богатством одежд, разнообразием лиц, собранных, кажется, со всего известного мира.

Перед глазами вонзалась в небо золотая стрела Адмиралтейства. Немного прошагав, Костомаров увидел ансамбль Дворцовой площади. В центре ее высилась Александрийская колонна с фигурой ангела на фоне беленькой тучки. И все небо тут же закрыли розово-белые стены: Зимний дворец!

Натешив глаза растреллиевским барокко, Николай Иванович обогнул защищенный решеткой сад перед окнами Зимнего и вышел на берег Невы. По темно-синей спине могучей реки пересыпались тысячи искр. В порывах легкого ветра рождались широченные волны. Легко, показалось, продвигались куда-то баржи, суда, челны. Всё торопилось к месту назначения, пока не наступила зима.

На противоположном берегу реки высились такие же пышные сооружения. Особенно радовал зрение белоколонный эллинский храм – в этом стиле выстроили когда-то Морскую биржу. Красными морковками торчали перед ней Ростральные колонны.

Николай Иванович отвел свой взгляд в сторону – и, о Господи! Он увидел то, что так опасался видеть: Петропавловская крепость... Огражденная гранитом, врезалась в небо колоколья собора...

Целый день любовался Костомаров Северной Пальмирой, по-прежнему опасаясь наткнуться взглядом на место своего заточения.

Начиная с декабря, ученый ежедневно работал в Публичной библиотеке, в фонде *Rossica*, где собраны материалы, относящиеся к отечественной истории. Им ставились последние штрихи к истории Богдана Хмельницкого.

В работе промелькнула почти вся зима. Перебелив рукопись, Николай Иванович отнес ее к цензору А. Фрейгангу, чтобы после его разрешения отдать в популярный столичный журнал А. Краевского – «Отечественные записки».

Труд появился под заглавием «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» в первых восьми номерах журнала за 1857 год. Через два года он вышел отдельной книгой, в дополненном и переработанном виде, а затем, постоянно обновляемый, переиздавался неоднократно при жизни автора.

Приступая к изучению бескомпромиссно-жестокой войны, прошедшей под руководством Хмельницкого, молодой Костомаров, пожалуй, не очень-то отличался от современных ему историков. В тех давних событиях он видел лишь борьбу по религиозным мотивам, не обращая достаточного внимания на классовые, национальные и прочие противоречия. Мысль о религиозной окраске освободительной войны, почерпнутую из уже упомянутых нами летописных произведений, подтверждали его собственные наблюдения над жизнью закрепощенного украинского люда на Правобережной Украине, в частности – на Волыни, где большинство помещиков, как и прежде, держалось католической веры.

Предшествующие Костомарову историки в большинстве своем старались показать войну 1648 – 1654 годов как борьбу украинского народа против народа польского. Польские же исследователи уточняли, что Хмельницкий начал «смуту» по причине личной мести за причиняемые ему обиды со стороны польских шляхтичей и что ради этого мщения ему удалось максимально использовать недовольство и гнев украинского народа.

Однако Николай Иванович не случайно занял в исторической науке особое место. Эволюция его как ученого осуществлялась в прогрессивном направлении. Чтобы понять характер войны – необходимо было установить ее причины. В книге детально рассматривалось состояние Украины накануне восстания, причем выводы базировались на огромном количестве письменных источников. Историк скрупулезно проверял факты, сопоставлял их, добираясь до истины.

На основании многочисленных материалов, в значительной степени фольклорных, ученый убедился, что украинские земли были насильно присоединены к Речи Посполитой, а борьба за освобождение их никогда не стихала. Время правления польского короля Владислава IV, вступившего на трон в 1632 году, у польских дворянских историков получило название «золотой век». Однако анализ этой эпохи показывал, что золотым он являлся только для шляхетской свободы, после излишеств которой приходит неминуемая гибель неудачно спланированного государственного устройства. В Речи Посполитой каждый шляхтич стремился сам себе быть королем. Королевские подданные строили замки, содержали собственные воинские формирования, объявляли войну друг другу и даже соседствующим государствам, заключали сепаратные мирные соглашения. Конечно, в полном объеме этим правом пользовались скорее всего лишь самые крупные властители. Более мелкие паны склонялись под их мощные длани и таким лишь образом могли повелевать своими подданными, выколачивая средства на балы, украшения, игру в карты, военные набеги. Особенно безжалостная эксплу-

атация крестьянства осуществлялась в коронных поместьях, которые предоставлялись за службу конкретной личности, а потом возвращались назад в государственную (королевскую) казну. Украинские народные песни той поры, живые свидетели эпохи, переполнены гневом и отчаянием.

На почве всего этого Костомаров сделал крупный шаг вперед в исторической науке: он показал неизбежность войны. В первую очередь народные массы поднялись на борьбу за социальное равенство, хотя, одновременно, то была борьба всех классов и большинства групп населения против национального и религиозного гнета. Решающим все же стало желание крестьян пользоваться землей. Значит, вытекает из монографии, совершенно не было основания считать описываемую войну борьбой народа против народа. И точно: через много лет ученый дополнит выраженные здесь мысли вот каким изречением: «Если малорусский мужик не любит поляка, то поляка-пана, или эконома-шляхтича, не любит так, как подобает рабу не любить своего деспота, работнику – эксплуататора, который закабаляет его труд и душу». Такие же взаимоотношения, добавляет автор, наличествуют у малорусского мужика и со всеми прочими помещиками, в частности – даже малорусского происхождения.

Мещанство на Украине в описываемые годы XVII столетия тоже притеснялось польской шляхтой, кстати, как и мелкое дворянство.

Однако и крупные украинские магнаты не могли служить опорой для Варшавы. Они, как правило, обнаруживали лишь готовность к временным компромиссам, когда речь заходила о сохранении собственных поместий.

К указанному времени на Украине появилась еще одна общественная группировка – казачество. Едва приступив к изучению истории казачества, Костомаров сразу же начал определять его как прогрессивное явление. Рядовые казаки, подвергаясь тем же притеснениям, что и простой народ, растворились в народных массах и защищали то, чего требовало большинство

народа. Польское же правительство всячески ущемляло права казачества, однако было сдерживаемо угрозами со стороны Оттоманской империи, почему старалось превратить вольнолюбивое воинство в защитников от турок. Одновременно правительству хотелось видеть в казаках заслоны, которые не пропустят в низовья Днепра беглецов из украинских поместий, принадлежавших шляхте.

Колониальная политика задевала также казацкую старшину. Не случайно Богдан Хмельницкий сам принимал участие в двух восстаниях против шляхты: в 1637 и 1638 годах.

Согласно убеждениям Костомарова, не было никаких оснований подозревать виновником войны одного Хмельницкого. Хмельницкий лишь усилил присущие недовольству свойства, в частности – религиозный оттенок, без которого в те годы не мыслилось любое более-менее заметное общественное движение.

Знамя восстания было поднято в январе 1648 года. Центром его стало чуткое Запорожье, куда Богдан бежал в декабре предыдущего, 1647 года. Из Запорожья он стал рассылать зажигательные универсалы, выигрывая время и распространяя слухи, будто ограничит оппозицию одними посольствами к королю. Тем самым он показал себя выдержанным и предусмотрительным политиком.

Вообще же историк рассматривал восстание как общенародное дело. Хмельницкий, казалось Николаю Ивановичу, хотел не только ослабить шляхетскую олигархию, но и присоединить Украину к России. Такое намерение, очевидно, гетман вынашивал сразу, как только решился на борьбу, которая, до него, обычно заканчивалась поражением восставших. О своих намерениях он написал царю Алексею Михайловичу еще в июне 1648 года. В научный оборот письмо гетмана впервые было введено Костомаровым.

Дипломатической победой назвал ученый также обращение Хмельницкого за поддержкой к крымским татарам, хотя они, несмотря на решительные контрмеры, наносили Украине значительный вред.

Весть о восстании собирала народных мстителей. Против них двинулась польская армия во главе с коронным гетманом Николаем Потоцким. Талантливо проведенные боевые операции под Желтыми Водами и Корсунем, чрезвычайно удачные для восставших, еще сильнее разожгли огонь восстания. Этому способствовали также новые универсалы Хмельницкого.

Костомаров правильно определил главные силы, действующие в 1648 году: рядовое казачество, крестьянство, городская беднота. Большинство отрядов составляли беглые люди. Они избирали себе предводителей и громили господ как католической, так и православной веры. Восстание ширилось также в пределах соседствующей Белоруссии – там его раздували атаманы Небаба, Кривошапка, Гаркуша.

Историк совершенно верно указывал, что главные силы восстания претерпевали существенные изменения. Ученый разделил войну на два периода. Первый – эпоха до осени 1649 года, время созревания народного гнева. Зато на другом ее этапе, уже после подписания так называемого Зборовского мира и до конца борьбы – народ не знал больше прежнего единства. По мнению ученого, Зборовский мир, заключенный в 1649 году, в определенной степени оформил казачество как привилегированную прослойку. Хотя Костомаров различал рядовых казаков и старшину, чиновников, которые имели ранговые поместья, однако он слабо акцентировал внимание на классовых противоречиях между ними. Потому и сделал довольно смелое предположение: с осени 1649 года возник антагонизм между казаками и крестьянами. В действительности, повторимся, крестьянские и казацкие восстания вспыхивали тогда как против польских, так и против украинских светских и духовных феодалов, ставленников гетмана. Выступления крестьянства наблюдались даже против самого Хмельницкого, превратившегося, в конце концов, в крупного собственника.

Хмельницкий, по Костомарову, был поначалу не против дипломатического примирения с польским королем. Последнее

положение советская историческая наука считала явно ошибочным, полагая, что Николай Иванович выдвинул его просто по тактическим соображениям: царская цензура, дескать, как бы там ни было, требовала показать Хмельницкого не как подстрекателя к мятежу против законного монарха, но как лояльного ему слугу.

Проследим дальнейший ход восстания.

В начале сентября 1648 года, после трехдневного боя на реке Пиляве, коронное польское войско было разбито наголову. Для победителей открывался путь на Варшаву и Краков. Полки Хмельницкого, тепло встречаемые подневольным недавно людом, осадили Львов. Взяв с города контрибуцию, они двинулись дальше, достигли укрепленного Замостья, сжимая кольцами армию шляхтичей, которые как раз избирали нового короля на место скончавшегося Владислава IV. Костомаров склонялся к мысли, что Хмельницкий поддерживал кандидатуру Яна-Казимира, брата умершего. Историк к тому же неверно оценивал тогдашнее международное положение польского государства, полагая, что Украина смогла бы победить Речь Посполитую и без посторонней помощи. Но Речь Посполитая оставалась еще довольно состоятельным государством, тесно связанным с Ватиканом. Она пользовалась поддержкой европейских держав.

Перемирие, наступившее после осады Замостья, Хмельницкий использовал для организации правильного устройства своего вновь возникшего государства. Он разделил Украину на полки и сотни, соединив военные и территориально-административные единицы. Старшины избирались вольно. Только Костомаров уже не идеализирует казаков, как поступал когда-то в молодости. Он убедился, что в рядах казачества успели завестись богатые и влиятельные старшины, в силу чего Хмельницкий мог бы централизованно управлять страной. Однако ему хотелось знать волю казацких масс, чтобы соотносить с народом все свои действия и просто иметь их в виду. Описывая устройство казацко-крестьянского государства, Костомаров уже тогда не-

вольно вступал в полемику со своим соратником по Кирилло-мелодиевскому братству Кулишом, который усматривал в украинцах вообще неспособность выработать основы собственного государственного объединения.

Перемирие длилось недолго. Польская шляхта начала совершать новые агрессивные акции, и Хмельницкий призвал народ оборонять с трудом обретенную свободу. Наравне с крестьянами в его войско вступали ремесленники, торговцы. Хутора и села пустели. Образовывалась могучая народная сила. В помощь ей прибывали также донские казаки.

Враждующие стороны встретились под западно-украинским городом Зборовом. Тактику Хмельницкого историк признавал абсолютно верной: наступление, быстрота, маневр, неожиданность. В результате решительных действий положение польской армии стало критическим. Спасло ее лишь предательство крымского хана.

Подписанный уже упомянутый Зборовский трактат своими статьями частично закрепил привилегии казачества, особенно старшин, а также духовенства, но больно ударил по бедноте. С той поры родилось в украинском народе стремление уходить в пределы Московского государства. Тогда и наметился раскол в однородном, казалось бы, народном движении. Хмельницкий, считает современная нам наука, стоял на защите интересов казацкой старшины и жестко преследовал непокорных. Итак, можно смело сказать, Костомаров первым приблизился к правильному пониманию политики гетмана и старшин, которая не имела и не могла иметь целью ликвидацию феодального строя.

И все же, по мнению Костомарова, гетман продолжал дальновидную внешнюю политику. Отведя от России удар, который готовили против нее Польша и Крым (1650), Хмельницкий сумел обеспечить себе поддержку со стороны единоверного государства.

Существенную помощь мятежному предводителю подавали также его соратники – Кривонос, Богун, Нечай. Историк вывел в

книге целую галерею современников гетмана, в том числе и его врагов, например – митрополита Сильвестра Косова, который выступал тайным недоброжелателем освободительной войны.

1651 год начался новой агрессией польской шляхты. Варшаве удалось заручиться поддержкой Ватикана. Вооруженные столкновения и военные действия в тот год завершились так называемой Берестечской битвой, в которой казацко-крестьянская армия потерпела чувствительное поражение. Костомаров справедливо рисует эти события как результат нового предательства ненадежного союзника – крымского хана.

Прежние властители захваченных земель, подписав выгодный для себя Белоцерковский трактат, считали, что могут уже беспрепятственно возвращаться в принадлежавшие им прежде поместья. Однако хлопы встречали захватчиков вилами, топорами, косами. И все ж беспощадная эксплуатация возобновилась. Выход из бедственного положения крестьяне видели теперь уже исключительно в бегстве на Левобережье, в так называемые слободские земли. Великорусское население принимало их повсеместно сочувственно, подавало помощь: предоставляло готовые строения, обеспечивало продуктами питания и повседневным материалом.

Внешняя политика Богдана Хмельницкого и впредь велась довольно умело, о чем свидетельствовали отношения Украины с Молдавией, которую гетман всячески стремился превратить в своего союзника. Дальнейшие события привели к очередным столкновениям казацко-крестьянской и шляхетской армий. Для Варшавы открылись возможности создания коалиции с участием Трансильвании, Молдавии и Валахии. Для Хмельницкого же оставался единственный выход – присоединение к России.

В своей монографии Николай Иванович подвел окончательный итог: не Хмельницкий принуждал украинский народ к борьбе, а народ украинский вывел его из длительного бездействия. Вывод этот явился новым положением в отечественной историографии.

Переяславская рада, состоявшаяся 8 января 1654 года и оформившая воссоединение украинского народа с великорусским, трактуется Костомаровым как абсолютно закономерный акт в исторических судьбах двух братских народов. Воссоединение их носило притом добровольный характер. «Хмельницкий, – написал историк, – угадал внутреннюю взаимосвязь одноплеменных народов, понял потребность своего края и определил его историю соответственно с этими потребностями. Вот великая заслуга этого человека. Дело шло не о десятках лет, но о целых столетиях».

Освободительная война, по мысли Костомарова, переросла рамки Украины и Польши. Одним из главных ее участников стало также русское государство. Хотя ученый и обнаруживал непоследовательность в оценке этнических свойств обоих народов, находил в них, как увидим в дальнейшем, существенные различия, однако уже в работе 1846 года «Мысли об истории Малороссии» он написал, что истории русского и украинского народов, «будучи отличными и самобытными, представляют одну общую идею: обоюдное стремление обеих расторгнутых частей слиться в одно целое». В другом месте он высказался таким образом, что «связь Украины с Москвою была не внешняя, не государственная, а внутренняя, народная... Дух переяславского договора говорит красноречиво, что народ южнорусский сознавал свою деятельность как народ и добровольно пожелал соединиться с великорусским народом; это самое повторил бы народ и в продолжение двухсот лет после переяславского договора, и он повторял это коль скоро приходился случай; это самое южнорусский народ скажет и в настоящее время».

Высокую оценку Хмельницкому ученый выражал на протяжении всей своей жизни, считая гетмана человеком «политическим, мужем идеи».

Труд Костомарова о Богдане Хмельницком заслужил блестящих оценок у современников.

Первым делом приведем слова Н. Г. Чернышевского, который, безусловно, читал его в рукописи, в 1851 году. Когда же монография вышла из печати, Чернышевский уверенно провозгласил: «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» – обширное историческое сочинение, которое должно упрочить за ученым автором одно из первых мест между нашими историками. Трудолюбивых исследователей у нас довольно много, но мало людей, которые по всей справедливости заслуживали бы имя замечательных ученых, потому что для этого мало трудолюбия и учености, – нужна, кроме того, особенная сила ума, нужна широта и пронизательность взгляда, нужно соединение слишком многих и слишком редких качеств. Своим «Богданом Хмельницким» г. Костомаров доказал, что принадлежит к подобным людям».

К заслугам ученого Чернышевский относит также то, что история времен Богдана Хмельницкого очищена им от ошибочных взглядов и неверных преданий, что он внимательно исследовал источники, многие из которых открыл впервые, проверил все факты, изучил взаимоотношения исторических фигур, сословий и племен и осуществил свою историю в блестящем, объективном изложении. Оно достойно будет оценено специалистами и просто читающей публикой.

Очень высокую оценку произведению Костомарова дал и Т. Г. Шевченко. «После обеда, как и до обеда, лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова. Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами». Такую запись сделал Тарас Григорьевич в своем «Журнале», возвращаясь из ссылки и наслаждаясь на волжском пароходе творением давнишнего друга.

Украинский историк М. А. Максимович, человек энциклопедических знаний, знакомый Костомарова еще в бытность по-

следнего в Киеве, к моменту появления «Богдана Хмельницкого» в печати давно уже проживал на собственном хуторе Михайлова гора, расположенном близ Днепра. Он внимательно штудировал каждый свежий труд по истории Малороссии. На книгу Костомарова Михаил Александрович отозвался продолжением серии статей под общим названием «Письма о Богдане Хмельницком». Труд Костомарова Михаил Александрович сравнивал с приднепровским лугом, где рядами лежат покосы, которым предшествовала огромнейшая работа. И хотя придирчивый ученый сделал много существенных замечаний и неспроста заговорил о предстоящей дальнейшей работе над темой как об очень важной эпохе в истории Украины, однако и он недвусмысленно признал, что монография Костомарова стала одним из капитальнейших обретений всего ученого мира.

Труд Костомарова о Богдане Хмельницком не устарел до настоящего времени. Не говоря уж об удивительной насыщенности его фактическим материалом, скрупулезно воссозданным историком, – он достаточно верно трактует магистральные события в истории Украины. Как утверждает современный исследователь творчества историка Ю. А. Пинчук, автор сравнительно недавно вышедшего энциклопедического труда, всецело посвященного великому русско-украинскому историку, «Н. И. Костомаров приблизился к правдивому и правильному пониманию того, что воссоединение Украины с Россией было обусловлено многовековым историческим развитием двух славянских «единоверных» народов и отвечало их коренным интересам».

ПО ЕВРОПЕ

Следующее свое, уже третье по счету, посещение Петербурга Николай Иванович осуществил в мае 1857 года. Он приехал в столицу вместе с популярным саратовским врачом С. Ф. Стефани, причем – в каком-то странном смешении чувств. Во-первых,

необходимо было завершить печатание «Богдана Хмельницкого», во-вторых – у него развивалось заболевание глаз. Иногда приходилось оставлять перо или книгу и просто кричать от раздиравшей голову боли.

И все же приволжский город, в котором ему довелось прожить почти девять лет, оставался им в бодром, приподнятом настроении. Костомаров полагал, что для него, сорокалетнего ученого, начинается новая жизнь. В канцелярии губернатора Игнатьева, в торжественной обстановке, Николаю Ивановичу дали прочитать бумагу, скрепленную подписью Министра внутренних дел, в которой говорилось об освобождении его, Костомарова, из-под пристального надзора полиции, однако напоминалось, что «прежнее распоряжение в Бозе почившего государя о воспрещении» служить «по ученой части должно оставаться во всей силе». Десятилетнее наказание, получалось, не закончилось, однако вчерашний поднадзорный мог теперь распоряжаться самим собою.

Московский врач Ф. И. Иноземцев, осмотрев больные глаза, решил, что у Костомарова начинается катаракта. Его коллега И. И. Кабат в Петербурге подтвердил диагноз. Оба медицинские светила (Кабат считался лейб-медиком государя) советовали немедленно отправляться за границу.

– Полечитесь сначала на киссингенских водах, Николай Иванович, – безапелляционно заявил Кабат, – потом – купание в море. Лучше всего – в Дьеппе, на берегу Ла-Манша...

Костомаров решил воспользоваться случаем, чтобы основательно ознакомиться с Западной Европой. На пароходе, вместе с бородачом Стефани, он поплыл к берегам Швеции. В голове почему-то вертелось старинное народное поверье: если в сорок лет человек не достиг определенного уровня личного достатка – значит, его уже никогда не будет. Кое-какие средства у Николая Ивановича завелись в результате умелого хозяйничанья Татьяны Петровны, кое-что выплатил ему Краевский в счет гонорара за «Богдана Хмельницкого», который читался всеми с неослабевающим интересом...

Над синими балтийскими водами вскоре показались красноватые стены Ревеля (Таллина), через несколько часов – седые очертания Гельсинфорса (Хельсинки), потом – Або (современного нам финского города Турку). Повсеместно в море лежали острова, островки, отдельные скалы. Незабываемое впечатление в Або оставил старинный замшелый замок. Стоял уже конец мая, но в Скандинавии было еще довольно прохладно. Холод сдерживал развитие зелени. А так всё вокруг выглядело очень красивым, солнечным, хотя над морской поверхностью повсеместно клубился туман.

Шведская столица, Стокгольм, пряталась за выступами могучих камней. С натужным ревом и бережным рассечением распластанного над водой тумана, пароход миновал природные ворота между мрачноватыми скалами и долго двигался вдоль гранитного берега, обходя похожие камни уже на другой стороне, пока не остановился напротив небольшого строения.

– Королевский дворец! – вырвалось у Стефани, стоявшего рядом на палубе и щипавшего густую бороду. – Николай Иванович! Северные народы больше всего на свете любят яркие краски!

В глазах путешественников, действительно, рябило от красных пятен. Излюбленным цветом, получалось, шведы стремятся пересилить однообразную гамму седых камней.

– Нам следует искать место в отеле! – подстегивал быстрый ум Стефани.

Шведские отели прижимались к пристани. Их было немного, и все они оказались настолько переполненными, так что недавним спутникам пришлось очутиться в разных строениях. Николай Иванович попал в меблированные комнаты, опекаемые пожилой шведской женщиной.

При содействии русского посланника князя Дашкова ему удалось добиться разрешения на посещение государственного архива, где можно было ознакомиться с русскими документами, захваченными в Великом Новгороде, когда этот город нахо-

дился в руках интервентов. Еще более интересными оказались латинские, французские и германские документы времен долголетней Северной войны. К сожалению, Николай Иванович не владел шведским языком, а оставаться в Стокгольме ради его изучения – не мог: не позволяла болезнь. С местным профессором Нордстрёмом пришлось общаться на французском языке. Вдвоем они побывали в Упсале, старинном университетском городе вблизи столицы, осмотрели тамошний музей.

Можно было также основательно изучить Стокгольм. Город лежал на гранитных островах и островках, вокруг природного возвышения, по-шведски «гольм»: в старину туда прибило однажды большое бревно («сток»). Все это, передавали, случилось уже после того, как воинственные эсты, вторгшись на шведскую землю, уничтожили древнюю столицу Ситгуну. Так говорилось в легенде, поведенной все тем же профессором Нордстрёмом.

Стокгольм сохранял деление на три части. В северной, так называемом Норд-Мальме, как раз и стоит упомянутый королевский дворец, возносятся стены старинного театра. Южная часть, Зюд-Мальм, окружает невысокую гору. Третья – находится на острове, посреди озера Мелар. Там выделяется красивый дом народного собрания. Именно в этой части, сильнее всего, поражает излюбленный шведами красный цвет.

Приводили в восхищение также окрестности Стокгольма, скажем, сад Дир-Гарден, с его вековыми деревьями, под которыми пролегалo множество разнообразных аллей. По одним гуляли пешие отдыхающие, по другим – проезжали люди в богатых каретах. Шведы оказались очень аккуратными горожанами. Отдых у них проходил без пьянок и драк, безо всего того, на что был способен подневольный люд на русских просторах. Везде звучали песни. По многочисленным протокам и каналам снова-ли лодки, украшенные лентами и цветами, с множеством пассажиров. Даже без владения местным языком можно было почувствовать, что народ, не угнетенный крепостным ярмом, совершенно иначе воспринимает жизнь. По этой причине в голове

у недавнего ссыльного непрерывно вертелись мысли о России, где постоянно велись разговоры о ликвидации крепостного права, о путях развития всей страны.

Бородач Стефани остался в Стокгольме, а Костомаров, через несколько дней, продолжил путь. Перед ним лежали германские земли.

Вскоре пароход вошел в Травемюнде – просторную гавань с густо-зелеными берегами. После часового плавания открылся город Любек, сохранивший в своем названии славянский корень: когда-то там стояло поселение Любеч. Всё окружавшее напоминало собою Средневековье, говорило о Ганзе – торговом и политическом объединении северогерманских городов, центром которых долгое время оставался именно Любек.

В сердцевине Любека привлекала внимание старинная рагуша, которую Николай Иванович осмотрел в первую очередь. Побывал он также в церкви Мариенкирхе, где любовался живописью известнейших мастеров. Особенно поразил его «танец смерти», в центре которого мертвец кружился то с императором в золотой короне и драгоценном убранстве, то с жалким нищим в лохмотьях, то с дряхлым старцем, то с улыбающимся ребенком. Собор наполняли статуи – изображения известных в Европе людей...

Домá вдоль узеньких улочек возносились чрезвычайно стремительно и как бы прижимались друг к дружке. Не было ничего похожего на петербургских извозчиков, которых в русской столице можно нанять на любом перекрестке. Местные жители в Любеке передвигались по городу пешком.

В тот же день путешественник посетил портовый Гамбург – город оказался богатым, но в нем сохранилось немного старины, – и через Ганновер отправился в Кёльн. На пути к спасительным киссингенским водам хотелось перевидать как можно больше всего. В Кёльне внимание приковала к себе громадина знаменитого собора. Удалось присутствовать на вечерней службе, вдоволь наслушаться органной музыки. Забрался Нико-

лай Иванович и на хоры, где стоял тот самый орган, за которым посиживал когда-то маэстро Людвиг ван Бетховен. Полюбовался красою готики: величественные колонны, стрельчатые своды, мастерски исполненные витражи, чудесная живопись. Все заливало пламя свечей. Места́ для сидения, покрытые красочными коврами, переливались разными оттенками. Далее, уже с высоты колокольни и соборных башен, забраться куда поспособствовал соотечественник, заброшенный на чужбину, полюбовался уже всем обширным городом, увидев его словно бы на ладони...

На следующий день Николай Иванович отправился пароходом вверх по Рейну. Хоть он с детства наслушался о красоте его берегов, однако остался при мнении, что Волга между Симбирском и Саратовом, или Днепр возле Киева, – ничуть не уступают отцу германских рек. Что же касается южного берега Крыма – так он перещеголяет Рейн. Но в чем красавец Рейн не уступал даже Крыму – так это в живописности своих замков... Проплывал, почти нависая над судном, Драхенфельс – на этой скале, если верить легендам, люди долго сражались с драконом; за ним последовал Фюрстенберг, где тень умершей матери каждой ночью страдает по оставленному ребенку, подпавшему под опеку бездушной мачехи. Видел он также скалы под названием «Кот» и «Мышь», любовался вычурной Мышьей башней, где от этих шустрых зверьков спасался жестокий епископ Гатон...

Добравшись до Майнца и оглядев в нем собор X века, Николай Иванович очутился в сверкающем черепицей краснокирпичном Франкфурте, а затем, в дилижансе, добрался до Киссингена. Там лечился на протяжении пяти недель.

Лечение явно исцеляло. Встретившись во Франкфурте со Стефани, они вдвоем двинулись по направлению к Парижу. Французскую столицу окружало прозрачное марево, сквозь голубизну которого проступали стены еще более старинных строений. Парижские улицы были вымощены камнями, отшлифованными множеством человеческих поколений. Проведя в Париже целый месяц, Костомаров отправился в Дьепп, по дороге куда остано-

ливался в Руане, постоял на его знаменитой площади, где в конце Столетней войны была сожжена Жанна д'Арк.

Дьепп оказался крохотным городишком, а все побережье Ла-Манша отличалось ровнехоньким каменистым дном. Удивляли гигантские приливы Атлантики. Публика собиралась туда лишь к началу летних купаний. Затем дома пустовали до наступления нового сезона.

После курса морских купаний парижский окулист посоветовал обратиться к гейдельбергскому специалисту Хелиусу, ради чего пришлось снова пересекать всю Францию, и никак невозможно было миновать город Страсбург, не разглядеть старинный собор, не побывать на прославленной колокольне.

Доктор Хелиус обнадеживающе промурлыкал:

– Катаракты не вижу... Но лучше всего отправляйтесь в Италию. Там ваше зрение исцелится полностью.

Конечно же, Николай Иванович побывал сначала в Гейдельбергском замке. На пути к Италии, которую хотелось посетить не только по совету врачей, но и по собственному влечению, – оглядел швейцарские города Базель, Люцерн, Альтдорф, где возвышается статуя национального героя Вильгельма Телля. Побывал и на Чертовом мосту, и на перевале Сент-Готард – местах, связанных с подвигами русских чудо-богатырей под водительством Суворова.

Италия встретила солнечным блеском. Тени от домов и предметов, которые русский глаз привык видеть непременно темными, – казались в ней удивительно светлыми, но вроде бы погруженными в молоко. Сначала встал на пути Милан, потом Верона, в которой долгие годы обитал божественный Данте Алигьери. За небольшую плату путешественникам показывали его карету, сбереженную до наших дней. От античных веков сохранился в Вероне пожелтевший от времени императорский амфитеатр, где в крови и мучениях умирали гладиаторы.

Следующий город, Венеция, предстал настоящей театральной декорацией, чересчур огромной по своим неохватным раз-

мерам. Николай Иванович провел в Венеции целых пять дней, и все же не мог поверить, будто только что пробудился от сна: на площади Святого Марка, под чистым звездным небом, до утра продолжалось гуляние. Люди подплывали к ней напрямую, на вызолоченных гондолах. Волшебную картину освещала полная луна. Везде, куда ни ступишь – мостки, мосты, с изогнутыми по-кошачьи спинами, с ведущими к ним ступеньками, увитыми цветами. Все вылеплено, высечено, отшлифовано мириадами человеческих прикосновений. И нигде не заметишь какой-нибудь лошадайки, кроме, разве что мраморных или бронзовых коней, запряженных в колесницы и выставленных на крышах домов. Сама Венеция, повсеместно изображаемая в виде молодой красавицы, *bella Venezia*, одаривала властью своих правителей-дожей...

Триест, куда Николай Иванович приехал уже на рычащем поезде, напомнил знакомую Одессу. Крестьяне, сидящие на возах, запряженных круторогими волами, смахивали на земляков-украинцев. Так же ниспадали припорошенные пылью мужичьи усы, точно так же скрипели усохшие от жары не мазаные колеса... То были сплошь южные славяне.

Николай Иванович нарочито купил билет в вагон третьего класса, чтобы иметь возможность вслушиваться в народный язык. Люди входили на каких-то малоприметных ночью станциях, при этом здоровались, выходя же – прощались. Поезд следовал дальше... Да, они говорили на певучем, мелодичном славянском наречии, но их слов уже невозможно было понять: крестьяне пользовались иллирийским говором, в котором перемешано много старинных слов непонятных корней... В Любляне, расположенной на значительной высоте в Альпийских горах, дух славянства усилился еще заметней. В местной книжной лавке Костомарову удалось найти даже несколько славянских книг.

В Вену, столицу Австро-Венгерской империи, Николай Иванович добирался через австрийский Грац, пробыл в ней почти две недели. Вена поразила своим чистым, свежим воздухом.

Далее дорога вела на Прагу, где Николай Иванович познакомился с чешским поэтом, филологом Вацлавом Ганкою, которого в России, учитывая его русофильские настроения, называли Вячеславом Вячеславовичем. Явившегося к нему гостя Ганка знал как видного украинского поэта (еще в 1842 году в Праге появилось в печати несколько поэзий Костомарова в переводах Ф. Челаковского), — а также как переводчика на украинский язык Краледворской рукописи. В продолжение целой недели Ганка водил Костомарова по Праге, возил по выдающимся местам вокруг чешской столицы. Они побывали в местном университете, в библиотеке, в театре. В городе было полно славянских рукописей, хотя сама Прага говорила исключительно по-немецки и казалась уже целиком германским городом.

На прощанье Ганка подарил свои книги.

— Да здравствует славянство! — пожал руку, потом раскрыл объятья. — Давайте вместе приближать это славное время!

Через Дрезден, где снова удалось повстречаться со Стефани, через Берлин и Штеттин, на русском пароходе, Николай Иванович возвратился назад в Петербург.

Он совершил по Европе большой ознакомительный круг. Много чего перевидано, о многом успел передумать. На Россию, на ее горести и болезни, — он получил возможность посмотреть глазами опытного европейца.

«БУНТ СТЕНЫКИ РАЗИНА»

В варианте своей «Автобиографии», продиктованной уже где-то под конец жизни, но полностью изданной в 1922 году, Костомаров припомнил, что к написанию книги о Степане Разине он приступил весною 1858 года. Получается, это случилось уже после возвращения из-за границы, после того, как ему удалось всю зиму просидеть в Саратове над очерками о домашнем быте и нравах великорусского народа.

Воспоминание, однако, нуждается в уточнениях. Подготовительная работа к названной монографии, как свидетельствуют поиски и выводы современных нам ученых, была начата сразу же после первых встреч с Чернышевским. Проповедуя идеи о необходимости революционной борьбы с угнетателями, Николай Гаврилович требовал от историков способствовать правильному пониманию народом окружающей его действительности. Каждый ученый, считал Чернышевский, должен заявлять о собственной оценке событий, поскольку давно уже миновали те времена, когда русские историки, подобно пушкинскому Пимену, давали лишь более или менее связную картину прошедшего, «добру и злу внимая равнодушно». Впоследствии, правда, Чернышевский скептически станет относиться к намерениям добиться чего-нибудь существенного одним просвещением угнетателей, но в «саратовское» время он все еще верил в силу знаний (доказательством служит его работа о писателе-просветителе Лессинге, написанная, очевидно, в юности). Чернышевский настоятельно советовал Костомарову особое внимание обратить на то, как сам народ понимает фигуры Степана Разина, Емельяна Пугачева, в каком свете видятся ему эти яркие исторические личности.

Изучение фольклора, собирание сохранившихся документов – очень скоро стало давать ощутимые результаты. В газете «Саратовские губернские ведомости», начиная с 4 апреля и по 2 мая 1853 года, конечно, без упоминания имени автора, была напечатана работа «Стенька Разин и отважные добры молодцы». Уже в этой публикации, помимо исторического материала (очевидно, книги Флетчера о Руси XVI века, переведенной с английского языка О. Бодянским и, по просьбе Чернышевского, присланной из Петербурга Срезневским) – широко используя фольклор, Костомаров старался показать, что русский народ сочувствовал «отважным молодцам», вовсе не считая их разбойниками. В трактовке ученого, все восстававшие, во главе с Разиным, остались в народной памяти такими же выдающимися лич-

ностями, как герои Эллады, как рыцари Запада, – невзирая на то, что сами они были беглыми холопами, подневольными своих господ. Степан Разин уже тогда получался у Костомарова волевым, разумным, справедливым защитником нищих и сирых. И все это автор обнародовал в то самое время, когда прочие официальные историки обрисовывали Разина как разбойника, составшего против установленных Богом порядков, а деятельность его вообще считалась черным пятном в истории России.

Новое обращение Николая Ивановича к материалам о знаменитом бунтовщике было вызвано желанием ученого дать более широкую картину народного движения. Чтобы полнее изучить эти очень далекие события, весной 1858 года Костомаров отправился в служебную командировку на юг Саратовской губернии. Во время поездки ему удалось ознакомиться с жизнью простого народа, в том числе и с раскольниками, молоканами, с немецкими колонистами. Посетил Николай Иванович также город Царицын, где отыскал немало архивных дел о пугачевском бунте. Оказалось, Емелька Пугачев сохранился в народной памяти как преемник Разина.

Невдалеке от Царицына, по рассказам местных жителей, ходил по земле глубокий старик, который был вполне уже взрослым в те времена, когда на Волге бушевало восстание. Он видел и помнил разбойника Пугачева.

Николай Иванович нанял извозчика и отправился в указанное селение. 105-летний старец пребывал еще в очень хорошей памяти.

– Да! – загудел он надломленным голосом. – Как сегодня вижу, барин, тот день! Пугач прибежал к Царицыну с верными дружками... Он хотел взять Царицын на приступ, и народ был готов ему помогать... Да, вишь ты, в Царицыне сидел комендант, сам не промах... А за Емелькой гнался по пятам генерал... Михельсон... Да, пришлось ему, горемычному, перебираться на противоположный берег... А если бы победил... Кто знает, как бы все обернулось... Кто бы кем теперь помыкал...

Возвратясь в Саратов, Николай Иванович еще с бóльшим упорством стал работать над монографией...

Тем же летом, в который раз, ученый отправляется с рукописью в столицу. Правда, не только это намерение – издать свой труд – позвало его в дорогу. Николай Иванович не терял надежды связать свою судьбу с каким-нибудь высшим учебным заведением. Еще в декабре предыдущего, 1857 года, соответствующее прошение было подано им на имя попечителя Казанского университета. Костомаров предлагал услуги в качестве преподавателя русской истории, был даже избран ученым советом на профессорскую должность, однако хлопоты оказались тщетными: царский запрет действовал неумолимо.

В Петербурге Костомаров проживал в квартире Николая Васильевича Калачова, ученого-археолога, издававшего «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России», – благо семья Николая Васильевича находилась за границей. Целыми днями саратовский гость работал в Публичной библиотеке, шлифуя готовые очерки о быте великорусского народа, а вечерами беседовал с хозяином, пополняя свои познания. Калачов оказался выдающимся знатоком народной жизни. Много говорилось также о крепостном праве: как оно возникло, как боролись против этого народные массы.

Рукопись «Бунт Стеньки Разина», между тем, уже разрешенная цензурой, дожидалась выхода в редакции «Отечественных записок». Она увидела свет в конце 1858 года и тут же была замечена читательской массой. 16 ноября того же года профессор Петербургского университета, известный нам Александр Васильевич Никитенко, записал в своем дневнике, изданном затем в нескольких томах: «Замечательная статья в «Отечественных записках» – «Стенька Разин» Костомарова. Ужасное, невежественное состояние допетровской России изображено у Костомарова очень ярко и правдиво. У него все факты...»

Костомаров действительно долго и основательно размышлял над причинами восстания под руководством Разина и при-

шел к заключению, что эти причины надо усматривать в закреплении крестьянства. Простые земледельцы, имевшие право переходить от одного хозяина к другому, потеряли такую возможность в конце XVI столетия. В трех первых разделах своей монографии Николай Иванович показал, как совершалось закрепощение и без того подневольных работников, пока этот процесс не получил окончательного утверждения в «Соборном уложении» 1649 года, которым были уничтожены все сроки поимки беглых. В этом, по мнению ученого, и заключалась истинная причина недовольства народных масс. «Было ясно, – подытожил Костомаров, – что Русь готовится к какому-то страшному волнению».

Так и случилось. Страшным событием стало восстание крестьянских масс, руководимое Разиным. Вспыхнуло оно через два десятка лет (1670).

В новой работе перед читателями предстала воистину монументальная фигура народного предводителя. Главные черты этого человека выглядят таковыми: преданность народу, ненависть к угнетателям, вера в справедливость предпринятого дела, простота в обращении. Помимо высочайшего научного уровня в интерпретации собранного материала – книга чересчур беллетризована, понятна самому неподготовленному читателю.

Как ураган, разрушающий все на своем пути, пронесся Разин по русским просторам. Героическая, но короткая жизнь народного защитника, каковым он предстает на страницах книги, завершается его мужественным поведением в минуты казни. Как известно, предательски схваченного вождя восстания четвертовали в Москве. Но даже в момент казни Стенька Разин «не издал ни единого стога», не обнаружил признаков, что он терпит боль. По мнению автора, гордым молчанием Разин хотел показать величайшее презрение к врагам и уверенность в собственной правоте.

Что же, Костомаров как бы идеализирует своего героя. Опираясь на фольклорные элементы, он забывает об особенностях

человеческой психологии, которой легче всего запомнить хорошее и позабыть плохое. Более того, Костомаров и сам вроде бы забывает о сущности споров в обществе кирилло-мефодиевцев, о своей выверенной в них позиции: добиваться перемен путем эволюций, но не революционным возмущением.

Исследователи литературы, между тем, не случайно отмечают, что Костомаров, будучи убежденным в необходимости перемен в общественной жизни, проникаясь подобными настроениями под влиянием Чернышевского, нарочито сотворил свою книгу в сильно беллетризованной форме, чтобы усилить влияние на читателя. Как бы там ни было, есть основания полагать, что Чернышевский одним из первых ощутил воздействие научной работы Николая Ивановича. Чертами Степана Разина Николай Гаврилович наградил впоследствии Рахметова – одного из центральных героев романа «Что делать?». Связующим звеном между этими фигурами, разделенными столетиями, служил волжский силач Никитушка Ломов, также с любовью вырисованный Чернышевским, ярким сторонником радикальных перемен.

Впрочем, полагают историки литературы, образ Степана Разина, представленный Костомаровым, неоспоримое влияние на людей. Огромного значения ему, как борцу за свободу, придавали М. Горький, В. Ульянов (Ленин), даже сам творец «Капитала» – Карл Маркс. Книгу Костомарова о Степане Разине, наполненную огромным фактографическим материалом, Маркс даже подробно законспектировал.

Часть пятая РЯДОМ С ШЕВЧЕНКО

В «БАЛАБИНСКИХ НУМЕРАХ»

В середине мая 1859 года, как никогда отчаянно-весело, сошел Костомаров на перрон столичного Николаевского вокзала. Выбрав покрытую лаком коляску, он назвал трактир, где намеревался остановиться.

Хома Голубченко, сопровождая хозяина, слегка побледнел от волнения: хорошо ли будет «пану Миколі» в этом непостижимом столпотворении? Хома хоть и прожил какое-то время в столице, пока Николай Иванович сидел в Петропавловке, – но с тех пор миновало много времени...

Извозчик доставил обоих к трактиру, называемому «Балабинскими нумерами» – по имени его содержателя. Это заведение на Садовой улице (№18), рядом с Невским проспектом, считалось по рангу средним. В ресторане при нем раз за разом слышались выкрики, беспрестанно гремела музыка. Однако цена «заведения» в глазах Николая Ивановича поднималась по причине его тесного соседства с Императорской публичной библиотекой. Это было взвешено еще в предыдущие приезды.

– Поживем пока здесь, Голубчик!

Уверенность в том, что здесь можно будет хорошо поработать, довольно быстро передалась и Хоме. Может, действительно будет легче при новом царе? – промелькнуло в голове слуги.

После длительного запрета служить «по ученой части», Николаю Ивановичу, кажется, вновь засветила надежда занять кафедру истории, причем уже в Петербургском университете, в котором, совсем недавно, ее возглавлял Устрялов, чьей оценки оказалось достаточно, чтобы первую диссертацию молодого харьковского историка приказали сжечь. Теперь старик серьезно болел; в феврале 1859 года его к тому же забаллотировали на

выборах. Это прозвучало протестом против казенной науки, которой он рьяно прислуживал при Николае I. Как тут останешься на ногах? Петербуржцы решили пригласить автора уже хорошо известной им монографии о Богдане Хмельницком.

Столь неожиданное предложение Николай Иванович воспринял с готовностью. Возникла надежда, что в Петербурге все-таки смогут добиться ликвидации запрета работать «по ученой части».

Перед тем, на протяжении семи месяцев, Костомаров служил деловодом в саратовском комитете по улучшению быта крестьян. Он ежедневно являлся в дворянское собрание, где у него завелась даже собственная канцелярия с двумя писарями и одним помощником. Должность позволяла изучать отношение помещиков к ликвидации крепостного права. Необходимость скорейшего разрешения проблемы понимали уже в правящих верхах. В 1857 году был создан Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян». Программа правительства была раскрыта в рескрипте Виленскому губернатору В. Н. Назимову, поскольку реформу предполагалось апробировать в западных краях империи. В 1858 году с этой целью были созданы повсеместные губернские комитеты, а Секретный комитет превратили в Главный — опять же по крестьянскому делу. Рассуждения и споры о грядущем преобразовании слышались ежечасно. В предстоящих переменах кто усматривал явный прогресс, а кто — конец света. Разве мужики, уверяли песимисты, проживут без опеки? Сопьются. Все пропадут...

Накануне отъезда в столицу Костомаров попрощался с саратовскими знакомыми. Тамошний архимандрит, чрезвычайно ценивший науку и знания, устроил в его честь торжественный вечер. Стояла прозрачная весенняя ночь. В небе горела луна.

— Не забывайте нас, Николай Иванович! — говорили возбужденные вином гости. — Наша земля не должна быть вам чуждой, не так ли?

— Как можно не любить Волгу? — отвечал он, расчувствовавшись.

И был абсолютно прав.

Вдали, под луною, сверкала водная гладь. Казалось, она теряется в бесконечности.

Николай Иванович твердо верил: волжские берега он покидает теперь навсегда. Чувствовал уверенность человека, которому исполнилось сорок два года, перебирал в памяти куски промелькнувшей жизни, одиннадцать лет которой прошло на Волге, вдали от большой науки.

И все же истекшие годы не миновали бесследно. Кроме публикаций в «Саратовских губернских ведомостях», кроме завершенного «Богдана Хмельницкого» и вновь созданного «Стеньки Разина», – ему удалось написать «Очерки торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях» (напечатаны в «Современнике»), «Очерк истории Саратовского края». Опубликовал также несколько произведений на украинском языке в издании Д. Л. Мордовцева (в «Малороссийском литературном сборнике»), поместил у того же Мордовцева свыше 200 украинских народных песен, в большинстве своем слышанных на Волыни (1844). Да и на Волге собрал немало народных песен, которые (помимо публикаций в губернской газете) увидели свет чуть позже, в 1861 году. Кроме того, на волжских берегах Николаем Ивановичем были написаны художественные произведения «Сын» и «Холоп», драма «Кремуций Корд», драматическая поэма «На руинах Пантикапея».

Характеризуя научную деятельность Костомарова саратовского периода, необходимо остановиться на уже названной нами монографии «Очерки торговли Московского государства». Современная нам наука считает, что указанный труд не потерял своего значения и в наши дни. «Эта монография – уверял профессор В. Г. Сарбей, – является уникальной в творческом наследии автора, поскольку, в отличие ото всех его прочих работ, посвященных главным образом политической истории, полностью основана на разработке политико-экономической проблематики. Примечательна она также тем, что в отечественной историо-

графии была первым обобщающим исследованием по истории торговли XVI и XVII столетий, которое базируется на ранее неизвестных науке документальных материалах и освещает проблему в масштабе всей страны».

В повести «Сын» Костомаров изобразил крестьянскую войну под руководством Степана Разина. В центре произведения высится колоритная фигура Осипа Нехорошева – сына приволжского крепостника, молодого офицера, который порывает с родственным ему дворянским окружением, со своим старинным боярским родом и примыкает к восставшей гольтьбе («голите»). Превратившись в убежденного борца за справедливость, Осип в конце концов погибает, однако до последнего дыхания остается верным Степану Разину и тем вольнолюбивым порывам, ради которых избрал себе путь борьбы.

Эта повесть, кстати, была задумана в 1857 году, во время возвращения Николая Ивановича из-за границы. Побуждаемый известным нам Н. В. Калачовым, автор обещал поместить произведение в его журнале «Архив исторических и практических сведений, относящихся к России», и действительно – первые разделы его вышли там в 1859 году. «Цель (...) рассказа, – писал Костомаров, – была представить в повествовательной форме черты нравов, понятий, обычаев и домашнего быта в XVII веке».

Особую страницу в творчестве Николая Ивановича занимает драма «Кремуций Корд», созданная еще в 1849 году, сразу после освобождения из крепости. Благородный римский историк, который являлся узнику Алексеевского рavelина во время галлюцинаций, был воплощен на бумаге. В пьесе он представляет угрозу для власти тирана – римского императора Тиберия. Последний же, при помощи наперсника Сеяна, понимает грозящую опасность и планирует, как бы уничтожить правдоискателя. «Что за беда, что нет против него закона? Разве нельзя толковать закон по-своему? – удивляется тиран. – И что, в самом деле, они ссылаются на закон?.. Я покажу им, что уважаю законы лишь потому, что мне так хочется; закон для слабых существ, а для Цезаря нет иного закона, кроме собственной воли!»

Тираноборческие мотивы произведения, безусловно, были направлены против императора Николая I, при котором существовало такое же бесправие, как и в Римской империи в момент ее угасания. Чтобы усилить аналогию, Николай Иванович обратился к решительным литературным приемам: Сеян в его пьесе употребляет точно такие же выражения, какие были присущи генералу Дубельту. «Мой добрый друг!» – лицемерно обращается он к очередной жертве.

Современники верно поняли замысел Костомарова. М. Е. Салтыков-Щедрин, дав «Кремуцию Корду» высокую оценку, многозначительно заметил «Трудно поверить, что могли быть такие времена, а между тем они были...»

На подобного рода тематику написана и драматическая поэма – «На руинах Пантикапея», где в аллегорической форме повествуется о Кирилло-мефодиевском братстве. Произведение осуждает тиранию и бесправие. И хотя под пятою деспота все живое в руководимом им государстве обречено на постепенное вымирание – на страницах драмы слабым светом загорается мысль, что общественная жизнь все-таки развивается в сторону улучшения, что, в конце концов, когда-нибудь в мире воцарится разум.

Осуждением лицемерия, беззакония, хищничества, которые повсеместно присущи высшей знати, наполнен также исторический рассказ на материале XVIII века под названием «Холоп». Читатель проникается сочувствием к трагической фигуре лакея князя Якова Долгорукого – молодого Василия Денисова, судьба которого подвержена страшным издевательствам.

Все перечисленные нами художественные произведения были опубликованы несколько позже. Однако общественная направленность творчества Костомарова не только как историка, но и как литератора, блестящего беллетриста, его постоянный интерес ко всему прогрессивному, решительная поддержка всего передового (к сказанному надо добавить и то, что он собирал материалы о Пугачеве) – все это видится присущим Костомаро-

ву и во время его пребывания в саратовской ссылке. Правда, материалы о Пугачеве так и не увидели свет под редакцией самого Костомарова, поскольку, не получив доступа к московским архивам, — историк даже не обработал их. Собранные Николаем Ивановичем, они были изданы Мордовцевым.

Министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский принял посетителя подчеркнуто любезно. В беседе выяснилось, что министр родился и рос на Украине, в Харькове, что прежде он занимался горным делом, проводил геологические исследования в бассейне Дона, а на эту должность назначен совсем недавно (1858). На Ковалевского, как стало известно Костомарову, общественность возлагала большие надежды.

— Рад вас видеть, Николай Иванович, на службе в нашем министерстве! Только ваше дело... Университет университетом, но его царское величество хорошо еще помнит батюшкину науку. Кто-то ему подсказал, будто ваш «Стенька Разин» — неблагонадежная книга. Царь засомневался, можно ли такого ученого допустить к воспитанию юношества. Он решил лично прочитать подзрительный труд. Ждите!

— Буду ждать!

— Дело, видите ли, осложняется еще и тем, что государь привык читать рукописные тексты. Так что вашу книгу переводят в рукопись.

— Что же... Ждал больше, обожду и меньше.

Николай Иванович не терял ни минуты так неожиданно свалившегося «бездействия». Он начал готовиться к профессуре, надеясь все-таки заполучить ее. Сидел в библиотеке, читал «много печатного и рукописного», все, что считал необходимым. В трактире же надоедал постоянный шум, органная музыка, пронизывавшая стены. Вечерние часы вынужденного пребывания в номере становились бы просто невыносимыми, если бы не друзья и не разного рода знакомые.

А знакомств получалось более чем достаточно.

В первую очередь Николай Иванович побывал в кабинете директора Публичной библиотеки барона М. А. Корфа, уже пожилого, 59-летнего человека, который учился вместе с А. С. Пушкиным. Встреча прошла вполне приемлемо. Барон успел прослыть толковым чиновником. Невзирая на то, что он тенденциозно освещал в мемуарах своего великого однокашника, что, благодаря его «зоркому всеподданнейшему» глазу, были организованы гонения на саратовскую газету за публикацию народных песен, — все же заслуги его в организации работы публичной библиотеки, в частности фонда *Rossica*, — были признаны всеми. Сам Пушкин успел оценить усилия «Модиньки» по составлению каталога иноязычных сочинений о России.

Очень вскоре у Николая Ивановича завелась также дружба с сорокалетним книгоиздателем Дмитрием Ефимовичем Кожанчиковым («кажаном», т. е., майским жуком называл его Костомаров, намекая на маленький рост и темные волосы) — именно Кожанчикову передал он для новых изданий «Бунт Стеньки Разина».

Как старый знакомец, наведывался в балабинский трактир Н. Г. Чернышевский. К тому времени он жил в Поварском переулке (сейчас дом под №13), редактировал самый популярный в России журнал «Современник». Переступая порог «номеров» Костомарова, Николай Гаврилович обыкновенно шутил, что над трактиром восходит «новая звезда» — имелся в виду научный багаж саратовского знакомого и его будущая профессорская деятельность.

Визиты давних приятелей стали взаимными. В квартире Чернышевского, в свою очередь, Костомаров познакомился со многими людьми. В небольшом кабинете Николая Гавриловича можно было встретить почти всех представителей отечественной литературы. Пребывало там также немало молодежи. Особое же внимание Костомарова привлекал молодой человек довольно крупного роста, в небольших очках с золотыми ободками. Звали его Николай Александрович Добролюбов. К разбирае-

тому нами времени он стал ближайшим сотрудником и единомышленником Чернышевского, прослыл чрезвычайно умным и интересным собеседником. Разговоры его с Костомаровым чаще всего касались литературы.

Собеседники с жаром обсуждали произведения молодой украинской писательницы, изданные в столице под названием «Народні оповідання». Сама писательница оказалась супругой киевского знакомого Николая Ивановича, «братчика» Опанааса Васильевича Марковича, почему и выбрала себе псевдоним Марко Вовчок. А «крестным отцом» ее в литературе считался другой «братчик», П. А. Кулиш, к тому времени давно уже прощенный правительством и занимавшийся в столице литературной и издательской деятельностью.

На следующий год в журнале «Современник» появился обстоятельный разбор рассказов писательницы, автором которого оказался Добролюбов.

Естественно, П. А. Кулиш также стал частым гостем в «балабинских нумерах», равно как и другой «братчик», В. М. Белозерский, уже освобожденный из ссылки. Последний, по определению Николая Ивановича, «делал всяческие предположения» об издании в столице автономного украинского журнала, даже афишировал предполагаемое его название – «Основа».

В «балабинских нумерах» происходили знакомства Костомарова также со многими другими людьми, которые жили наукой, искусством, литературными вопросами, как вот критик Владимир Васильевич Стасов, сотрудник Публичной библиотеки, как профессор Константин Дмитриевич Кавелин, как страстный энтузиаст науки, молодой поляк Виктор Семенович Калиновский.

Худой, истощенный, плохо одетый, Калиновский штудировал в «публичке» польские документы, почти не интересуясь современностью. Он знал исключительно все, что касалось прошлого его родины, так что Николай Иванович, после беседы с ним, каждый раз приходил в восторг. По-видимому, от Калиновского он впервые узнал, что в центре Петербурга, в костеле свя-

той Екатерины на Невском проспекте, покоится прах последнего польского короля Станислава Августа Понятовского.

Частыми гостями Костомарова были и другие поляки. Энергией и умом среди них выделялся Сигизмунд Игнатьевич Сераковский – закадычный друг Тараса Шевченко.

Все многочисленные знакомцы историка твердо верили, что его профессура, если только она когда-нибудь будет разрешена высочайшей инстанцией, – станет чрезвычайным явлением. Николай Иванович обладал способностью настолько ярко изобразить историческое событие, настолько зримо представить то или иное историческое лицо, отыскав для него наиболее яркие краски, эпитеты, что подробности вырисованной им картины могли воспроизвести даже ресторанные служки, которым рассказы эти удавалось расслышать хотя бы краешком уха.

СНОВА С ТАРАСОМ

Конечно, очень частым, притом самым дорогим гостем в «балабинских нумерах» стал поэт Шевченко.

Тарас Григорьевич отбывал ссылку в условиях тяжелейшей солдатчины. Находясь в положении подневольного человека – ниже солдата считался разве что крепостной крестьянин! – поэт больше всего страдал от запрета писать и рисовать. Самый жестокий язычник, по мнению Шевченко, не придумал бы такого наказания, на какое решился царь-христианин. Однако и в таких условиях поэт умел выплескивать страстные мысли на страницах так называемых «захалавных» книжечек (от украинского слова «халява» – голенище). Он мечтал о свободе, печалился болью закрепощенных людей, но не отрекался от антикрепостнических убеждений.

Наказание для поэта не закончилось со смертью Николая I. И все же, благодаря стараниям верных друзей, Тарас Григорьевич, в конце концов, был освобожден от муштры. Летом 1857

года, именно тогда, когда Николай Иванович путешествовал за границей, поэт проплывал на пароходе мимо саратовских берегов. До нашего времени дошло его несколько рисунков, исполненных в тот незабываемый день. Поднявшись на волжский берег, Шевченко навестил жилище Костомаровых, увиделся там с Татьяной Петровной, которую по-прежнему уважал и ценил, подарил ей автограф сочиненного в III отделении стихотворения «Веселе сонечко ховалось», – там, наверняка еще помнится читателю, описывается, как поэт увидел из каземата Татьяну Петровну, пришедшую навестить сына.

В своем «Журнале», под рубрикой «31 августа», Тарас Григорьевич зафиксировал: «Едва пароход успел остановиться у Саратовской набережной, как я уже был в городе и (...) нашел квартиру Татьяны Петровны Костомаровой. Добрая старушка узнала меня по голосу, но, взглянувши на меня, усумнилась в своей догадке. Убедившись же, что это действительно я, а не кто иной, она привитала как родного сына радостным поцелуем и искренними слезами.

Пароход простоял у саратовской пристани до следующего утра, и я, с полудня до часу по полуночи, провел у Татьяны Петровны. И Боже мой! – чего мы с ней не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы, и лепестки фиалок, присланные сыном в одном из писем из Стокгольма, от 30 мая. Это число напомнило нам роковое мая 1847 года, и мы, как дети, зарыдали. В первом часу ночи я расстался с счастливейшею и благороднейшею матерью прекраснейшего сына».

Николай Иванович искренне обрадовался, услышав рассказ своей матери о столь желанном госте, прочитав к тому же, вслед за ее рассказом, пронзительные строки автографа. Здесь уместно сказать, что некоторые исследователи бросают Костомарову упрек, будто он, в период своей ссылки, оставался безразличным к судьбе Тараса Шевченко, не интересовался даже, где тот нахо-

дится, не пытался ему помочь. Вряд ли сто́ит судить обо всем так строго. Во-первых, помочь поэту, прогневившему императора, – было не в силах Николая Ивановича. Он не располагал для этого связями, сам оставался подневольным, в недавнем прошлом – узником Алексеевского равелина! Уже одно это служило клеймом на долгие годы. Помочь материально – кое-какими средствами, естественно, Костомаров располагал, но для действенной помощи нужны были очень влиятельные связи. Кроме того, Николай Иванович находился в сильной депрессии – таковы уж свойства его неординарной психики. Считая свою жизнь исковерканной, он обрывал все нити, связывавшие его с совершенно обескураженной Алиной Крагельской, хотя, как увидим в дальнейшем, не переставал ее любить.

Все же стоило забрезжить огоньку свободы – и Николай Иванович ожил, переменился. Он с нетерпением ждал Шевченко в столице, когда сам находился в городе на Неве (1857). Он искал поэта во время своего проезда через Нижний Новгород, где Шевченко вынужден был зимовать, так как его не пускали в столичные города, – однако Тарас Григорьевич к тому времени уже отбыл в Москву.

И вот летом, еще 1858 года, в период своего непродолжительного пребывания в Петербурге, Николай Иванович встретился с ним. Перед нами его собственные воспоминания: «Узнавши, что Шевченко живет в Академии художеств, где ему отвели мастерскую комнату, я, в одно утро после купанья, отправился к нему. Здание академии было мне в то время еще незнакомо, и я долго путался по его коридорам, пока достиг цели. Мастерская Шевченко находилась рядом с академической церковью, бала просторная светлая комната, выходившая окнами в сад. «Здравствуй, Тарас», сказал я ему, увидевши его за работой в белой блузе, с карандашом в руках. Шевченко выпучил на меня глаза и не мог узнать меня. Напрасно я, все еще не называя себя по имени, припомнил ему обстоятельства, которые, по-видимому, должны были навести его на догадку о том, кто перед ним. «Вот же гово-

рил ты, что свидимся и будем еще жить вместе в Петербурге – так и случилось!» Это были слова его, произнесенные в III отделении в то время, как после очных ставок, на которые нас водили, мы возвращались в свои камеры. Но Шевченко и после этого не мог догадаться: раздумывая и разводя пальцами, сказал решительно, что не узнает и не может вспомнить – кого перед собою видит. Должно быть, я значительно изменился за 11 лет разлуки с ним. Я наконец назвал себя. Шевченко сильно взволновался, заплакал и принялся обнимать меня и целовать. Через несколько времени, посидевши и поговоривши о нашей судьбе в долгие годы ссылки и о том, как я отыскивал его в Нижнем, где и узнал о его переселении в Петербург, мы отправились пешком в ресторан завтракать и с тех пор несколько раз сходились то у него, то у меня, а чаще всего в ресторане Старо-Палкина».

Конечно, перемены коснулись не только их внешнего облика, хотя, по правде сказать, Николай Иванович также казался уже довольно пожилым человеком, носил седоватые усы, а в некогда роскошных пепельных волосах его утвердилось теперь немало седины. Многое переменялось также в их мыслях, взглядах, но свет удаленных киевских лет, любовь и уважение к родному народу, к его песне, языку, прибаутке – объединял их обоих, как и прежде. «По-прежнему стал он мне близким человеком (...). Муза Шевченко (...) всегда оставалась чистой, благородной, любила народ, скорбела вместе с ним о его страданиях и никогда не грешила неправдою и безнравственностью», – был, как и прежде, уверен в том Костомаров.

Да, у них было о чем говорить.

Лето 1858 года было переполнено сплошными тревогами. Они распространялись по улицам столицы вместе с дымом. Запахи пожарищ добирались иногда даже до Невского проспекта. В пригородах, переполненных массой деревянных строений, угрожающе полыхали леса и тлели торфяники, чуткие к любому пожару. Вокруг столицы выгорело много сел. На железной дороге пламя уничтожило шпалы на протяжении многих верст. В

дыму, говорили, исчезла даже какая-то небольшая станция, — на время прекратилось сообщение Петербурга с Москвой.

Главной же темой разговоров, по свидетельству современников, в течение всех этих лет становилось освобождение крестьян. Недавние ссыльные сходились в одном: вопросы, мучившие их в Киеве, не только не сняты с повестки дня, но достигли сейчас апогея. Согласятся ли власти наделить крестьян, помимо ожидаемой воли, еще и земельными участками, или же предполагается пустить их в мир бурлаками, заломив за кусок хлебородной нивы высокую дань, которая и не снилась нищему мужику?

Передовые умы с жадностью вчитывались в статьи «Современника», где главным идеологом слыл Чернышевский...

В 1859 году, Шевченко появился в столице к осени. Он бывал на Украине, жил надеждами, что ему удастся поселиться в родных краях. Рассказывал, что собирается купить участок земли над Днепром, где построит новую хату, разведет большой сад, разживется пасекой... А пока что Тарас Григорьевич жил по-прежнему в академии, в описанном Костомаровым помещении, которое объединяло в себе мастерскую, где он совершенствовался как гравер, и простенькое жилище на антресолях. Сейчас там размещена квартира-музей Т. Г. Шевченко, но у нас есть возможность заглянуть туда глазами современников поэта, а не только глазами восхищенного его почитателя в лице Костомарова и тем более, не глазами музейного посетителя. Всех навещавших его людей поражала резкая перемена внешности Тараса Григорьевича. Это был уже далеко не прежний широкоплечий, коренастый мужчина, одетый в серый сюртук, с копной черных волос, каким его знали в былые годы, но исхудавший, лысый человек без кровинки в лице, с такими, казалось, руками, что в них видны были кости и даже жилы.

С поэтом Шевченко Костомаров встречался в Петербурге во многих местах, но чаще всего в Академии художеств: там располагалась квартира вице-президента академии, графа Федора

Петровича Толстого, где Шевченко принимали как родного, на чьих поруках он фактически находился. В том, что Тараса Григорьевича, в конце концов, освободили из ссылки и даже разрешили ему жить в столице – усматривается в первую очередь заслуга старого графа и его молодой супруги (после смерти первой жены Федор Петрович вступил в новый брак). Собственно говоря, в столице он оказался только благодаря поручительству графа.

Академическая квартира четы Толстых размещалась в первом этаже. Кого только не привечала она в своих стенах: К. П. Брюллова, М. И. Глинку, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. П. Мартоса... Всех и не перечислить... Три окна квартиры выходили на Неву. Из них виднелись поставленные на набережной древние египетские сфинксы. Остальные окна были обращены на Третью линию Васильевского острова. Самым примечательным помещением в квартире, с полным на то основанием, считался огромный зал, обставленный «по-античному». На высоких стенах его висели картины в золоченых рамах. Под ними цветными яркими пятнами вкраплены были диваны с низкими спинками. Между диванами, слегка приглушенною белизною выделялись статуи древнегреческих богов. Огромные зеркала удваивали мраморные бюсты Гомера и Софокла. Другое скульптурное подобие Гомера украшало камин.

Гости Толстых, в большинстве своем люди искусства – художники, писатели, музыканты, а также ученые, общественные деятели – собирались в гостиной. Разговоры велись и за длинными столами, по воспоминаниям современников – покрытыми зелеными сукнами, освещенными лампами с мощными рефлекторами», и перед картинами, наполнявшими гулкой зал. Художники рисовали, писатели приносили свои сочинения, нередко делая это впервые, равно как и музыканты.

Огромный интерес для гостей представляли работы самого хозяина – известного скульптора. Его называли «русским Леонардо», имея в виду широту его интересов и диапазон способ-

ностей. К описываемому времени Федор Петрович страдал глазами, но все еще сохранял светлый ум, отличался гуманностью взглядов, глубокой верой в прогресс. Композиции из воска, вылепленные им в молодые и зрелые годы, заполняли пространство обширнейшего жилища.

А еще среди гостей в нем можно было увидеть Н. А. Некрасова, В. Ф. Одоевского, П. А. Вяземского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. Н. Глинку и многих, многих других...

Жена Федора Петровича, довольно молодая и энергичная женщина, по имени Анастасия Ивановна, собирала у себя литературно-художественный салон, который долго держал пальму первенства, успешно конкурируя с аналогичным ему пристанищем людей искусства, устроенным на Большой Миллионной улице, в доме архитектора А. И. Штакеншнейдера.

Екатерине Толстой, молоденькой дочери вице-президента Академии художеств, было всего 14 лет, когда в великосветской гостиной ее отца заговорили о монографии «Богдан Хмельницкий», похожей скорее на захватывающий роман. Гости читали книгу запоем, делились мыслями о прочитанном. Интерес к Украине, к взаимоотношениям этой благодатной земли с Московским государством – подогревался в Екатерине еще и тем, что ей приходилось слушать рассказы писателя Григория Петровича Данилевского. Он вырос на Украине и теперь бредил ее очарованием. В гостиной Федора Петровича и Анастасии Ивановны Толстых, как только надвигались сумерки, молодой романтик собирал вокруг себя юную, почти детскую, публику и рассказывал ей украинские сказки, бывальщины, народные предания.

Тарас Шевченко, появившись в гостиной Толстых весной 1858 года, поведал о личном знакомстве, даже дружбе с автором «Богдана Хмельницкого». Как только Костомаров, наведавшись в Петербург, возобновил отношения с поэтом, графиня Анастасия Ивановна пожелала видеть историка у себя в салоне. Радости Екатерины не было пределов. Многие годы спустя она

вспоминала, что ей и ее знакомым Костомаров «казался (...) залогом, что теперь не будет более недоразумений, все силы родины пойдут вместе на общее дело».

Костомаров, однако, долго не изъявлял желания общаться с графским семейством, хотя на знакомство с ним побуждал его сам Шевченко. Только и Тарас Григорьевич не оставлял своих намерений.

– Знаю, Катерина-сердце, где мы его застукаем! – сказал он однажды.

– Ой, где же, Тарас Григорьевич?

– Поехали быстрее!

Наверное, подобный разговор состоялся в конце лета 1858 года. Как бы там ни было, Николая Ивановича они нашли в Публичной библиотеке.

Уже после первого знакомства, как можно судить по ее мемуарам, Екатерина Федоровна Толстая увлеклась Костомаровым. Она даже забросила занятия живописью – а страстно мечтала добиться звания художника! Возможно, еще тогда, в конце лета 1858 года, историк появился в описанной выше гостиной. Зато уж точно известно, что, перебравшись в Петербург ради чтения лекций в университете, – он превратился в постоянного гостя в доме Толстых.

Ученого, в свою очередь, волновало внимание умной «графинюшки». Погруженный в науку, он все ж находил достаточно времени, чтобы вдвоем с Екатериной посещать театры (особенно любил оперу М. И. Глинки «Жизнь за царя»), бывать на выставках, на концертах. Вдвоем им было очень интересно. Много часов, как сообщает Екатерина Федоровна, посчастливилось ей пробыть в кругу костомаровских друзей и приятелей в балабинском трактире, для чего был определен даже нарочитый день – вторник. «Какие хорошие, веселые вечера проводили мы в этой достопамятной «гусарской квартире»! – вырывалось из-под ее пера на страницах мемуарной книги. Правда, очень уж допекал соседствующий в трактире орган. Это приводило к тому,

что порой, уже поздним вечером, Костомаров «прилетал» к Толстым (они, впрочем, скоро съехали с академической квартиры, так как Федор Петрович ушел в отставку, жили на третьей линии Васильевского острова, в доме Вольфа, затем – на Конногвардейском бульваре, в доме Мусина-Пушкина).

– Не могу! Не могу больше! С утра жарят! – кричал Николай Иванович, все еще закрывая уши ладонями.

Екатерина, вместе с Николаем Ивановичем, искала более подходящую квартиру. Спешка обуславливалась тем, что из Саратова намеревалась прибыть Татьяна Петровна: университетскому профессору необходимо было иметь постоянное жилище.

Юной графине запомнились также путешествия с Николаем Ивановичем в кондитерскую итальянца Меццапелли на Морской улице. Они брали с собой ее любимого песика – Тобика. Умное животное получало порцию шоколада с бисквитом в первую очередь. Песик быстро привязался к кавалеру хозяйки, заранее узнавая его приход и тотчас же выражая свой бурный восторг.

Через какое-то время о дочери Толстых заговорили как о невесте историка (особенно после того, как Николай Иванович был назначен профессором). Огромная, на наш взгляд, разница в возрасте в ту пору никого не смущала, тем более – Толстых-родителей. Мать самой Екатерины была младше мужа на целых 34 года.

Одним словом, Костомаров, как и Шевченко, стал завсегда-таем в салоне Толстых. Екатерина Федоровна сохранила воспоминания о взаимном общении этих людей, об их дружеских спорах. Шевченко по-прежнему называл Костомарова другом, братом, нисколько не лицемеря. Поэт, как известно, не опасался наказания, когда клеймил, по его убеждениям, «мучителя народов» Николая I. Он решительно разрывал связи с теми, кого недолюбливал, ненавидел. Что касается общения с Костомаровым, то важно определить все нюансы этих взаимоотношений.

Наверное, права была Мариэтта Шагинян, написав в монографии о Шевченко, что Тарас Григорьевич после ссылки почувствовал какие-то перемены в мировоззрении Костомарова, усиление в нем чувства осторожности, что ли (об этом же говорит в своих воспоминаниях А. Я. Панаева, которая, кажется, несколько преувеличивает особенности характера Костомарова). Потому он и начал относиться к Николаю Ивановичу несколько иначе, хотя по-прежнему дружески. В доказательство писательница приводит факт, что, приходя в Балабинский трактир, Шевченко нарочно заказывал громкую музыку, хотя Костомаров умолял не делать этого. Все упомянутое можно рассматривать как подсознательную попытку «насолить» другу, однако – все-таки другу! Потому что оба они до последней возможности не могли жить без взаимного общения.

Обычной для балабинского трактира становилась вот такая картина. Бывало, Шевченко зайвится в неурочное время, и Костомаров, раздосадованный тем, что лишается возможности сосредоточиться на своих занятиях, закричит ему вместо приветствия:

– Принесло тебя... Тарас! У меня столько дел намечено!

– Да я не к тебе, Николай! – отмахнется поэт. – Я к Хоме. У нас есть о чем говорить.

Хома Голубченко, к тому времени уже добродушный толстяк, по определению Екатерины Толстой – «верный Лепорелло» – с готовностью улыбается, вороша свою черную чуприну. Разговоры с Тарасом Григорьевичем, знакомым с киевских времен, воспринимаются Хоמוю как подарок судьбы. И начнут они говорить о таком, что Николаю Ивановичу также не усидеть за книгами... Шевченко же засидится в трактире в три раза дольше намеченного!

И все же впоследствии Костомарову пришлось жаловаться на собственную беспечность: полагал, что успеет наговориться с Тарасом, а не вышло...

Однако в печальное никому не хотелось верить. Пока что... Встречаясь, друзья постоянно спорили. «Боже мой, нельзя себе

представить, что за прелесть такие споры, – восхищалась Екатерина Толстая, – этого нельзя описать, надо знать и Шевченко, и Костомарова, и их взаимные отношения, чтобы понять, что это за художественное наслаждение, такие споры. Что это за прелесть, когда Шевченко начнет в жару спора по-малороссийски: «Та брешеш! Та Господи мій милий, будь ласкавий, скажи мені...»

Подобные перепалки происходили и в доме Толстых. Скажем, в среду 16 марта 1860 года Екатерина Толстая отметила в своем дневнике: «Вчера у нас обедали Щепкин, Шевченко, Костомаров, Александр Павлович Брюллов, Мещерский, Тихмеев. Я так была рада видеть Щепкина. За обедом говорили о разных малороссийских кушаньях... Шевченко ужасно горячо доказывал, что пельмени (вареники с говядиной) есть только на Волге и в Литве, а в Белоруссии (их – С. В.) нету. Костомаров его слушал с тою улыбкою снисхождения и любви, с которою смотрят на болтание трехлетнего ребенка. «Это репетиция диспута», сказал он. «Слушай, Костомаров», – закричал Шевченко. Костомаров скрестил руки. «Пельмени – кушанье крымских татар, это значит по-татарски «Чем богаты, тем и рады». А в Белоруссии нет его, а в Москве оно появляется под названием колдунов, стало быть, они занесены туда татарами». «Тарас! А какими историческими памятниками ты докажешь это?» спросил совершенно серьезно Костомаров. «Боже мій милостивий! Какие тут тебе памятники, я ж тебе говорю, что это так!» «А что, ты был тогда с татарами, ты видел, как они перевезли туда пельмени?» – и он стал серьезно исторически доказывать, что этого никогда быть не могло. Шевченко горячился и бранился по-малороссийски. Мы все хохотали. Это так было смешно! Как это Костомаров так умеет быть серьезным, когда смешит других. После обеда мы все уселись в гостиной и Щепкин читал нам...»

Итак, близкими знакомыми Костомарова в Петербурге были Шевченко, Чернышевский, Некрасов, Панаев, профессор Кавелин (у него в квартире шли споры на насущные темы, речь за-

ходила, как говорилось, даже «о топоре» – т. е. о призывах к революции). Сюда же надо добавить двоюродного брата Чернышевского – А. Н. Пыпина (профессора, ученого-литературоведа), профессоров Никитенко, Устрялова, а также друзей Шевченко – братьев Лазаревских, еще – Белозерского, Кулиша, Стасова и многих, многих других.

Костомаров познакомил Шевченко с Чернышевским, хотя имеются предположения, что это сделано было С. И. Сераковским.

Уроженцу волынской земли, Сераковскому также довелось отбывать ссылку в Отдельном Оренбургском корпусе. Однако, дослужившись до офицерского звания, он возвратился в Петербург, где продолжил службу в Генеральном штабе, отличаясь необыкновенным административным и военным талантом. Поддерживая дружеские отношения с Чернышевским и Добролюбовым, он сотрудничал в «Современнике». Вместе с другими вольнолюбивыми поляками, земляками Я. Домбровским и С. Падлевским, Сигизмунд Сераковский организовал в городе на Неве подпольный революционный кружок, в недрах которого проводилась усиленная подготовка к борьбе за освобождение Польши.

С Сераковским Костомаров впервые встретился еще в 1857 году. Сигизмунд Игнатьевич пришел к нему по рекомендации Белозерского и Кулиша и в сопровождении своих друзей: Эдварда Желиговского – издателя петербургской газеты на польском языке «Слово», а также поэта, известного затем под псевдонимом Антоний Сова, и профессора Петербургского университета Владимира Даниловича Спасовича.

Круг знакомств Костомарова постоянно разрастался. Собрания по вторникам в Балабинском трактире постепенно набирали известности во всей столице. По четвергам Николай Иванович встречался с друзьями у Н. Г. Чернышевского, в прочие дни мог общаться с ними в редакции «Современника».

Вскоре, в начале 60-х годов, в Петербурге стали пользоваться популярностью вечера у издателя Н. Л. Тиблена, типография ко-

торого находилась на Васильевском острове, в Восьмой линии. Сам Тиблен, герой Крымской войны, отличался весьма демократическими убеждениями. У него печатался Костомаров, издавались книги Марка Вовчка, украинский журнал «Основа» (о нем у нас речь впереди). Так вот у Тиблена (на 8-й линии Васильевского острова, в доме К. Задлера), собирались преимущественно профессора, литераторы, университетская молодежь. Там Костомаров встречался также с Чернышевским, Достоевским, Кулишом, П. Л. Лавровым, издателем «Химического журнала» Н. Н. Страховым и другими.

Все эти вечера проходили очень живо. Отчасти живость их объяснялась все тем же напряженным состоянием, в котором петербургское общество пребывало накануне ожидаемых реформ, а также в период их проведения. «Встречались люди и наговориться не могли, — вспоминал Николай Иванович. — Все казалось ново, все занимало. Каких только вопросов не касались, спорили, горячились».

Результатом сказанного можно считать участие Костомарова и Шевченко в различных гражданских актах. Так, например, когда журнал «Иллюстрация» опубликовал антисемитские материалы, то передовые деятели культуры в ответ на это напечатали свой протест. Рядом с подписями И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского, К. С. Аксакова и других прогрессивно настроенных людей, стоят под ним фамилии Костомарова и Шевченко.

Вместе с Шевченко ходил Николай Иванович на публичные чтения в столичном Пассаже, которые организовывались членами Литературного фонда — его возглавлял брат Министра народного просвещения — Егор Петрович Ковалевский. Вырученные средства шли на помощь бедным литераторам. Вместе с Костомаровым Шевченко принимал участие в организации воскресных школ, ставивших своей целью просвещение народных масс.

Заботился историк и об освобождении из крепостной неволи ближайших родственников поэта — его братьев и сестер.

В майской книге «Современника» за 1859 год Костомаров поместил положительную рецензию на «Народні оповідання» Марка Вовчка. Когда же в Петербурге вышло новое издание стихотворений Шевченко, то в марте 1860 года на страницах «Отчужденных записок» появилась пространная рецензия на эту, пожалуй, главную книгу во всей украинской литературе. В рецензии утверждалось, что творчество Тараса Григорьевича, наряду с творчеством Пушкина и Мицкевича, представляет собой вершину славянской поэзии. Автором данной рецензии, считают современные исследователи, был Н. И. Костомаров.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В октябре того же 1859 года Костомарова снова пригласили в канцелярию Министра народного просвещения Евграфа Петровича Ковалевского.

– Поздравляю, Николай Иванович, – сказал министр, легко, несмотря на свой почти семидесятилетний возраст, поднимаясь из-за стола. – Его императорское величество прочитал «Стеньку Разина». Вам разрешено служить «по ученой части». Более того, вас утверждают экстраординарным профессором.

Николай Иванович обрадовался, как ребенок.

Он очень старательно готовился к своей первой лекции, впрочем, как и к любой последующей и предыдущей, еще в незабвенном Киеве. Однако перед первым петербургским выступлением волновался как никогда: двенадцатилетний перерыв в педагогической деятельности не мог миновать бесследно. Читатель предстояло историю России удельно-вечевого периода, то есть тех времен, когда на нашей земле насчитывалось много автономных княжеств, в которых практиковалась деятельность народных собраний – вече.

Из канцелярии министра Костомаров отправился напрямик к университетским строениям.

Петербургский университет был основан в 1819 году, однако он долго ютился в случайных зданиях. Лишь в 1835 году этому рассаднику знаний было передано едва ли не самое длинное в Европе сооружение: дом Сената и Двенадцати коллегий, возведенный по проекту Д. Трезини, с участием М. Земцова и Т. Швертфегера. В результате перестройки под руководством А. Ф. Щедрина, проведенной после 1835 года, в центре сооружения появился огромный белоколонный зал, непосредственно к которому вел пышный парадный вход. Все сооружения пронизывал уж действительно самый длинный в Европе коридор, протянувшийся на полверсты. В него выходили двери аудиторий.

Несмотря на это, в царствование Николая I столичный университет влачил довольно жалкое существование. Император держал его в ежовых рукавицах. И по количеству студентов (число их не могло превышать цифру «300», однако часто падало ниже отметки «150»), и по армейской выучке своих питомцев это высшее учебное заведение напоминало вымуштрованную солдатскую роту. Студенты, как правило, носили установленные приказом мундиры, треугольные шляпы, на боку у каждого, с маскарадной легкостью, трепыхалась шпажонка. За всей бутафорией, однако, скрывались вполне «законные» основания и права первого встречного генерала наказать любого жреца науки, который недостаточно ловко вытянулся во фронт или просто без старания носит «оружие».

Особенно неприглядно выглядел историко-филологический факультет. Отдельные курсы в иные годы состояли там из одного-единственного студента. Даже после смерти грозного «Палкина», в 1856 году, по свидетельству тогдашнего абитуриента и будущего писателя А. М. Скабичевского, на филфаке насчитывалось 9 новичков.

Не было у студентов заметного уважения и к наставникам. Университетского ректора П. А. Плетнева, в прошлом близкого друга А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, они без зазрения совести называли «кривой коровой»: из-за болезни старик ходил скосо-

бочившись. Молодым людям, пожалуй, Плетнев казался такой же древностью, как и устаревшая пушка, которая поблескивала в упомянутом коридоре. По велению того же Николая I студенты обучались на этом орудии артиллерийскому искусству, только отшумевшая перед тем Крымская война наглядно продемонстрировала, чего стоит подобное обучение. Не проникались студенты уважением к Плетневу и как к профессору словесности, считая его научный багаж непозволительно легковесным и не подпадая под влияние одного лишь эмоционального изложения. Такое же отношение, правда, было у них и к прочим профессорам. Скажем, на лекции академика А. В. Никитенко ходило не более 3-4 человек. От зоркого глаза молодых людей нельзя было скрыть устарелых взглядов на отжившие педагогические приемы.

Студенческая молодежь к 1859 году жила надеждами на скорые перемены, которые, казалось, носят в воздухе. Пока же, в начале нового царствования, перемены обнаруживались только во внешних признаках: общее количество студентов увеличилось в несколько раз, о треуголках и шпагах начальство больше не заикалось, в коридорах толпилось много посторонних, среди них обнаруживались даже женщины, появление которых там прежде строго-настрого запрещалось. Любопытные особи постороннего пошиба осаждали аудитории, где, по слухам, ожидалась интересная лекция.

И вот, в атмосфере всеобщего ожидания, кто-то впервые произнес фамилию «Костомаров». Все сразу вспомнили, либо узнали, что это – бывший узник Петропавловки, шпиль собора в которой виден чуть ли не с каждого места в городе...

Вступительную лекцию нового профессора назначили на 22 ноября.

В актовый зал в этот день набилось столько народа, что, пробравшись к кафедре, Николай Иванович просто остолбенел. Прежде всего, его ослепили белые колонны. Перехватило ды-

хание – и на протяжении какого-то времени ему не хватало сил произнести короткое слово. Перед глазами колыхались и плыли лица, мундиры, от затаенного дыхания вздувалась чья-то воздушная кисея – кроме студентов на чтение собралось заметное количество женщин; сидело много сановных лиц. Усилием воли профессору удалось сказать первое слово. Дальше мысли, которые прямо-таки теснились в его голове, пришли в движение и потекли в намеченном порядке. Оставалось выплескивать свои убеждения.

– Историю русского народа, господа, надо изучать не только по внешнему проявлению жизни, но и в обычаях, нравах, религиозных верованиях, в поэтическом творчестве...

По мере того, как лектор развивал свои идеи – в зале накапливалось восхищение его логикой, хотя внешне все выглядело почти обычно: за кафедрой стоял бледный от волнения человек, говоривший без аффектации и актерских приемов, вначале даже чуть-чуть заикавшийся, нечетко произносящий слова...

Когда Николай Иванович закончил свое изложение – зал взорвался рукоплесканиями, невзирая на объявления, вывешенные в коридоре: аплодисменты строго запрещены! Студенческая масса – а в зале собрался чуть ли не весь университет! – слетелась сюда с убеждением: здесь будет сказано что-то невероятно важное, чего не дождешься из уст примелькавшихся профессоров. Студенты бросились на возвышение, где стояла кафедра, подняли лектора на руки и понесли к стоявшему внизу экипажу.

– Виват Костомаров!

– Виват история!

– Да здравствует наука!

Позади двигалась такая же плотная масса, в таком же восторге. Кое-где в ней виднелись лица профессоров и высокого начальства – все улыбались. Кажется, озарялись улыбками даже изображения мудрецов, на развешанных по стенам портретах, да белые мраморные статуи, которыми украшен бесконечно-растянутый коридор.

Вступительную лекцию нового профессора вскоре напечатал журнал «Русское слово».

Николая Ивановича тронул энтузиазм его слушателей. Однако же он скептически относился к психологии толпы, зная, как, при помощи ничтожной искры вызывается в людях совершенно противоположное настроение. В тот же вечер нечто подобное было заявлено саратовскому знакомому, вместе с которым Николай Иванович отправился в театр. Профессор предчувствовал грядущее.

Университетские лекции с этих пор стали одним из важнейших элементов научной деятельности Костомарова. Количество слушателей с каждым днем увеличивалось, не вмещаясь в актовом зале. Приходили люди различных занятий и званий, в том числе много женщин и молоденьких девушек. Тексты лекций наперебой выпрашивали столичные журналы. Авторитет профессора рос и укреплялся с каждым часом. Современники считали его стержнем, «вокруг которого собирается молодежь». Заметный демократический деятель М. М. Ядринцев видел в Костомарове не только ученого, но и воспитателя молодого поколения.

Студентов же скоро перестало удовлетворять обожествление любимого профессора в пределах университетских стен. Они принялись наведываться в «Балабинские нумера» – об этом сохранилось достаточно свидетельств.

Передовые отечественные деятели культуры и науки с одобрением относились к успехам Костомарова. Все происходящее дало основание Чернышевскому сделать заключение, что Костомаров пользуется такой славой, о какой не мечтал ни один ученый со дня основания столичного университета.

Чем же так привлекал молодежь Костомаров?

Обратимся к документальным свидетельствам. Екатерина Толстая не присутствовала на первой лекции своего кумира, поскольку графиня Анастасия Ивановна не могла с ходу ре-

шить, удобно ли девушке окунаться в студенческую аудиторию. Графиня-мать съездила в университет сама, а затем уже – с дочерью.

Восторгам юной девушки не было предела. «Говорили, спорили без конца, – вспоминалось ей впоследствии, – вся зала гудела, как пчелиный рой, но входил профессор (...). Небольшого роста, держась немного сутуловато, привычным жестом поправляя очки, разговаривая с окружающими, он поспешно пробирался к кафедре. Он всходил на нее, и полная тишина водворялась в огромной зале. Все взоры устремлялись на того, кого молодежь читала не только как профессора, но и как человека. По лицу Костомарова было видно, что то, что он будет сейчас делать, для него не шутка, не ремесло, а дело его жизни, суть его души. И какая-то искра пробегала между ним и нами».

Или еще не менее ценные ее слова: «Говорил Костомаров стоя, часто облакачиваясь на кафедру. Кое-какие заметки и справки лежали перед ним, но он не прибегал к их помощи, даже цитируя тексты (...). Костомаров не читал, не преподавал, а просто, как в гостиной, беседовал, доказывая свой взгляд; он изъяснял слушателям генезис этого взгляда, проводил их по пути, по которому шел сам, распутывая только перед ними заплетавшие этот путь препятствия. Вам казалось, что сам он, вот сейчас, здесь, перед вами, убедился в том, что говорит, убедился бесспорно, не мог не убедиться, как не можете не убедиться в том же и вы. Он не давал готовых выводов, он исследовал с вами – и выводы сами слагались в вашем уме и являлись как бы вашими собственными. Логично и полно жизни, талантливо и колоритно было его изложение: целые картины давно прошумевшего с яркостью проходили перед вашими глазами; он говорил о людях, живших столетиями тому назад, как о своих близких знакомых, он становился на точку зрения их времени, говорил их языком, восстанавливал связь между ними и вами».

А вот что написал А. М. Скабичевский: «Особенным многолюдием отличались лекции Костомарова. Они читались в акто-

вой зале, причем стулья брались чуть ли не с боя. Лекции Костомарова привлекали слушателей не только богатою эрудицией даровитого ученого, но и обаятельною художественностью.

Представьте себе худощавую фигуру среднего роста с белокурыми усами (бороды Костомаров тогда не носил), с эпически-спокойным бесстрастным лицом, – и таким возвышался он на кафедре перед несметною толпою. Ни признака улыбки, ни малейшего возвышения голоса, – речь его лилась с ненарушимым спокойствием летописного повествования.

Но какая это была речь! Летописи и легенды принимали в устах Костомарова характер живого народного говора. Сухой летописный рассказ или даже перечень передавался с своеобразным юмором, вызывавшим тем больший смех, чем невозмутимо-спокойнее был лектор. Средневековая старина удельно-вечевого периода воскресала перед слушателями в осязательной реальности. Нет ничего удивительного, что и начало, и конец лекций сопровождался громкими и долгими рукоплесканиями».

Вот слова еще одного студента, следившего из другого конца обширного зала – Л. Ф. Пантелеева, впоследствии общественного и революционного деятеля, издателя: «Николай Иванович обыкновенно читал стоя, заложивши правую руку за борт жилета. Обладая феноменальной памятью, – а он еще жаловался, что в Петропавловской крепости потерял половину ее, – Николай Иванович хотя и имел перед собой листочки, но заглядывал в них крайне редко, цитируя наизусть не только выдержки из памятников, но даже томы и страницы изданий памятников. Голос у него был, если можно так выразиться, бабий, притом несколько надтреснутый; но замечательное умение располагать материал, подкреплять и окрашивать свою мысль характерными местами летописи или документов, неподражаемое искусство передавать слова современников их тоном, придавали изложению особенную живость и интерес; вы слышали то властную речь боярина, то бесстрастные слова человека из народа, – все это до

такой степени очаровывало слушателей, что на лекциях Николая Ивановича буквально можно было слышать, как муха летит; часовая лекция проходила как десять минут, и все с крайним сожалением выслушивали звонок; едва замолкало последнее слово Николая Ивановича, как раздавался взрыв рукоплесканий и провожал его до выхода из аудитории».

К описываемому периоду Костомаров выработал четкую схему русской истории. Начало этому процессу положили его статьи и раздумья, относящиеся к тому времени, когда он жил еще в Харькове, затем в Ровно. Исторический процесс рассматривался историком как борьба между удельно-вечевыми началами, характерными для древних русских земель до татаро-монгольского нашествия, и единодержавием, которое, победив все эти начала, укрепилось на их развалинах в XVII столетии.

Во времена Киевской Руси, считал Николай Иванович, когда вечевое устройство русских земель наблюдалось повсеместно, когда не существовало единого крупного государства, — каждая земля вырабатывала самоуправление и через вече (народное собрание) обеспечивала себе автономное существование. Князья отдельных земель выступали как военачальники и временные правители. Все тогдашние славянские земли, так или иначе, входили в состав федеративного, то есть союзного, объединения. То была самая древняя организация наших предков...

Получив кафедру, Николай Иванович задумал планомерное изучение составных частей русского государства. Его интересовали вопросы этнографии, фольклора, отношения местных жителей с соседними народами, которые составляли обширную державу. В первую очередь интересы ученого обратились в сторону литовской народности: к ее становлению, развитию, этнографии, фольклору. Исторiku непременно хотелось выяснить, как вели себя сильные и многочисленные народы в общении со слабыми, какие формы взаимодействия складывались между ними. В университетских лекциях Николай Иванович неустанно

обращал внимание слушателей на историю отдельных земель и княжеств, на отличительные черты «инородцев», вошедших в состав Российской империи.

Чтобы дальше развивать схему русской истории, Костомарову необходимо было выяснить свое отношение к теории норманизма. То была концепция, обосновывающая происхождение российской монархии и русской государственности от призванных на славянские земли варяжских князей. Творцами теории стали немецкие историки Г. Байер, Г. Миллер и А. Шлёцер, а пропагандировал ее историк Н. М. Карамзин. После смерти последнего у теории норманизма появился новый защитник и проповедник – академик Петербургской Академии наук, московский профессор Михаил Петрович Погодин. Сторонник славянофильского направления, Погодин пестовал эту теорию, стараясь так или иначе дезавуировать положение М. В. Ломоносова, однозначно выступавшего против тезиса о призвании чужих князей. Как писал упоминаемый нами украинский историк М. А. Максимович, в писаниях Погодина теория норманизма достигла вершины своего развития. В России она была признана официально, поскольку устраивала правящие круги.

Выступления Костомарова против данной теории встречали противодействие прежде всего со стороны официальных профессоров, членов Академии наук. К примеру, сам Костомаров в своей переписке красочно рассказывает о баталиях, какие он выдержал против академика А. А. Куника, одного из «немцев». Но и со стороны историков славянофильского направления следовали не менее интенсивные удары. М. П. Погодин, встретив Николая Ивановича в Публичной библиотеке, предложил провести открытый научный диспут: славянофила возмутило содержание статьи Костомарова «Начало Руси», опубликованной в «Современнике» в 1860 году.

Погодин не мог спокойно слышать о том, что воинственные князья, которые, по его мнению, заложили основы русской госу-

дарственности, пришли не из варяжских земель, но могли быть приглашены из других, литовских земель, известных под названием «Жмудь».

– Мы должны скрестить мечи принародно, Николай Иванович, – заявил уверенный в победе Погодин. Костомарова он помнил совсем молодым еще человеком, когда тот приезжал из Харькова на его лекции в Московском университете. – Да что мечи! Я выкачу тяжелую артиллерию! Я докажу свою правоту!

– Хорошо! – согласился Николай Иванович.

– Деньги пойдут в пользу неимущих студентов!

– И это хорошо!

Со временем Костомаров признал собственную горячность, с которой дал согласие, но дело было сделано. Петербург загорелся желанием стать свидетелем диспута ученых – старого московского и сравнительно молодого петербургского – кумира студентов. Билеты раскупались молниеносно. Вырученные средства основательно пополнили студенческую казну.

Это был один из первых публичных диспутов в России. Состоялся он 19 марта 1860 года

Мы теперь располагаем множеством его описаний. Одно из них, кстати, сразу было опубликовано Н. А. Добролюбовым в «Свистке» – приложении к журналу «Современник». Там довольно комично представлен Погодин и весьма убедительно обрисована несостоятельность теории норманизма.

На основании дошедших до нас описаний можно составить картину всего происходившего в университете, к зданию которого непрерывно подкатывали кареты, коляски, возки и прочие экипажи. Хотя в университетских коридорах уже постоянно слонялся народ, хотя помещения, где читал лекции Костомаров, наполнялись до такой степени, что на одном стуле усаживалось по два человека, – однако в тот памятный день пресловутая студенческая способность уменьшаться в размерах до фантастических пределов, – превзошла верх возможного. «Сидели на коленях

друг у друга, на окнах, на полу; где, казалось, нельзя и яблоку упасть, там еще помещались люди», – написала Екатерина Толстая.

Было жарко, душно. Собравшиеся с интересом смотрели на две кафедры, поставленные на сцене. И вот над одной из них вырастает фигура высокого, сухощавого Погодина, над другой – неказистый ростом петербургский профессор Костомаров.

Погодин заговорил первым. Он поблагодарил публику за то, что она почтила диспут своим присутствием, поблагодарил и за бурные аплодисменты в ответ на первую благодарность, но дальше заговорил с привычным уже превосходством, с иронией, разбирая статью Костомарова «Начало Руси», помещенную, как он выразился, в каком-то столичном журнале.

Студенты заранее сговорились освистать москвича и с сожалением согласились не делать этого, уступая просьбам Костомарова. Однако теперь они были задеты тоном ученого гостя, который стремился выставить оппонента на смех. Недовольны Погодиным были даже его сторонники.

Когда же заговорил Костомаров, аплодировавшие ему угомонились с трудом. Многим студентам, как полагали современники, в частности, А. М. Скабичевский, «было совсем безразлично, откуда вышла наша первая династия: из Швеции или из Пруссии». Некоторые совершенно не понимали ничего из того, о чем толкуют ученые господа. Уяснивших смысл спора в полном объеме, в зале насчитывалось не более десятка, – но все уже четко видели сияние над головой Костомарова. Он и в самом деле относился к диспуту, а равно и к сопернику, чрезвычайно внимательно, ответственно, уважительно и вместе с тем – абсолютно спокойно. Погодин достаточно быстро понял, что на победу он не может надеяться. Костомаров превосходил его знанием источников, которые он цитировал по памяти, словно они незримо разворачивались перед его глазами, своей убежденностью, верой в духовную силу русского народа. Погодин старался лишь с честью выпутаться из затеянного предприятия.

– Согласитесь, Николай Иванович, что норманны стали хотя бы каплей вина в славянском стакане! Как ни мала эта капля, да она способна окрасить весь стакан!

Костомаров и это сравнение воспринял спокойно и уважительно.

– Капля вина не может окрасить славянского моря!

– Но у меня гомеопатические требования!

– Я не верю в гомеопатию! – не отступал Костомаров. – Выкапывайте артиллерию!

Погодин напомнил о своей двадцатилетней деятельности на ниве русской истории. Советовал, вроде полушутя, пестовать в молодых головах уважение к авторитетам.

Костомаров отвечал решительно:

– Авторитеты надо уважать. Но что бы сказали вы, Михаил Петрович, если бы из уважения к вам я не искал в науке новых дорог?

Последние слова зал покрыл громом рукоплесканий. Когда немного утихло, Погодин раздраженно резюмировал:

– Я не уступлю!

– А я не выступлю из Жмудской области, пока не услышу веских доказательств! – парировал Костомаров.

Погодину оставалось выдохнуть:

– Да здравствует Русь, от кого бы она ни происходила!

Диспутантов вынесли из зала на руках, однако ни у кого из присутствующих не осталось и тени сомнения, что победителем вышел Костомаров.

Полемика продолжалась в журналах, газетах; они вмещали сатирические статьи, рисунки, хотя впоследствии сам Николай Иванович дал всему этому неожиданную оценку: «Собственно говоря, ни Погодин, ни я не были абсолютно правы, но на моей стороне было, по крайней мере, то преимущество, что я понимал чтение рукописей в более прямом смысле и притом таком, какой, по предмету нашего спора, существовал издавна и какой вероятно имелся у наших летописцев... Сама история призвания

князей есть не что иное, как басня (....). Моя теория о происхождении Руси из литовского мира если и не имела под собой неоспоримой исторической истины, то, по крайней мер, доказывала, что приглашение князей наших и их дружин еще с большей вероятностью, чем из Скандинавии, можно выводить из других земель, и таким образом подрывался авторитет мнений, до того времени признававшихся неоспоримыми и занесенных в учебники как несомненная истина».

Тогда же, под впечатлением событий в университете, Костомаров написал Д. Л. Мордовцеву в Саратов: «Норманская теория, выдуманная и утвержденная немцами и их бессознательными последователями, теория, которою Куник оправдывал немецкое влияние на Петра, а Крузе (другой сторонник норманизма – С. В.) употреблял для параллели с событиями половины XVIII века, вытягивая насильно Рюрика за уши в звание голштинца – теория, которая по своей несостоятельности должна бы приводить в краску нас всех – теория та пала, пала, пала. И напрасно Академия, а за нею немцы и педанты думают поддерживать ее. У общества есть свое чутье. Что единогласно освистано – то безвозвратно погибло».

Теория норманизма, вопреки утверждениям Николая Ивановича, все же не могла найти окончательного и однозначного разрешения, не разрешена она и поныне. Однако позиция Костомарова в этом вопросе лишний раз свидетельствует о его патриотических устремлениях, о страстном желании докопаться до истины.

В том же, 1860, году заслуги Костомарова как историка, этнографа, ученого получили заметное признание. В апреле его избрали членом Археографической комиссии. Начиная с 1837 года, комиссия эта превратилась в постоянное учреждение при Министерстве народного просвещения, которое ставило целью систематическое собирание и издание источников по отечественной истории. Комиссия проводила археографические изыскания

по всей России, выявляла ценнейшие документы по отечественной истории также в зарубежных архивах и библиотеках, копировала их, изучала, систематизировала и публиковала. В научном мире известны обнародованные ею «Акты Археографической комиссии», «Акты исторические», «Акты Западной России» и другие. Будучи членом Археографической комиссии, Костомаров принял на себя специальное издание актов, относящихся к Южной и Западной Руси, где помещались материалы по истории Украины, Белоруссии, Литвы. Редакторской работы в ней он не прекращал до конца своей жизни, успев издать в общей сложности одиннадцать увесистых томов.

Тогда же Николай Иванович стал членом и Русского Географического общества, основанного в 1845 году. Четвертое по старшинству, вернее, по времени своего создания во всей Европе, общество уступало лишь Парижскому, Берлинскому и Лондонскому. У его истоков стояли выдающиеся отечественные путешественники, естествоиспытатели, ученые. С 1862 года Географическое общество находилось в доме Министерства народного просвещения у Чернышева моста (улица зодчего Росси, 1. Сейчас оно базируется в переулке Гривцова, 10). Надо сказать, что, по убеждениям, господствовавшим в России в позапрошлом веке, членами Географического общества должны были становиться люди широко образованные. Костомарова, конечно, привлекало в его ряды не пустое тщеславие. Сотрудничая в отделении, которое занималось этнографией, он имел возможность помещать в его изданиях собственные труды. Будучи уже заметным этнографом, он по-прежнему считал, что историк не может не быть этнографом. Без глубокого изучения народной жизни, народных чаяний – нельзя уяснить себе силы, которые обуславливают исторический процесс.

Примерно в тот же период Николай Иванович взялся за публикацию «Памятников старой русской литературы», издаваемых на средства графа Г. А. Кушелева-Безбородко – мецената, беллетриста, владельца журнала «Русское слово». Первый том указанного издания появился в 1860 году.

Вскоре наступили перемены и в личной жизни университетского профессора, который по-прежнему продолжал обитать в «гусарском» жилище в балабинском трактире, невзирая на его неудобства. Он утешал себя мыслью, что оттуда, не говоря уже о соседстве с публичной библиотекой, недалеко и до главного здания университета. Стоило проехать по Невскому проспекту, пересечь Неву – и вот оно, сооружение Петровской эпохи!

В мае в Петербург прибыла Татьяна Петровна. Накануне ее приезда Николаю Ивановичу удалось подобрать квартиру на Девятой линии Васильевского острова, в доме Карманова, куда он и переехал 1 июня.

Дом Карманова стал уже которым по счету столичным пристанищем историка. Оттуда было довольно близко к университету. В университете ученый собирался работать долго, до тех пор, пока хватит сил.

И все ж получилось далеко не так, как предполагалось.

Когда завершился первый для него учебный год в столичном университете – Николай Иванович почти сразу же, в июле, отправился в старинный Новгород. Осенью он намеревался приступить к чтению курса по истории северных русских городов. Где-то в глубине сознания у него вертелась мысль о написании истории Новгорода, а вместе с тем и его собрата Пскова, – итак, необходимо было начинать изучение материалов данной эпохи.

То было уже второе посещение древнего города. Когда-то, в 1848 году, Николай Иванович бродил по берегам Волхова в сопровождении жандарма, который его поторапливал, – теперь же в распоряжении исследователя было вполне достаточно времени. Первым делом ему удалось познакомиться со знатоком местной старины – Иваном Киприяновичем Куприяновым. Город они осматривали на протяжении нескольких дней. Пешком обошли все церкви, обследовали каждое значительное сооружение ушедших времен. Много усилий посвятил Костомаров поискам старинной типографии и выпущенных ею книг.

В Новгород он наведался вскоре повторно, а в Пскове в то лето очутился во время проводов за границу семейства графа Ф. П. Толстого.

Надо сказать, что дружеские, если не сказать большего, отношения с семнадцатилетней уже Екатериной Толстой у сорокатрехлетнего профессора укреплялись и дальше. В графском доме он по-прежнему оставался своим человеком — скажем, вместе с Шевченко и другими близкими графу людьми встречал там новый, 1860 год; гостил у Толстых и в пасхальные праздники, читал на их вечерах всевозможные литературные произведения (Екатерине запомнилось исполнение им отрывка из пушкинского «Бориса Годунова»). Более того, Екатерина Толстая стала не менее частой гостьей в квартире Костомаровых. Девушка как-то сразу глянулась Татьяне Петровне, и добрая старушка, пожалуй, увидела в ней подходящую невесту для сына, такую же молодую, юную, как и полузабытая Алина Крагельская.

Почти что отставленный от Академии художеств, Федор Петрович Толстой, собираясь за границу, намеревался завершить там воспитание младших дочерей. Первую половину лета 1860 года семейство Толстых провело в собственном поместье близ Выборга, на приволье карельской природы. Николай Иванович воспользовался графским приглашением и пробыл там довольно продолжительное время. Вместе с Екатериной он ездил на водопад Иматру, принимал участие в народном праздновании Ивана Купалы. Пришлось точно так же прыгать через пылающие костры, как делалось это на волжских берегах, а еще перед тем — на Украине. Но теперь у него появилась возможность сопоставлять элементы русских и финских верований. Одним словом, даже в минуты отдыха его ни на миг не оставляли научные размышления. Кроме того, вдвоем с Екатериной, они много читали на всех европейских языках, много беседовали. Действительно, в их общении можно было легко усмотреть удивительную близость интересов, характеров — всего того, что необходимо для счастливой семейной жизни.

И вот – старинный Псков.

От Петербурга, в направлении Варшавы, как раз прокладывали железную дорогу. Она тянулась через Псков, пока что не функционировала, однако отдельные участки ее были уже вполне готовы. Конечно, возможность воспользоваться новым, удобным видом транспорта – великосветское семейство Толстых получило в первую очередь.

Древний город Николай Иванович осматривал вместе с Екатериной. Перед расставанием они присели на склоне Довмонта вала, любуясь башнями собора Святой Троицы, вздымавшимися перед их любопытными глазами. Дальше – маячили современные кварталы. Николай Иванович рассказывал спутнице об удачливом литвине, явившемся псковичам под именем Довмонта, который вскоре стал править их городом уже под именем Тимофея. Ученый показывал собеседнице место, где, как предполагалось, гудел мощный вечевой колокол, сзывавший на площадь народ этой древней славянской республики. Там, на площади, псковичи избирали правителей.

Беседуя с Екатериной, Николай Иванович невольно ловил себя на мысли, что ему мучительно хотелось бы заглянуть в далекое будущее. Тоненькой ниточкой, связывавшей обоих, оставался, пожалуй, лишь песик Тобик, которого с готовностью приютила Татьяна Петровна – на время отсутствия хозяйки. Отсутствие это, впрочем, планировалось не на один год...

В то же лето Костомаров побывал в Москве, где ознакомился с древними документами, хранящимися в Троице-Сергиевой лавре, и с документами Волоколамского монастыря, переданными на хранение в Московскую духовную академию. Неоценимым подспорьем в его трудах оказалась помощь академических профессоров, в частности – знатока древних рукописей, профессора А. В. Горского.

Много ценных данных удалось почерпнуть и в самом Петербурге, в Александро-Невской лавре. На монастырское подворье Николай Иванович ездил также довольно часто и просиживал

над бумагами с 9 часов утра до 5 вечера, делая ежедневно невероятное количество выписок. Почти каждый старинный манускрипт приносил ему много радости, так как при внимательном чтении документов подтверждались давнишние предпосылки, что в истории русских земель и городов народ играл исключительно важную роль.

Внимательно изучая историю, Костомаров одновременно не забывал и историю Украины. Он использовал малейшую возможность, чтобы заявить о проблемах земель, которые считал для себя родными, о судьбе ее языка, о надеждах людей.

Еще в Саратове Николай Иванович пользовался всяким выпавшим случаем, чтобы прочесть издаваемую в Лондоне газету «Колокол». О его интересе к изданию Герцена свидетельствует упоминаемый выше пассаж из воспоминаний А. Я. Панаевой: ученый не преминул прочитать номерá «Колокола», которые хранились у Н. А. Некрасова.

Николая Ивановича задела помещенная там статья А. И. Герцена «Россия и Польша», в которой защищался принцип самоопределения народов, а также их добровольного объединения. Статья увидела свет 15 января 1859 года.

Солидарность с Герценом Николай Иванович выразил в начале письма к нему, которое было напечатано в «Колоколе» под заглавием «Украина» в январе уже 1860 года. С глубокой болью описывается в нем картина национально-колониального разгула. Инвективой царскому правительству прозвучали в статье слова о том, что «народность Украины предана забвению», что ее «поэтический язык стал предметом пренебрежения и насмешек», история «или заброшена или представляется в искаженном виде, сообразно благим целям и видам правительства». Далее рассказывалось о Кирилло-мефодиевском братстве, о поэте Т. Шевченко. С другой стороны, с большой благодарностью и признательностью зазвучали слова о том, что куда бы ни направлял император украинских ссыльных – русский народ везде

встречал их приветливо. В статье проступала мысль, что с приходом к власти Александра II положение начало заметно поправляться – значит, ему предстоит поправляться и впредь.

Впрочем, подобные, не совсем оправдывавшие себя надежды на новое царствование возлагали в то время и другие деятели культуры, в частности тот же Герцен. В статье «Украина», наконец, провозглашалось требование предоставить Украине возможность развивать свой язык, чтобы ее народность сохраняла единство с русским народом, могла действительно стать равноправной.

С удивительной страстностью принялся Костомаров и за разработку отдельных вопросов истории Украины, о прошедшем которой тогда мало кто имел какое-то представление. Став членом Археографической комиссии, Николай Иванович выписал из Москвы дела Малороссийского приказа и принялся готовить их к изданию, пригласив себе в помощь знатока украинских древностей – Пантелеймона Кулиша.

Первыми начали выходить из печати документы эпохи Богдана Хмельницкого. Те же, которые хронологически следовали за ними, послужили источниками для изучения деятельности Ивана Выговского – провозглашенного гетманом после смерти Хмельницкого, фактически – вопреки воли покойного. Мотивацией для такого государственного акта была молодость гетманского наследника – Юрия.

Вскоре Николай Иванович написал работу о гетмане Выговском, вознамерившемся зачеркнуть Богдановы достижения и пристегнуть Украину снова к Польше, усугубив тем самым ее государственную зависимость. В нале 1861 года Костомаровым были прочитаны о Выговском несколько лекций – в зале собиралось много народа, невзирая тридцатиградусные морозы, при которых в Петербурге, притом в ветреные дни, невозможно высунуть нос из тепла. (Приготовленный и изданный труд о Выговском попал на глаза Карлу Марксу, был законспектирован им, как и монография о Стеньке Разине).

В результате изучения бумаг, связанных с украинскими древностями, Костомаров поместил в журнале «Современник» статью «О малорусских казаках», которая получила исключительное значение.

Вопрос о происхождении казачества оказался чересчур сложным. Историки толковали его по-разному. Казацко-старшинские писатели, как вот Григорий Грабянка (XVIII век), считали казаков древним рыцарским сословием. Дворянские историки (Т. Миллер, А. Ригельман) воспринимали их как беглецов-крепостных, а в результате не признавали за ними права на существование. Дворянские историки конца XVIII – первой половины XIX столетий усматривали в казаках самобытную организацию шляхты, основанную украинскими магнатами по инициативе польского короля для защиты южных границ Речи Посполитой. Сторонники теории норманизма старались доказать, будто казаки – потомки выходцев из Скандинавии. Ученые, представители так называемой «скептической» школы, прежде всего М. Т. Каченовский, предками казаков представляли воинов тюркского происхождения. М. А. Максимович выдвинул гипотезу, согласно которой казаки не были этнической группировкой, но лишь социальным новообразованием, получившимся из представителей разных национальностей, притом с единственной целью – защиты от татарских поплзновений.

Польские ученые (М. Бельский, П. Пясецкий, В. Коховский) придерживались мнения о чисто «хлопском» происхождении казаков. Они были убеждены, что казаки, являясь носителями анархии, в массе своей выступали против государственных порядков и законов, потому, дескать, попытки польских, как и русских, правительств обуздать непокорных следует рассматривать как прогрессивные устремления защитить порядок и государственное устройство. Подобные взгляды, по убеждениям Костомарова, стали пробивать дорогу и в трудах русских историков.

Изучая вопрос о происхождении казачества, Николай Иванович придерживался выводов, подобных мыслям Максимови-

ча, но придавал им особую окраску. Казачество, считал он, действительно возникло в конце XV века. То была обширная масса свободолюбивого народа, протестовавшего против возложения на него непосильных тягот, налогов и прочего. Вольнолюбивые натуры уходили на окраины Руси, где не существовало крепкой власти. Подобное положение стало характерным не только для украинских земель. Много казаков скапливалось на Дону. Костомаров поставил целью доказать, что казачество, по крупному счету, выступало за демократические принципы, социальное равенство, не отрицая одновременно и того, что при всех положительных сторонах рассматриваемого процесса наблюдались отклонения от этой основополагающей линии. Ученый неустанно доказывал законность действий казацких масс.

Появление статьи вызвало протесты историков. Николая Ивановича стали обвинять в восхвалении казачества, особенно украинского, в возрождении сепаратистских намерений. Реакционно-настроенные круги напоминали о прежних его центробежных воззрениях, о киевском периоде деятельности – итак, обвинения посыпались со всех сторон.

Но историк не унывал. Именно в Петербурге он почувствовал, как крепнут его творческие силы. Он пользовался признанием слушателей, признанием читателей. Он был готов свершить очень многое.

ПОЭТ ШЕВЧЕНКО И ЖУРНАЛ «ОСНОВА»

Утонченные царские наказания не могли сломить воли Тараса Григорьевича Шевченко, однако подорвали его некогда действительно крепкое здоровье. Правда, он долго не верил в плохое, как не могли думать о чем-то подобном и его знакомые, друзья, да и все почитатели украинской музыки. Поэт творил! Одновременно он совершенствовал мастерство гравера, чувствуя, что годы ссылки, проведенные без надлежащей практики, приостановили его развитие как живописца.

В начале 1859 года Шевченко представил в Совет академии офорты «Приятели» (с картины И. Соколова), «Притчу о рабочих на винограднике» (с картины Рембрандта), несколько других работ, на основании чего в 1860 удостоен был звания академика. Тарас Григорьевич и впредь постоянно горел желанием воплотить свои замыслы если не на картинной плоскости, то в стихотворных строчках.

Чем дальше, тем сильнее мечтал Шевченко о времени, когда он сможет переселиться на берега Днепра, торопил земляков с выбором участка земли, посылал им планы будущего жилища — ведь никогда еще не имел чего-то подобного! К тому же он горел желанием обрести личное семейное счастье, искал спутницу жизни. Ему хотелось хоть одним глазом взглянуть на освобожденных из крепостного ярма родных сестер и братьев, помочь которым был пока что не в силах.

Достаточно прожившие на свете Костомаров и Шевченко общались по-прежнему тесно. Дружба их, как обычно, была наполнена спорами, поскольку с годами все отчетливей становилось различие взглядов на общественно-политические явления. Желая радикальных перемен, поэт отвергал иллюзии историка, его либеральное культуртрегерство, религиозные устремления. Правда, нельзя не предположить, что влияние их друг на друга и в этот период оставалось взаимным. И все же неоспоримым фактом следует считать то, что поэт еще решительней отстаивал права мужиков на освобождение вместе с земельными наделами. Стихотворения Шевченко переполнялись нередко чуть ли не призывами к борьбе:

*Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола
її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.*

– Не может быть у барина хороших намерений относительно раба! – был уверен поэт.

Костомаров улавливал в словах друга те же мысли, которые пугали его в устах Чернышевского. Николай Иванович хватался за голову, как и когда-то в Киеве, в собраниях «братчиков».

– Но кровь, Тарас... Ты представить себе не можешь, что значит русский бунт! Особенно хорошо я понял это сейчас, когда перед глазами прошло столько документов... Прогрессу надо помогать просвещением народа, всеобщим просвещением...

– Просвещением? Для кого? Что для подневольного человека означает твое просвещение? Пустой звук, матери его сто копанок чертей!

Татьяна Петровна, видя обоих спорщиков в кабинете сына, тяжело вздыхала:

– Когда вы женитесь, хлопцы?

Старушка отлично ведала, как нелегко обоим ответить на этот вопрос и как нелегко вспоминать им давно отшумевшую молодость. Шевченко вроде бы нашел было девушку, согласную стать женой, – только, увы, она оказалась не тем человеком, которому понятна душа поэта. (Эта девушка, Гликерия Полусмакова (Полусмак), после разрыва с поэтом вышла замуж за парикмахера и некоторое время жила в Царском Селе). А вот Мыкола, ее Мыкола, – побивалась старушка, – у него в голове одна наука. Он лишь себя выставляет причиной того, что его невеста, говорят, вышла замуж за кого-то другого. Разве он, по его словам, надеялся выжить в Алексеевском равелине?

Слабой надеждой для Татьяны Петровны оставался песик Тобик... С какими намерениями возвратится из-за границы Катя Толстая?

Шевченко и Костомаров жили на расстоянии полуверсты друг от друга, так что виделись постоянно. Для этого не было надобности даже выходить на невскую набережную – в ветренные дни там всегда очень зябко. Стоило лишь пройти по Большому проспекту, пробраться по узенькому Академическому пе-

реулку, зажатому каменными громадами (или проделать все это в обратном направлении) – и ты уже возле нужных дверей. Окажешься либо перед дверью академии, где еще долго будешь пробираться по пустым коридорам, подниматься по лестницам, либо возле дверей на Девятой линии. Там сразу же попадешь на глаза Татьяны Петровны.

Встречаясь, друзья непременно «жартували»:

– Когда, говоришь, на твоей свадьбе будем гулять, Тарас?

– В том же году, Мыкола, что и на твоей!

Идея создания украинского периодического издания, по образцу русских «толстых» журналов, давно носилась в воздухе. Об этом мечтал и Тарас Григорьевич Шевченко. Прочитав «Записки о Южной Руси» – сборник фольклорных, литературных и исторических материалов, изданных П. А. Кулишом, – поэт советовал ему в письмах создать свой журнал. Однако Кулиш делал вид, будто не помышляет о чем-то подобном: не дадут разрешения! Зато Кулиш втайне тешился мыслью стать редактором издания, за которое возьмется свояк Белозерский.

Василий Михайлович Белозерский, освободившись из ссылки, уже пробовал себя на редакционной работе в Киеве. Перебравшись в Петербург, он поступил на службу в государственную канцелярию, где заручился рекомендацией для цензурного комитета. Правительство учитывало «чистосердечные» признания по Кирилло-мефодиевскому братству. Кроме того, и это следует считать очень важным обстоятельством, Василий Михайлович пользовался финансовой поддержкой родственника – Николая Ивановича Катенина, богатого помещика, инженера, жившего по соседству с Костомаровым. На будущий журнал Катенин выделил 20 000 рублей.

Не прошло и четырех месяцев после подачи официального прошения, как Главное управление цензуры выдало нужное разрешение. 1860 год ушел на подготовительную работу. Когда 12 января следующего года вышел первый номер задуманного

издания, напечатанного на русском и украинском языках – читатели тотчас поняли, что оно стоит на одном уровне со столичными ежемесячниками.

Передовые великорусские журналы – «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово» – приветствовали новорожденного собрата. Реакционные же отозвались настороженно. Особенно враждебную позицию заняла газета «День». Пресса шовинистического направления обещала при первой возможности дать бой возникшему печатному органу. Не может быть какой-то там украинской литературы, кричали ее корреспонденты, творимой на языке, испорченном в результате польского влияния, фактически – на диалекте великорусского!

Редакция «Основы» размещалась в квартире Белозерского, в огромном доме принца Ольденбургского, возле Круглого рынка (современный адрес – Аптекарский переулок, 4). Достаточно было войти в ворота, повернуть налево, подняться на третий этаж – и ты уже в сердце украинского «часописа» (журнала).

Василий Михайлович на первый взгляд казался человеком мягким. С каждым посетителем и даже случайным гостем он общался приветливо, улыбка не сходила с его все так же красивого лица. Однако он не мог смириться с ролью номинального редактора, находящегося в подчинении Кулиша. Получилось так, что во главе редакции «Основы» оказались сразу три человека: Белозерский, Костомаров и Кулиш, не считая Шевченко, который для украинской литературы стал непререкаемым авторитетом. Его произведения печатались в каждом номере «Основы». Он и сам называл ее «своим журналом».

Каждый понедельник в редакции проводились совещания. Кто поднимался в тот день по упомянутым нами ступеням в доме возле Круглого рынка, непременно видел в гостиной Кулиша, Костомарова и Шевченко. Они сидели на диване, за массивным столом. Шевченко, как правило, оказывался в центре. Все находили его в то время помолодевшим, повеселевшим, в

предчувствии чего-то очень хорошего. Бледное, с желтоватым отливом, лицо Тараса Григорьевича обрело подобие того цвета, который кирилло-мефодиевцы замечали на нем в сороковые годы. Поэт радовался: в новом журнале объединялись известные литераторы, как живущие в столице, так и в далеком Киеве, по всей украинской земле. Наибольшую надежду среди них он по-прежнему возлагал на Марию Александровну Вилинскую, известную как Марко Вовчок. Тарас Григорьевич называл ее дочкой. Она продолжала развивать реалистическую линию.

Белозерский оказался не только действующим и активным редактором, но и вдохновителем издания. Приглашая к сотрудничеству широкие круги современных литераторов, он часто вступал в «суперечки» (споры) с «горячим» Кулишом. Самоуверенный Пантелеймон Александрович верил в собственное, исключительно верное, понимание Украины, ее языка, судеб, привязанностей и надежд. Он неподдельно возмущался тем, что, по его мнению, Белозерский печатает всякий «мусор». Сам же Пантелеймон Александрович бесцеремонно редактировал всё попадавшееся ему под руку. Иногда он коренным образом переставлял чужие произведения на собственный лад. Вся поэзия, опубликованная в «Основе», так или иначе оказывалась созвучной стихам самого Кулиша. Впрочем, и собственные его произведения занимали в журнале довольно много места. Выступая под разными псевдонимами, он писал как по-русски, так и по-украински. Кроме беллетристики Пантелеймон Александрович готовил материалы об украинских писателях прошлых времен, различного рода критические статьи, очень часто – высочайшей пробы.

Белозерский также компоновал исключительно важные материалы. Развертывая перед властями программу будущего издания, он заверял их, что журнал останется далеким от политики. Однако на деле все оказалось иным. В журнале нашли отражение украинская история, промышленность, этнография, просвещение, литература, искусство, язык. Названные отрасли че-

ловческой деятельности в начале 60-х годов находились в ожидании перемен, в надеждах на полную ликвидацию крепостнических тягот. И Кулиш, и Костомаров, и Белозерский видели в новом царе в определенной степени благодетеля. Особые надежды в этом плане высказывались в произведениях Кулиша. Он с восторгом описывал, как желанная воля шагает «по селам веселым». Одновременно Кулиш настаивал и на том, что народу необходимо дать хотя бы начальное образование. Ради этого, призывал устами журнала, следует повсеместно организовывать воскресные школы.

Журнал не успел выработать какой-то цельной программы. На его страницах раздавались различные призывы, но все большей и большей силы набирала идеология развивающейся буржуазии. На пути капиталистического развития Украина выходила в империи на первое место среди прочих земель. Призывы к капиталистической ориентации страны для того времени, безусловно, были прогрессивным явлением, однако в выступлениях журнала одновременно чувствовались и призывы к сохранению патриархальных, помещичьих хозяйств. Итак, «Основа» от первых дней своего существования вобрала в себя противоречия, которые отразились на ее судьбе. К этому нужно добавить, что журнал как-то сразу же стал остро полемичным, вступил в борьбу со многими органами великорусской прессы.

Костомарова справедливо считали одним из главных «фундаторов» (создателей) «Основы». Он не только вошел в число ее руководителей, но стал в ней весьма плодовитым автором. За очень непродолжительное время, выступая под старым своим псевдонимом (Иеремия Галка), Николай Иванович опубликовал в журнале много произведений на украинском языке, большинство из которых были давно написаны, о них уже говорилось. Намного значительней оказались программные статьи полемического характера, где трактовались самые актуальные темы.

Уже в первых номерах издания появился материал о федеративных началах в древней Руси. Николай Иванович доказывал, что русские земли всегда стремились к объединению, что связям их способствовало происхождение народа, общий быт, язык, единый княжеский род, христианская религия. Однако все перечисленное наталкивалось на мощные противостоящие силы. Объединению мешали как природные условия, так и исторические обстоятельства. Таким образом, по убеждению ученого, история Руси – это развитие федеративных начал и их постоянная борьба с истоками самодержавия, идея которого, как он был уверен, привнесена на Русь татарскими завоевателями.

Вступление «Основы» в острую полемическую борьбу ознаменовала следующая статья Костомарова, помещенная во втором выпуске новоиспеченного журнала. Правда, она смогла увидеть свет только после личного обращения Белозерского в цензурный комитет и представляла ответ на выступление краковской газеты «*Czas*» и парижского журнала «*Revue Contemporaine*». Оба органа старались доказать, что украинцы кровно связаны с поляками, а русские, в противовес им, – даже не относятся к славянским народам, происходя от разных уральских племен. Подобными обстоятельствами возрождались вроде «законные» претензии поляков на украинские земли. Костомаров дал надлежащие, научно обоснованные, опровержения скороспелой доктрины, доказывая общность русских племен. Когда же положения опровергаемой им теории были снова подняты на щит (в октябрьском выпуске «*Revue Contemporaine*» появились новые материалы), то в десятом номере «Основы», в статье «Правда полякам о Руси», – Николай Иванович окончательно обосновал связь между Украиной и Россией на всех этапах исторического развития. При этом он указал, что Богдан Хмельницкий исключительно верно угадал народные устремления, воссоединяя оба государства. «Пора забыть о каких-то правах польского народа на Юго-Западный край (читай на Украину. – С. В.). Пора искать справедливых связей», – настаивал Николай Иванович.

Огромный резонанс в обществе получила также его работа «Две русские народности» в третьей тетради «Основы». Разбирая особенности представителей русского и украинского народов, их нравы, обычаи, этнографические отличия, фольклор, условия жизни и прочее, — ученый сделал неопровержимое заключение, что между братскими народами все же существуют различия. Впрочем, таких выводов следовало ожидать, как результата высказываемого им прежде. Украинская нация в его трактовке оказывалась более демократичной, более религиозной, лирической, тогда как русская — склонной к превозношению монархической власти, нацией «барской». Эти особенности способствовали, якобы, усвоению привнесенных извне (татарами) начал монархизма.

Положения о различии русского и украинского народов с готовностью были использованы украинскими националистическими деятелями. Тогда же, в 60-е годы позапрошлого столетия, они вызвали атаки и на автора, и на журнал в целом, причем — буквально со всех сторон. Критиковал «Основу» даже журнал «Современник», тогда как реакционная пресса выступала с позиций откровенного шовинизма. Газета «День», к примеру, доказывала, что северорусские земли во главе с Новгородом, где раньше других регионов древней Руси установился городской строй, — колонизировали прочие русские земли и распространили свое влияние на юг (а не наоборот, как думал ученый), что эти процессы имели прогрессивное значение для истории России.

Костомарова обвиняли в украинофильстве, не замечая того, что, преувеличивая, быть может, различия братских народов, он неизменно ратовал за необходимость их объединения и взаимного дополнения. Особое раздражение у реакционных кругов вызвал майский номер «Основы» за 1862 год, где Костомаров поместил статью об украинской письменности — «Мысли южно-русса. О преподавании на южнорусском языке». Автора беспокоил тот факт, что на Украине не имеется книг на родном разговорном языке, в которых бы популяризировались общечелове-

ческие знания. Он напоминал, указывал, что подобное положение – катастрофически опасно для национального языка. «Пока на южнорусском языке не будут сообщаться знания, пока этот язык не сделается проводником общечеловеческой образованности, до тех пор все наши писания на этом языке – блестящий пустоцвет, и потомки назовут их результатом прихоти, охоты или забавы переряживаться из сюртука в свиту и припишут их более моде на народность, чем любви к народности», – вот его печальный вывод. Между тем он пребывал в твердой убежденности, что «народ должен учиться, народ хочет учиться; если мы не дадим ему средств и способов учиться на своем языке – он станет учиться на чужом – и наша народность погибнет с образованием народа».

Выход из создавшегося положения автор статьи усматривал в том, что украинцам необходимо срочно предоставить книги на их родном языке. Еще не настало время, считал он, чтобы переводить на этот язык ученые произведения – можно давать лишь начальные сведения по всем разделам мировоззрения. Необходимо печатать буквари, катехизисы, жития святых, – в предлагаемой программе чувствуется глубокая религиозная вера самого автора и его искренняя убежденность в основополагающих критериях человечности, заложенных в христианском учении. Далее, продолжал Николай Иванович, нужно знакомить народ с окружающим миром, с явлениями природы. Потом надлежит ознакомить его с грамматикой, с элементарными сведениями об устройстве государства. Однако с распространением исторических и научных сведений торопиться не следует. Еще при всем этом важно проявлять заботу о том, чтобы всё печатанное читалось и обсуждалось, а не просто вбивалось в людские головы.

Для издания книг на украинском языке необходимы были средства. Журнал «Основа» обращался к каждому, кому дорога судьба украинского народа, идеи самого «украинства», – жертвовать ради этого деньги.

Одновременно, предвидя, какие нападки может вызвать его выступление, Николай Иванович подчеркивал, что все высказан-

ное им в «Основе» не в силах вызвать сепаратистских тенденций и настроений. «Только при глубоком незнании смысла нашей прошедшей истории, при непонимании духа и понятий народных, можно дойти до нелепых опасений расторжения связи двух русских народностей при их равноправности», – вот его глубокое убеждение.

Читатели с пониманием откликнулись на статью. Деньги приходили преимущественно из украинских пределов, главным образом – с левобережных земель, но поступали также из других частей империи: из Сибири, с Кавказа, из великорусских губерний. Присылали, кто сколько мог.

Конечно, все это вызвало ответную реакцию со стороны враждебных сил, возглавляемых М. Н. Катковым, В. И. Аскоченским, К. А. Говорским. Они принялись обвинять украинский журнал не только в пропаганде сепаратизма, но и в распространении революционных идей. Да и украинское барство вскоре начало выступать против внедрения воскресных народных школ, а мысль о существовании украинской литературы чуть ли не повсеместно вызывала насмешки. Катков просто шипел: «Оставьте эти затеи, Николай Иванович! Бросьте эти деньги! Они обжигают руки!» В реакционных кругах считалось, что собирать деньги на издание книг на малороссийском языке – гораздо большее преступление, нежели копить их на польское восстание! Через некоторое время Костомарову запретили использовать собранные «Основой» деньги на издание украинских книг.

Поднимал Николай Иванович в «Основе» и другие вопросы. В частности, следует упомянуть его статью «Крестьянство и христианство», в которой он обосновывал тезис о негативном отношении христианского учения к закреплению человека человеком.

Последний номер журнала «Основа» появился в 1863 году, да и он был запоздалым отзвуком предыдущего, 1862 года. Исчезновению издания, блестяще заявившего о себе, способство-

вало много причин. Кое-кто усматривал их в материальном бес-
силии – что во многом соответствует истине. Другие же главным
фактором считали цензурные придирки, которые подогрева-
лись выступлениями реакционеров во главе с Катковым, а еще –
деятелями сионистского толка, – также небезосновательно. Тре-
тьи же корень зла усматривали в идейных схватках между Косто-
маровым и Кулишом, Кулишом и Белозерским. С Кулишом, мол,
после смерти авторитетного для всех украинцев Тараса Григо-
рьевича Шевченко, никто не в силах справиться, даже сам Косто-
маров. Конечно, можно вообразить, до каких вершин вознесся
бы украинский журнал, если бы не смерть Кобзаря...

Но, как бы там ни было, журнал прекратил свое существова-
ние. Квартиру Белозерского – его редакцию – опечатали. Неиз-
вестно, куда исчез обширный архив...

И все же одну из главных причин столь неожиданного кра-
ха «Основы», как считает большинство исследователей, следу-
ет усматривать в том, что редколлегия не выработала единого
взгляда на общественные процессы, а старалась объединить на
страницах издания разнородные концепции.

Шевченко скончался в воскресенье, утром, когда за стенами
Академии художеств рождался новый весенний день...

Накануне, в пятницу, Николай Иванович навестил его. Поэт
сидел за столом, рассматривал начатые работы и убеждал окру-
жавших, что чувствует себя совершенно здоровым.

– Вот хоть завтра цепа в руки – и молотить! Даже чуб не взо-
прет!

Николай Иванович, приглашая поэта в гости, всё же совето-
вал отлежаться, не злоупотреблять готовностью работать. Пере-
давал приветы от Татьяны Петровны и приказывал присылать
кого-нибудь на Девятую линию, если возникнет такая потреб-
ность.

Было довольно темно, и старый солдат, академический слу-
житель, зажег потребные свечи. В колеблющемся пламени – из

окон дуло – на мольберте, посреди комнаты, шевелился обнаженный человек, написанный кистью Тараса Григорьевича. На стене сверкала привезенная с Украины бандура. Из полумрака проступали пучки травы, перевязанные цветными ленточками, какие встречаются в косичках крестьянских девочек. Исключительно всё на казенных стенах напоминало об украинской земле.

Поэт и ученый расстались, полные надежд на новую встречу...

Утром того воскресного дня Тарас Григорьевич попросил отставного солдата поставить самовар (а недавно справлялся с этим собственноручно, притом весьма ловко). Напившись чаю, оделся без привычного в стоны и, по крутым ступенькам, начал спускаться вниз, в мастерскую.

Для поэта начинался сорок восьмой год его трудной жизни. В голове раздавались еще поздравления друзей, которые навещали довольно часто, обеспокоенные приступами сердечной болезни. Желание немедленно приступить к работе, навёрстать упущенное – оказалось настолько неодолимым, как если бы кто-то подталкивал к ней.

– Ишь, нагородили ступенек...

По рассказам служителей, поэт мгновенно потерял сознание и без крика рухнул вниз головою.

– Тарас Григорьевич! Тарас Григорьевич! – застонал омертвевший солдат, как раз собиравшийся поднести свечу.

Старик ткнул открытое пламя куда-то на пол, стараясь поднять Шевченко, умоляя идти в кровать, звал на помощь другого слугу, – но голова Тараса Григорьевича остывала у него в руках...

Тело умершего три дня пролежало в академической церкви. Над гробом, обитым белым глазетом, произносилось много речей: по-русски, по-украински, по-польски. Присутствующих поразили слова Владислава Хорошевского, польского студента, пророчившего покойному славу одного из самых знаменитых певцов славянского мира.

Речь Костомарова, произнесенная над прахом друга, в марте того же года была напечатана в «Основе» – у нас имеется ее полный текст. Вот она: «Гроб его окружен не чужими. Поэт не остался чужим и для великорусского племени, которое воспитало его, оценило и приютило в последние дни его, после долгих житейских страданий... Шевченко не был только поэтом для Украины: он – поэт сельского народа, воспитавший в себе поэтическое вдохновение... и передавший его образованному миру в прекрасных образах, добытых им из сокровищницы своей богатой природы. Простимся с дорогим поэтом словами украинской думы: «Слава твоя не вмере, не поляже».

Костомарова душили рыдания. Он не смог закончить речь...

Белый гроб спустили по ступенькам академической лестницы. До Смоленского кладбища, через весь Васильевский остров, его пронесли на руках студенты...

Вот каким (со слов Сергея Николаевича Терпигорева) видели в тот день Николая Ивановича: «Без шапки, в спустившейся с одного плеча енотовой шубе, стоял Костомаров с растерянным и, мне показалось, заплаканным лицом. Он казался невыразимо жалким, сиротливым в это время. Кто-то стоял возле него, кажется, Кулиш, что-то говорил с ним, но он его не слушал, поворачивая голову то в ту, то в другую сторону, в ожидании чего-то: ждал ли он, когда принесут, чтобы опустить, наконец, в могилу его закадычного друга Шевченко, или другого чего, но только он все оглядывался, тяготился, стоя на месте, путался в шубе и, наконец, вдруг споткнулся и упал. Я кинулся к нему и помог ему вместе с другими подоспевшими к нему подняться и сколько-нибудь пообчиститься от налипшей на него при этом глины, пещу, земли. «Спасибо, спасибо, благодарю, – сквозь слезы шамкал он, ловя помогавших ему за руки и крепко пожимая их. – Ах, Господи... Какая потеря! – все повторял он».

Сразу же после похорон, по свидетельству Костомарова, украинская молодежь, преимущественно студенческая, решила

просить разрешения перевезти прах поэта на Украину, чтобы исполнить его последнюю волю, выраженную в «Завещании» 1845 года:

*Як умру – то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій...*

В апреле того же года, вырытый гроб Шевченко, покрытый, по казацкому обычаю, красной тканью – китайкою, провезли через весь Петербург, через Неву, по Невскому проспекту до Николаевского вокзала. Там его установили в специальном вагоне, – чтобы следовать на берега Днепра...

Николай Иванович до конца своей жизни хранил благоговейное отношение к наследию великого украинского поэта.

Уже в марте в университетском зале был устроен литературный вечер, посвященный памяти Шевченко. Деньги от него пошли в помощь неимущим учащимся. Костомаров выступил на вечере с «Воспоминаниями о двух малярах». Один из них был знакомым ученому крестьянским парнем, из-за жестоких обстоятельств жизни так и не получившим возможности развить свой природный дар, другой – Тарасом Григорьевичем.

Николай Иванович определял роль Шевченко как гениального поэта, творчество которого имеет интернациональное значение. Шевченко заговорил своими стихами так, как сам народ еще не в силах был выражаться, но уже готов был выражаться именно так. Шевченко сумел угадать народные устремления. Муза поэта шла впереди, указывая людям пути борьбы.

Слушатели проводили историка долгими аплодисментами.

Статья была напечатана в журнале «Основа».

Впоследствии Костомаров решительно осуждал П. А. Кулиша, который называл музу Шевченко «пьяной», намекая на то,

что после ссылки Тарас Григорьевич грешил пристрастием к зеленому змию. Конечно, данный факт признавался и Костомаровым, однако Николай Иванович утверждал, что печальное обстоятельство не могло отразиться на силе поэтического гения украинского певца.

Особое значение придавал Костомаров творчеству Шевченко в статье, вошедшей в сборник «Поэзия славян», изданный в Петербурге в 1871 году. «Такой поэт, как Шевченко, – подчеркивалось там, – есть не только живописец народного быта, не только воспеватель народного чувства, народных деяний, – он народный вождь, возбуждатель к новой жизни, пророк!»

На двадцать четыре года пережил Костомаров своего великого друга. И чем дальше отодвигались мартовские дни (по старому стилю – февральские) – тем рельефнее вырисовывался образ поэта, и тем точнее определялось его место в истории. Поэзия Шевченко, считал Костомаров, является законной дочерью поэзии XVI–VII столетий, которая, в свою очередь, соприкасается с временами древними, с жизнью неизвестного миру певца, сотворившего поэму о древнерусском князе Игоре и его современниках.

Николай Иванович трактовал основные идеи Кобзаря как призыв к единству украинского и русского народов – в противовес украинским националистам, которые видели в произведениях Шевченко враждебное отношение к их сотрудничеству и воссоединению. Следственно, Костомаров считал Шевченко выразителем устремлений двух братских народов, отсюда – поэт как украинским, так и русским!

Во времена жестокой реакции, в период, когда украинский язык запрещали указами (сначала Министром внутренних дел Валуевым был подготовлен тайный циркуляр 1863 года, а в 1876 году издали царский Эмский указ) – Костомаров осмеливался публично читать шевченковские произведения, хотя иногда, по соображениям цензурного же характера, приуменьшал свою личную дружбу с ним. Николай Иванович собирал автогра-

фы Тараса Григорьевича, хранил рукописи его повестей, написанных по-русски (Кулиш, скажем, открыто, еще при жизни Шевченко, жалел, что не может приобрести их и сжечь). Как самую дорогую реликвию берег Николай Иванович подаренный автором офорт «Приятели» (по картине И. Соколова), принял на себя обязанности редактора посмертного «Кобзаря».

Беспредельное уважение к Шевченко переполняло Костомарова вплоть до последних дней его жизни, до той поры, когда уже не было сил передвигаться – его провозили в кресле мимо бюста поэта, стоявшего на книжных полках.

– Видишь, Тарас, как ездит твой брат! – вскрикивал смертельно больной историк.

Но и это обращение возвращало ему частичку телесных сил.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БУНТ И... ОТСТАВКА

1861 год принес много всяческих перемен, но, пожалуй, еще больше виделось их впереди.

Манифест об отмене крепостного права, провозглашенный в церквях, знаменовал конец ожиданиям. За три года до описываемых событий, Костомаров довольно скептически высказывался относительно надежд на урегулирование крестьянской жизни. Он внимательно изучил все эти вопросы еще во время своего пребывания в Саратове, служа делопроизводителем в Комитете по улучшению быта крестьян. «Признаюсь, – написал он другу В. И. Ламанскому, – я не разделяю увлечения, которое овладело благородными сердцами, истомленными долгим ожиданием и потому довольными малым осуществлением давно желанного. Поближе рассмотрим дело... На бедного крестьянина навязывают усадьбу, которую оценят...кто?.. дворяне... Разумеется, они установят отношения так, чтобы как можно было выгоднее для дворян и невыгоднее для крестьян, ибо у этих двух сословий интересы противоположны... Знаете ли, что говорят крестьяне? Это, батюшка, такая воля, что хуже неволи».

Примерно в то же самое время Костомаров сознавался, что ему понравились доказательства Чернышевского касательно крестьянского вопроса, хотя не понравился их жесткий, бескомпромиссный тон.

Обнародование манифеста вызвало огромные надежды в мыслях либерально настроенных умов. Казалось, они не ошибались в добрых намерениях воспитанника уже покойного поэта В. А. Жуковского. Костомаров и сам поддался всеобщему увлечению, считая, что и Шевченко обрадовался бы «воле», чуть ли не ликовав бы по поводу того, что «Россия свергла с себя постыдное бремя, висевшее на ней в продолжение веков, и вступала в новую жизнь свободной христианской нации». Ученому казалось, что «после отдаленной от нас эпохи крещения при Владимире, еще не переживал русский народ такой важной минуты. После этого оставалось желать одного – просвещения освобожденного народа...»

Но провозглашенная воля, в силу множества обстоятельств, оказалась в значительной степени призрачной. Она внесла в крестьянскую жизнь большое разочарование: на протяжении многих лет крестьянам предстояло выкупать предназначенные им наделы, а цены на землю сразу подпрыгнули в несколько раз. Селу угрожал настоящий голод.

Передовые мыслители заранее предвидели подобный ход реформы, но даже те среди них, кто был далек от прогнозов, – и те как-то быстро проникались уверенностью, что манифест обманывает народные чаянья. От царистских иллюзий избавился вскоре и лондонский изгнанник А. И. Герцен, в пылу восторга закричавший было в адрес Александра II *Galilae, vicisti!* («Ты победил, галилеянин!») Повторение предсмертных слов римского императора Юлиана-отступника).

В стране с каждым днем нарастала ситуация, которую горячие головы именовали «революционной». Не дремали и силы реакции.

Крестьяне, интуитивно не веря в провозглашенную волю, отваживались на восстания, бунты. Волнениями были охваче-

ны сотни дворянских поместий (называлась грандиозная цифра 1776). Особого размаха движение достигло в Казанской губернии, в селе Бездна. Между тамошними мужиками распространялась какая-то прокламация, где говорилось о «настоящей» воле, припрятанной барами, о «настоящем» манифесте. Вздуряженные крестьяне требовали отдать землю без выкупа. Нечто похожее происходило и в селе Кандиевке Пензенской губернии. Не соглашались с царской волей также крестьяне по обоим берегам Днепра.

На усмирение восставших власти бросали солдат, вооруженных пушками – как на войну с неприятелем.

После провозглашения реформы революционное движение все увереннее втягивало в себя и передовое студенчество.

К активным действиям молодых людей прямо или косвенно призывал журнал «Современник». В России к тому времени действовало тайное объединение «Земля и воля», идейным вдохновителем которого считался Н. Г. Чернышевский. В начале 1861 года он составил агитационную прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Даже не будучи обнародованной, она открыла «зеленый путь» другим агитационным материалам. Многие студенты становились членами «Земли и воли». Молодые свободолюбцы вели усиленную пропаганду, печатали призывы в подпольных типографиях.

В Петербурге студенческие выступления вспыхнули в самом начале 1861 года. Сигналом для них послужили события, происшедшие в Варшаве, где, во время подавления народных демонстраций в память событий 1831 года, было убито пять человек. В Петербурге, в костеле святой Екатерины, который украшает Невский проспект, возвышаясь напротив Гостиного двора, – по убиенным служили панихиду.

Костомаров работал в читальном зале Публичной библиотеки, когда прибежал запыхавшийся Кулиш и сообщил ему о предстоящем молебствии. Как передавал впоследствии Николай

Иванович, из уст Кулиша он услышал, будто в костеле итальянские певцы исполняют реквием Моцарта. Костомаров оставил занимавшие его летописи и поспешил в указанный храм.

Под мощными сводами католического костела, в пламени многочисленных свечей, действительно раздавались звуки органной музыки, однако не той, о которой твердил Кулиш. Стоявшие на коленах студенты, в большинстве поляки (в столичном университете они все еще составляли треть учащихся) пели, как сообщает Николай Иванович, революционные песни. «Не желая быть участником какой бы то ни было демонстрации и не сочувствуя им» (полякам – С. В.) вообще, Костомаров, по его словам, покинул костел.

Но присутствие профессора не осталось незамеченным. Студентов-великороссов, вольных или невольных свидетелей богослужения, допрашивали в полиции, а к Костомарову попечитель учебного округа И. Д. Делянов приехал лично на квартиру, на Девятую линию. Таким вот образом Николай Иванович попал в число подозреваемых в неблагонадежности. Очень скоро о событиях в католическом храме отозвался и лондонский «Колокол». На его страницах появилось сообщение, будто Костомаров принимал в панихиде непосредственное участие.

Конечно, правительство понимало, какая опасность таится в студенческих массах, а потому решило принять меры предосторожности. Во-первых, нельзя было допускать чтения лекций, содержание которых может натолкнуть молодежь на нежелательные размышления. Попечитель Делянов «уговорил» Костомарова не читать, к примеру, на годовом университетском акте приготовленную им речь о К. С. Аксакове, славянофиле (славянофилы в ту пору представлялись правительству опасными, как никогда прежде: они, в частности, воскрешали воспоминания о русских древностях, об автономии старинных русских городов). Вместо Костомарова собирався выступать другой университетский профессор с «дежурным» сообщением. Однако студенты с решением администрации не согласились. «Можно представить

себе, какой взрыв негодования возбудило это распоряжение во всех собравшихся, — вспоминает А. М. Скабичевский. — С самого начала акта среди студентов началось сильное брожение: из уст в уста переходила весть, что речь Костомарова запрещена III отделением, причем вожаки агитировали не давать читать заместителю Костомарова и требовать, чтобы читал последний».

«И действительно, — вспоминает тот же Скабичевский, — едва вззошел на кафедру заместитель Костомарова, — раздались оглушительные крики всей многочисленной толпы: «Речь Костомарова!.. Речь Костомарова!..»

«Крики эти, — цитируем дальше Скабичевского, — продолжались, по крайней мере, с четверть часа, сопровождалась топанием ног и стучанием стульев об пол, при всеобщем ужасе и смятении. Наконец, так как крики продолжались, с каждой минутой принимая все более и более грозный характер, все присутствующие на акте сановники и министр, и попечитель, и митрополит, и профессора пустились в бегство, полные панического страха прямо через стол, за которым торжественно заседали, а затем по стульям, падая и чуть не давя друг друга.

Акт был прерван, но студенты продолжали бесноваться, требуя теперь уже не речи Костомарова, а ректора для объяснения с ним.

Долго не являлся Плетнев; но, так как крики продолжались и конца им не предвиделось, до призвания же в стены университета полицейских и военных сил для разгона бушующей толпы в то время еще не додумались или не смели предпринимать репрессивных мер перед самым выпуском манифеста об освобождении крестьян, то Плетнев решился, наконец, предстать перед грозною толпою.

И вот явился он, бледный и дрожащий от страха, а за ним шествовала вся его семья, решившаяся разделить его трагическую участь. Но никакой трагедии не последовало: студенты, напротив того, встретили его долгими и единодушными аплодисментами. Плетнев взгромоздился на тот самый покрытый зеленым

сукном стол, за которым происходил перед тем акт, и объявил, что, согласно общему желанию, речь Костомарова будет прочтена в тот же вечер в университетской зале, и желающих послушать он просит пожаловать».

Студенты все же добились победы. Речь Костомарова была прочитана через несколько дней, затем напечатана в журнале «Русское слово», издана отдельной брошюрой. Однако победа студентов оказалась последней, хотя она закончилась тем, что Костомарова после чтения молодые люди подняли в кресле и торжественно, над толпою, вынесли из зала. Николай Иванович принимал все это уже как должное. «Я никогда не забуду того невозмутимого спокойствия, какое сохранял он во все продолжение этого триумфа!» – написал пораженный Скабичевский.

Кроме этого, начальство очень заботилось об освобождении университетских коридоров и аудиторий от неизвестных людей, об отсоединении от них своих питомцев. С этой целью в мае 1861 для студентов были выработаны новые правила. Ими приостанавливалось функционирование студенческих касс взаимопомощи, запрещалась деятельность их библиотек, не разрешалось проводить собрания. Серьезный удар наносился также тем обстоятельством, что от платы за обучение впредь освобождались лишь два студента на весь учебный округ. Это значило, что многим неимущим придется оставить *alma mater*, именно – наиболее неимущим, а, значит, как и рассчитывало начальство, – наиболее радикально настроенным. Вводились в практику так называемые матрикулы, которые одновременно служили и студенческим билетом, и видом на жительство. В этих персональных книжках вмещались новые правила. Туда предполагалось записывать провинности и неблагоприятные поступки их владельцев.

Николай Иванович, надо сказать, мало что знал о задумках администрации. В конце апреля, когда закончилось чтение лекций и были проведены годовые экзамены (академик А. В. Ни-

китенко, с плохо скрываемым злорадством, отметил в дневнике, что питомцы Костомарова крайне плохо ориентировались в преподаваемом им предмете) – сам Николай Иванович уехал в Новгород.

В новгородском зале Дворянского собрания он провел публичные чтения, и его лекцию, носившую название «О значении Новгорода в русской истории», слушатели восприняли восторженно. Содержание ее возбуждало в них сильные патриотические чувства. Перед глазами новгородцев вставали картины давно отшумевшей жизни, которые служили контрастом к современности. Но вместе с тем лектор перебрасывал мосток из древности в современность, говорил, что нынешнее, окрепшее государство обязано обратить внимание на то, каким образом лучше всего обеспечить развитие человеческой личности. Сборы от лекции ушли в пользу училища, разместившегося в старинной крепостной башне, носившей название «Вечевая».

Затем, вместе с П. А. Кулишом, Николай Иванович уехал за границу, где познакомился с древними германскими городами, побывал в Швейцарии, Франции, Италии.

В Петербург Костомаров возвратился в августе, но университетские перемены, пожалуй, коснулись его непосредственно только осенью, так как он по-прежнему корпел над рукописями, отыскивая их то в архивах Санкт-Петербургской духовной академии, то отправляясь ради занятий в Москву. В университете его поразили новости: ушли в отставку министр народного просвещения Е. П. Ковалевский (его «министерствование» современники окрестили «засыпающим») и попечитель учебного округа И. Д. Делянов, отправился за границу ректор П. А. Плетнев, а его обязанности временно исполнял И. И. Срезневский.

В самом университете тем временем раз за разом возникали стихийные сходки. Молодежь составляла адреса-протесты, организовывала комитеты, подкомитеты. В ее рядах уже выделялись собственные ораторы, своеобразные «вожди». Пальму

первенства в этом держали студенты Утин, Френкель, Никольский. Молодежь решительно отказывалась брать вводимые ма-трикулы, а начальство в ответ приказывало закрывать аудито-рии, прекращать занятия. Запертым оказался даже актовый зал.

Приехав к зданию Двенадцати коллегий, Костомаров не-вольно стал свидетелем бурной сцены: студенты, возглавляе-мые Н. Утиным, взломали дверь в актовый зал и потребовали для объяснений Срезневского. На стенах университетского ко-ридора кто-то вывесил прокламацию с призывами к решитель-ным действиям. Да, в императорском университете, впервые за его многолетнюю историю, происходили стычки с полицией! И если учебное заведение не закрывали окончательно, чего тре-бовал Министр внутренних дел П. А. Валуев, – то от подобного удерживали только возражения графов Панина и Горчакова: их сыновья учились в нем на последних курсах.

Разговор молодых «строптивцев» с И. И. Срезневским не дал положительных результатов. Университет был все-таки закрыт по распоряжению нового Министра просвещения – адмирала Е. В. Путятина. (Его «министерствование», кстати, вскоре назва-ли «отупляющим»).

Видя безуспешность действий, главы студенческого сопро-тивления решили идти на квартиру к новому попечителю учеб-ного округа. Шествие назначили на 25 сентября. В указанный день сплошная синемундирная масса, насчитывавшая несколь-ко сотен универсантов, заполнила Невский проспект. К ним при-соединялись также студенты Медико-хирургической академии, молодые офицеры. По пути, как свидетельствуют очевидцы, какой-то юноша, в расстегнутой форменной тужурке, забежал на квартиру к Чернышевскому в Поварском переулке, и Николай Гаврилович, выйдя из дома, беседовал с ним и с присоединив-шейся к нему прочей молодежью.

Новый попечитель округа, генерал Г. И. Филипсон, жил на Колокольной улице. Полиция успела предпринять меры, сту-дентов встретили солдатские ряды. Однако на применение во-

инской силы никто не рискнул отважиться. Начались переговоры. Осмелевшие студенты на глазах удивленных обывателей подхватили под руки вышедшего к ним генерала и повели его к университету, снова через весь город, снова по Невскому. На университетском дворе, как записал в тот день в дневнике Валуев, «явно организовывалось восстание». Будучи застигнутым врасплох, генерал Филипсон пообещал, что университет будет всенепременно открыт.

Однако молодежь, поверившая начальству, была обманута. Вечером состоялось совещание в Зимнем дворце под председательством великого князя Константина Николаевича. Результатом его стали ночные аресты двадцати шести ярых зачинщиков. Это обнаружилось утром, когда их товарищи, оставшиеся на воле, подошли к университету: он оказался закрытым, как и накануне.

Студенческие волнения все же не утихали. Возле здания Двенадцати коллегий творилось что-то невообразимое. Туда стягивались войска, там слышался барабанный бой, стоял топот сотен сапог. На горячих конях гарцевали жандармские офицеры и конная полиция. В пылу столкновений молодежь стаскивала с коней охранников порядка. Кому-то из студентов отрубили ухо. Слышались выстрелы.

Однако никто из начальства по-прежнему не решался отдать распоряжение на применение силы. Александр II еще в августе отправился в Крым, наследник престола находился в Царском Селе.

Наконец было объявлено, что университет откроется в среду, 11 октября. Только и этот день не принес успокоения. «Матрикулистов» – так полупрезрительно называли «смельчаков», соглашавшихся взять матрикулы, – по некоторым данным насчитывалось человек 50. Остальные гнули свою линию. На следующий день, 12 октября, в соответствии с царским приказом, студентов окружили тройным кольцом солдат, загнали в университетский двор – и там начались сплошные аресты. Арестован-

ных оказалось более 300 человек. Такого количества не вмещала даже Петропавловская крепость. Многих молодых людей в студенческих тужурках отправляли на судах в Кронштадт, в его крепостные стены.

Еще в начале неравной борьбы многие студенты приходили за советами к Костомарову. Николай Иванович с удивлением читал на страницах заграничных газет сообщения о своей чересчур активной роли в выступлениях молодежи. Зарубежные корреспонденты называли его вдохновителем движения; от прочитанного в прессе он сильно тревожился.

Трудно сказать, что начинало брать верх в беспокойных мыслях ученого: то ли опасения, что новый арест может лишить его возможности заниматься историей, то ли убеждения, что борьба бесперспективна, несвоевременна, когда и без нее ожидаются перемены по велению нового царя, что ведется она совершенно не так, как следует, что она призывает к кровавому бунту, — только профессор, по мнению молодых людей, отвечал им как-то уклончиво. Он не знает, дескать, проблем своих юных друзей, его заботит одна лишь наука. Это важно не только для современников, но и для последующих поколений. Ему хотелось бы кое-что успеть совершить при жизни.

Студенты дивились подобным ответам и выражали недовольство наставником, от лекций которого недавно приходили в восторг.

Жизнь в университете еле теплилась. Даже «матрикулисты» не торопились приступать к занятиям: на лекциях Костомарова их собиралось ничтожное количество. Настроение Николая Ивановича точнее всего передает письмо к Екатерине Толстой, начатое им в понедельник 15 октября 1861 года. «В субботу (т. е. 13 октября), — написал он, — я читал лекцию, набралось человек восемь. Но, признаюсь, как-то странно и неловко: точно как будто хозяева собираются на житье-бытье после пожара... Те восемь, что были у меня на лекции, пошли неохотно, никто не за-

писывал, никто меня не слушал, никто не смотрел на кафедру. Если еще таких две-три лекции... слуга покорный! Я уйду! Ученое приложение науки возможно только при дружелюбном, обоюдном согласии профессора с его аудиторией. Под палкою нельзя ни читать, ни слушать науки».

Следует отметить, что при всем страстном желании читать лекции, общаться с молодежью – сомнения подобного рода посещали Николая Ивановича еще задолго до этого. Скажем, подобные мотивы слышались в его письмах, относящихся к осени 1860 года. Увлечшись историей самозванцев на Руси (речь о них впереди), он написал в Саратов Д. Л. Мордовцеву: «Мысль о самозванцах, как образ любовницы, преследует меня. Если это обратится в страсть, в крепкое желание – я покину кафедру, ибо по моему характеру занятие кафедры несовместимо с таким предприятием. Я уеду к Вам в Саратов и поселюсь там до тех пор, пока не кончу с историей самозванцев».

Студенческие волнения вспыхивали и по другим городам: в Москве, в Харькове, в Казани, Киеве. Власти, где только могли, настраивали против студентов народные массы, заверяя их, что это дворянские сынки выступают против освобождения мужиков из крепостной зависимости. В Киеве, к тому же, реакционные силы стремились играть на низменных националистических чувствах: там по-прежнему набиралось много учащихся поляков.

После расследования дела петербургских студентов некоторые из арестованных попали в ссылку, многим было запрещено учиться дальше. Остальным разрешили досрочно сдавать выпускные экзамены. Вопросы эти, как свидетельствует запись в дневнике министра внутренних дел П. А. Валуева, решались на самом высоком уровне. Все мероприятия были направлены на то, чтобы скорее развалить молодежные объединения, разрушить установившиеся между ними связи.

Сам университет, в конце концов, несмотря на противодействие графов Горчакова и Панина, под нажимом Александра II

был закрыт 20 декабря, причем уже надолго. Официально сообщалось, что существование такого учебного заведения не может быть полезным для юношества, которое действительно желает учиться. Университету, дескать, нужен абсолютно иной устав. На последнем настаивал новый, назначенный вместо Путьянина, Министр народного просвещения А. В. Головнин, а с ним солидаризировался и новый петербургский генерал-губернатор князь А. А. Суворов, внук знаменитого полководца.

В связи с тем, что университет был закрыт на неопределенный срок, студенческий комитет (в его состав входили члены объединения «Земля и воля» Н. И. Утин, Л. Ф. Пантелеев, П. П. Ван-дер Флитт, С. П. Печаткин и другие участники волнений 1861 года) – решил организовать специальный цикл лекций, соответствующий университетской программе, т. е. – основать фактически особый, «народный» университет. Министр Головнин согласился с их требованием. Для такой цели студенты сняли вместительный зал в городской Думе на Невском проспекте (дом № 33). Подобное помещение нашлось и в расположенной неподалеку немецкой школе – Петершуле (Невский 22–24). Для практического осуществления программы пригласили университетских профессоров, среди них Н. И. Костомарова, К. Д. Кавелина, В. Д. Спасовича, Н. И. Утина (брата Утиных-студентов), М. М. Стасюлевича, Д. И. Менделеева, П. В. Павлова и многих других. Все они вели свои курсы бесплатно, собранные средства пополняли студенческую кассу.

Власти внимательно следили за действиями учащейся молодежи. Они не позволили прочитать для нее курс политэкономии, который согласился подготовить Н. Г. Чернышевский. Не получили разрешения читать в народном университете и другие прогрессивные деятели науки и культуры.

Профессора Костомарова обрадовало возникновение «вольного» учебного заведения, куда могли иметь доступ люди различных званий и состояний, а также лица женского пола. Из ва-

рианта его «Автобиографии», напечатанного в «Русской мысли» в 1885 году, узнаём следующее: «... я начал писать в газетах об открытии вольного университета и вместе с другими хлопотал о разрешении публичных лекций...». Да, в «Санкт-Петербургских ведомостях» еще осенью 1861 года он действительно поместил по этому поводу несколько статей, где изложил собственные намерения и надежды. Теперь же слушатели до отказа заполняли огромный и светлый думский зал, набивались даже на галереи, ловили каждое слово лектора, примеряя все сказанное к окружающей современности.

В соответствии со своей теорией, Николай Иванович разделял русскую историю на две части: удельно-вечевую Русь и Русь самодержавную. Первую часть он успел изложить в университетской аудитории, а в зале городской Думы намеревался осветить историю самодержавия.

Начальство еще пристальней следило за деятельностью популярного профессора, понимая его исключительно влияние на молодежь. Скажем, когда на 14 декабря 1861 года в Казанском соборе была заказана панихида по казненным пяти декабристам, то, по свидетельству министра Валуева, генерал-губернатор Суворов сразу же обратился к профессорам Костомарову и Сухомлинову с просьбой добиться отмены «несвоевременной» демонстрации оппозиционного отношения к правительству, которая могла бы закончиться трагически. Костомаров предпринял необходимые меры, уговорил студенческих вожakov поступить благоразумно. Нет ничего удивительного, что и перед открытием «вольного» университета Совет министров провел у царя особое совещание «по делам прессы и о лекциях Костомарова». На совещании присутствовали шеф жандармов князь Долгоруков, Министр просвещения Головнин, князь Суворов.

В архивах III отделения сохранилось специальное дело «О разрешении некоторым учителям и профессорам открыть в Санкт-Петербурге курс публичных лекций по утвержденному

Министерством народного просвещения положению», в котором содержатся агентурные данные с характеристикой лекций, а также с описанием реакции на них слушателей. Как видно из материалов «дела», агентов больше всего интересовали выступления Костомарова, и чаще всего обсуждались именно они. (Надо сказать, что публичные лекции Николай Иванович эпизодически читал, начиная с 1859 года).

Донос на профессора Костомарова поступил уже после первых его появлений в думском зале. Обвиняли в том, что он называет жития святых легендами, богохульствует, выставяя отцов церкви на смех. Конечно, подобные обвинения по отношению к человеку, глубоко религиозному на протяжении всей своей жизни, могут показаться довольно странными. Их нужно понимать лишь в том плане, что Костомаров старался очищать церковные летописи и прочие документы такого рода от привнесенной в них нелепостей, человеческой глупости, просто корысти. Серьезным обвинением могло служить и то, что Костомаров прославляет новгородскую вольницу, давний вечевой уклад, что он проповедует идеи федерации и иронизирует по поводу миссии самодержавия, видя в нем своего рода только объективную необходимость в процессе развития общества.

Пожалуй, никогда еще агенты III отделения не выполняли так четко и с таким удовольствием указаний начальства, как сидя в думском зале и слушая речи профессора Костомарова. Им было легко писать пространные отчеты: содержание сказанного лектором представлялось удивительно доступным, однако коробило своей «крамолой». В доносе от 6 февраля по поводу лекции «Характеристика самодержавия в XV веке» агент отметил: «...жалею, что профессор дал драгоценному для всех русских слову «государь» значение, его недостойное, язвительное, и, думаю, неверное».

Лекции Костомарова уже постоянно обсуждались в Зимнем дворце. Как видно из пометок Александра II на докладах Министра внутренних дел, царь был крайне недоволен, возмущен,

считал, что такое направление лекций «прямо ведет к революции», что «после этого нечего удивляться, если вся молодежь у нас напивается подобными мыслями».

В марте, когда народный университет достиг значительных организационных успехов, произошло событие, изменившее многое в судьбе профессора Костомарова.

В начале этого месяца в доме Руадзе на набережной Мойки (сейчас под № 61) состоялся литературный вечер в пользу немущих студентов (в действительности все вырученные средства передали Н. Г. Чернышевскому для поддержки М. Л. Михайлова и В. А. Обручева, сосланных на каторгу). На вечере с воспоминаниями о недавно умершем от туберкулеза Н. А. Добролюбова, своем сотруднике по журналу «Современник», выступил Чернышевский. Он высоко ставил Добролюбова и как мыслителя, и как литературного критика.

Но главным событием вечера стало совсем иное.

В том году официально праздновалось 1000-летие России. Дата не имела под собою исторического основания, базировалась лишь на сомнительном летописном сообщении, будто именно в 862 году новгородцы призвали варягов-князей Рюрика, Синеуса и Трувора, т. е., «норманнов», чего не признавал Николай Иванович! – с просьбой повелевать русскими землями. Царское правительство, всячески поддерживая мысль об иноземном происхождении русской государственности, способствовало сооружению в Новгороде памятника «Тысячелетие России» (автором его стал скульптор М. И. Микешин).

На вечере в доме Руадзе с чтением своей уже опубликованной статьи выступил профессор-историк П. В. Павлов, который перед тем основательно советовался с Костомаровым, годится ли его материал для публичного чтения. Николай Иванович сказал, что вполне разделяет взгляды Павлова на русскую историю.

Говоря о тысячелетней истории Русского государства, Павлов призывал к проведению актуальных реформ, к сближению

интеллигенции с народом. Зал реагировал одобрительно, но сдержанно, зато в конце выступления, когда Павлов как-то чересчур торжественно и несколько раз повторил библейское изречение «Кто имеет уши – да услышит!» – в зале началось что-то невообразимое. Присутствовавшие кричали от восторга, топали ногами, грохали стульями. Заключительному предложению лектора молодежь придала какой-то особый смысл, которого там не было и быть не могло.

Председатель Литературного фонда Егор Петрович Ковалевский (брат отставного министра), напряженный, бледный, выскочил на сцену с криками:

– Что Павлов делает! Что он говорит!

Ковалевский умолял президиум увести профессора подальше от греха.

– Завтра же его сошлют! Такого предложения нет в статье!

Из-за криков толпы слов Ковалевского не смогли уловить, но кто и расслышал – тревога Егора Петровича показалась излишней. Однако предчувствие не обмануло литератора. Он словно в воду глядел. Через день Павлов был арестован и сослан в Ветлугу, затем в Кострому.

После таких событий даже консервативно настроенной части профессуры стало понятно, что Павлов наказан слишком строго. Реакция же торжествовала. В анонимных посланиях в адрес III отделения ее представители требовали наконец-то избавиться и от Чернышевского – как «вредного агитатора», «коновода юношества».

В знак протеста против репрессий по отношению к Павлову студенческий комитет постановил уговорить профессоров не читать больше лекций в вольном университете. Костомаров с этим не согласился. Вместе с прочими профессорами-коллегам он составил протест против ареста Павлова, собирал подписи, но касательно публичных чтений настаивал на своем: необходимо как можно шире распространять в народе знания. В этом нет вреда. Наука, культура, добывание истины – только способству-

ют раскрепощению личности. Николаю Ивановичу удалось переубедить еще нескольких профессоров, хотя большинство среди них, под давлением молодых, все-таки отказалось продолжать свои курсы.

Действия Костомарова вызвали нарекания в молодежной среде. Юношеский максимализм не знал компромиссов. Еще недавно самый авторитетный профессор, которого молодые головы считали страстным революционером, который действительно страдал за свои убеждения в ссылке, томился в Алексеевском равелине – многое потерял в их глазах. Падению авторитета способствовало и то, что студенты часто видели Николая Ивановича в церкви, наблюдали, как истово припадает он к плащанице – а среди студентов в то время ширились атеистические настроения. В профессорскую квартиру, задолго до описываемых мартовских дней, приходили молодые люди, интересовались:

– Неужели вы так искренно верите в Бога, Николай Иванович? Ведь ваши лекции проповедуют свободные взгляды?

Профессор отвечал открыто:

– Я призываю уважать чужие взгляды и убеждения. Уважайте и мои...

И вот 8 марта 1862 года министр П. А. Валуев записал в своем дневнике: «Сегодня на лекции профессора Костомарова произошла сцена по случаю мер, принятых против Павлова. Другие профессора будто бы объявили, что прекращают курсы, столь напрасно открытые Головинным. Костомаров хотел продолжать свои лекции, произошел шум. Кончился тем, что часть публики надела фуражки и закурила папиросы перед портретом государя в зале Думы, где читались лекции».

Что же произошло в тот день в действительности?

Когда Николай Иванович поднимался по ступенькам городской Думы, один из его молодых коллег по «вольному» университету, встретившийся на пути, тихо предупредил:

– Против вас что-то затевается, Николай Иванович... Лучше аттестуйтесь сегодня больным...

– Нет! – вспыхнул Костомаров. – Испугаться? Нет...

Он быстро взошел на кафедру, и его не обескуражил даже весьма многозначительный вопрос импульсивного студента Е. Утина (за непримиримость товарищи называли его «Робеспьером»):

– Николай Иванович! Все ваши коллеги согласились прекратить чтение! Вы присоединяетесь к ним?

– Во-первых, не все! – парировал Костомаров. – Во-вторых – у меня свои убеждения, господа. Я их не меняю так быстро. Я буду читать!

Значительная часть публики, наэлектризованная разговорами, слушала невнимательно, перебрасывалась репликами. Но профессор быстро перенесся в давно ушедшее время, и многие слушатели, невольно последовав за ним, постепенно успокаивались.

Он закончил лекцию в непонятной, гнетущей тишине. Под конец объявил, что именно намерен читать в следующий раз.

И тут на возвышение выскочил Утин. У него был очень решительный вид. Над белым лбом дыбом вздымались черные волосы.

– Все профессора не будут больше читать! Негодяй! Орден Станислава в петлицу захотел!

Костомаров смертельно побледнел. У него задергалась кожа лица. Однако он твердо ответил, что прекратит чтение лекций только в том случае, если этого потребует публика.

Публика, ошарашенная выходкой Утина, высказывалась неоднозначно.

– Читайте дальше, профессор! – кричали из зала.

– Не надо! – поддерживали Утина университетские студенты. – Достаточно! Хватит!

– Читайте! Мы хотим знать историю! Мы не иваны, не помнящие родства!

И здесь случилось то, что сослужило роковую службу, после чего уже трудно, или даже невозможно было восстановить мир

между молодежью и профессором, хотя последним двигало чувство заботы о просвещении, о судьбах будущего России – ее молодежи.

Николай Иванович в сердцах выдохнул:

– Сейчас против меня выступают Репетиловы, из которых через десять лет получатся Расплюевы!

Он имел в виду героя грибоедовского «Горя от ума» – бахвала и пустомелю, который считает себя передовым представителем общества, и героя комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» – лакея, мало достойного человека. Смысл высказывания сводился к тому, что к подобным результатам приведет отказ молодежи от серьезного образования.

Сказанное окончательно взорвало сидящих в зале. Они считали себя матерыми борцами. Многие среди них, в том числе Утин, томились в Петропавловской крепости. И их обозвали отсталыми? В зале раздался свист, слышались еще более оскорбительные выражения в адрес лектора, хотя некоторые упорно кричали:

– Браво, Костомаров!

– Читайте дальше, профессор!

– Читайте курс до конца!

Николай Иванович, окончательно расстроенный, чувствуя дрожь во всем теле, направился в трактир Балабина пить чай...

Вести о событиях в думском зале мигом облетели столицу. По собственным воспоминаниям Николая Ивановича, в трактир Балабина приехал полицмейстер с вызовом профессора к генерал-губернатору Суворову. Там уже сидел шеф жандармов В. А. Долгоруков. Оба сановника стали расспрашивать, кто учинил «беспорядки» в зале, предлагали назвать фамилии дерзких виновников, но Николай Иванович хорошо еще помнил «любезности» III отделения, попросил уволить от неблагородной обязанности и никого не наказывать. Ничьих фамилий он так и не упомянул, но и от своих намерений отказаться не мог.

В тот же вечер, как свидетельствуют современники, Костомаров не успокоился и у себя дома, на Девятой линии. Он ходил из угла в угол, разводил руками и повторял одно и то же: «Я их не понимаю... Чего они хотят? Они не понимают, что ими играют, как пешками... Им надо это объяснить? Но кто это сделает? Мне нельзя... Меня они просто побьют!»

На квартиру к профессору приходили друг за другом студенты. Уверяя в своем уважении, они называли происшедшее «позором». Кто-то высказался, однако, что сравнение с Репетиловым и Расплюевым было все же недопустимым, и добрый Николай Иванович тут же с ним согласился. Он уже мучился планами, как извиниться перед молодежью по поводу формы высказывания, не напечатать ли извинения в газетах. Но его удержали предположением, что студенты могут подумать, будто он испугался.

Чернышевский внимательно следил за всеми событиями в Петербурге. Он не мог не явиться к Костомарову домой. Сам Николай Гаврилович казался в ту пору осунувшимся, бледным. Напряженная деятельность последних лет не могла пройти бесследно для его здоровья.

– Николай Иванович! – сказал Чернышевский, едва опустившись в кресло. – Вы хотите продолжить чтение лекций... Но студенты устроят демонстрацию. Последуют протесты, аресты, ссылки. Это будет на руку полиции. Вы сыграете роль провокатора.

– Я не могу подчиниться деспотизму ни сверху, ни снизу! Студенты стремятся заставить меня отказаться от моих убеждений. Мои убеждения заключаются в том, что настало время нести в народ знания, просвещением смягчать характеры людей. Просвещение принесет освобождение всем!

– Освобождение! – с трудом выслушал обычно сдержанный Чернышевский. – Верите в реформы? Верите в евангельское «истина освободит вас»?.. Этого мало. Решительно заяв-

ляю: освобождение принесет нам только борьба!.. Но речь сейчас не о том. О судьбе молодых людей, которых слишком далеко заведет ваша, не сердитесь, провокационная роль. Откажитесь от чтения лекций в думском зале!

– Нет! Я не подчинюсь деспотизму! Довольно!

Они уже стояли друг против друга и с горечью в душе предчувствовали: после стольких лет общения, страстных споров, взаимного уважения, взаимной поддержки, – их пути расходятся окончательно. Спор могло рассудить только будущее.

– Прощайте!

– Прощайте!..

Хозяину хотелось крикнуть, удержать гостя, возвратить его, но...

Костомарова долго не оставляло намерение продолжить чтение лекций, хотя на профессорскую квартиру приходили письма с угрозами, оскорблениями и разными обвинениями. Однако развязка наступила сама собой: Дума не разрешила впредь пользоваться залом, а власти вообще запретили чтение лекций для широкой публики. Итак, конфликт не имел продолжения. И все же...

«Специальные совещания по делам прессы и лекциям Костомарова» в Зимнем между тем продолжались.

Мы располагаем красноречивым письмом Николая Ивановича к Екатерине Толстой еще от 13 декабря 1861 года, где совершенно открыто выражено мнение ученого об университетских порядках. «Университет, – написано там, – стал мне невыносимым (...). Аресты повторяются, шпионы шныряют между студентами (...). На нас всех, принадлежащих к университету, смотрят как на злонамеренных. Как все отмечают, я очень постарел в продолжение сентября, октября. И было от чего, когда чуть ли не каждый день с разных сторон прилетали ко мне зловещие слухи о том, что меня хотят арестовать, – за что? Черт их знает! (...) Являлись ко мне подозрительные люди, заводили двусмысленные разговоры; я запирался на замок, или, ниче-

го не делая, шнырял по улицам (...). Мне так скверно, что и выразить трудно».

В конце концов Николай Иванович поехал к министру Головнину и заявил о намерении выйти в отставку.

Отставка так блестяще заявившего о себе лектора, не говоря уже о его исключительно широком научном багаже, вызвала разнородную реакцию. 15 мая 1862 года на заседании Совета университетских профессоров был обнародован приказ об увольнении Костомарова. Вот что записал в тот день в своем дневнике совершенно не расположенный к Николаю Ивановичу академик А. В. Никитенко: «Некоторые из профессоров захотели сделать ему (Костомарову – С. В.) оvation. Поднялся Горлов (профессор политэкономии – С. В.) и начал упрашивать его остаться в университете. За Горловым поднялись и другие и также начали упрашивать. Костомаров встал и как-то несвязно заговорил о своем расстроенном здоровье, потом перешел к откровенностям. «Я, – сказал он, – получил более двадцати ругательных писем от студентов; мне угрожают побить меня, если я останусь в университете: что же мне делать?» Наконец он склонился на убеждения, чтобы ему по крайней мере числиться на своей кафедре, авось студенты одумаются и не захотят его больше ругать. Я ушел: мне было жалко и стыдно».

Министр Головнин согласился с фактической отставкой Костомарова из университета, однако оставил его в списках работников Министерства народного просвещения, а также утвердил его постоянным членом Археографической комиссии с сохранением профессорского жалованья.

На прощанье Николаю Ивановичу поднесли в университете адрес, подписанный даже теми студентами, которые освистали своего недавнего кумира.

Так непродуманно, к сожалению, в думском зале столкнулись молодая горячность и крайняя издерганность, болезненная впечатлительность утомленного жреца науки. Кстати, один

из активных деятелей студенческого движения тех лет, член организации «Земля и воля», упоминаемый нами Л. Ф. Пантелеев, оставил впоследствии в своих воспоминаниях такие многозначительные строки: «Настоящих причин того, почему так рано закончилась профессорская карьера Николая Ивановича, надо искать на Страстном бульваре – в той агитации, которая была поднята оттуда против Костомарова как представителя «сепаратизма». Костомаров горячо любил свой родной народ, болел за его прошлое, не удовлетворялся его настоящим; но он совсем не был сепаратистом в том смысле, который в известных кругах соединяется с этим словом». (На Страстном бульваре в Москве были сосредоточены редакции реакционных издательств. Пантелеев верно почувствовал, чем они дышат)...

Историк Василий Иванович Семевский по этому поводу высказался еще более четко: «Костомарову было заявлено свыше, что он не может быть больше профессором, что его не утвердят в этом звании».

К ВЕРШИНАМ НАУКИ

Катастрофа 1862 года, как видим, чем-то напоминала события 1847. Только не было уже рядом Тараса Григорьевича Шевченко, не было и поддержки Николая Гавриловича Чернышевского.

«Апологетом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти» называл Костомаров своего бывшего приятеля, личное знакомство с которым продолжалось почти одиннадцать лет. Николай Иванович высоко ценил одаренность этого человека, его способность «производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием». В Чернышевском ему виделся Моисей-пророк более поздних социалистов. Костомаров считал, что Николай Гаврилович по-настоящему же-

лал человечеству счастья, а если и ошибался в своих теориях, так и тогда поступал в высшей степени искренне. Эта искренность, по мнению Костомарова, привлекала к нему людей. Таким он встретил Чернышевского и в Петербурге, где к Николаю Гавриловичу уважительно относились даже те, кто нисколько не разделял его радикальных мыслей. Глубокое уважение к Чернышевскому, между прочим, сам Костомаров сохранял на протяжении всей своей жизни.

Проникшись революционными идеями, Чернышевский воспринимал ситуацию 1859–1861 годов как возможность для коренного преобразования всей России. Революционное общество «Земля и воля», идейным вдохновителем которого, уже говорилось, он являлся, стремилось всячески активизировать возможную крестьянскую революцию. Кроме подцензурного распространения ее идей в руководимом Чернышевским «Современнике» — членами товарищества писались прокламации, обращения к разным слоям населения.

Однако, невзирая на крестьянские выступления, на студенческие волнения, — революция не наступала, а над головой Чернышевского сгущались тучи. Вот-вот должен был разразиться гром. Редели ряды его друзей-единомышленников. Лежал уже на Волковом кладбище Н. А. Добролюбов, томились в заточении М. Л. Михайлов и А. В. Обручев. Окончательно разошлись дороги с Костомаровым. В прощальном письме Николай Иванович написал: «...Мне глубоко запали в душу Ваши слова... Мы, действительно, были когда-то друзьями... Что развело нас? Не знаю, но знаю, что более никогда не будем! Наши дороги разные... Однако мне ужасно грустно, так грустно, что хоть в воду...» Да, либерально настроенному ученому, который уже ничуть не горел дерзкими юношескими порывами, было не по пути с радикально настроенным революционером.

В литературных кругах Петербурга в то время появился довольно жалкий на вид отставной кавалерийский корнет, поэт и

переводчик В. Д. Костомаров (он не был в родственных отношениях с Николаем Ивановичем). Что-то неопределенное улавливалось в его низком, как бы сжатом с боков лбу, в холодных глазах, которыми он ни разу не встретился со взглядом собеседника, — однако никто не догадывался о его неблагоприятной роли доносчика, помогавшего III отделению фабриковать обвинения против Чернышевского.

Весной 1862 года столичные жители находили у себя под дверью, а то и в карманах своих сюртуков, пальто, «страшную» бумагу: прокламацию за подписью «Россия молодая». Отпечатанные в подпольной типографии слова призывали к «кровавой и неумолимой революции, за демократическую республику, за уничтожение всех тех, кто живет в Зимнем дворце».

Прокламацию составил П. Г. Заичневский, организовавший в Москве революционный кружок. Она дышала идеями Чернышевского, и это только усиливало репрессивные намерения крайне встревоженного правительства.

Тревогу в столице вызывали также пожары, которые вспыхивали в мае сначала на далеких окраинах, а затем пошли гулять по городу. Огонь перебрасывался со строения на строение. Пламенем были охвачены уже целые кварталы. Огненные языки лизали даже дом Министерства внутренних дел на берегу Фонтанки. Горел огромный конгломерат мелких и крупных торговых заведений и всяческих подсобных пристроек — Апраксин двор. Вспыхивали дровяные склады, деревянные баржи на многочисленных каналах и реках. Наполненный соломой, сеном и дровами город не имел к тому же водопровода. Бороться с пожарами приходилось невероятно трудно.

На улицах появилось множество бездомных погорельцев. Столицу захлестывала паника. В каждом доме на лестницах громоздились корзины, лежали мешки, бесформенные связки и узлы — там было приготовлено более или менее стоящее барахлишко, чтобы иметь возможность вынести его при первой же необходимости.

Реакционеры, царская охранка нарочито распространяли ложные слухи, будто бы поджоги – дело рук революционеров во главе с Чернышевским. В тот год как раз вышел из печати роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», где изображены молодые нигилисты. Появление произведения только усиливало напряжение в обществе. Знакомые окликали писателя, завидев его фигуру на задымленном Невском проспекте:

– Иван Сергеевич! Вот что выделывают ваши нигилисты! Жгут...

Ф. М. Достоевский, который недавно освободился с каторги и теперь возвратился в столицу, поверил поклепам. Он лично пришел на квартиру к Чернышевскому с просьбой повлиять на революционеров:

– Молодежь вас послушает! Что делается...

На лице писателя читались мучения всех жителей мира...

Правительство предприняло решительное наступление на революционные силы. Было приостановлено издание «Современника». Закрывались воскресные школы, народные читальни, кассы взаимопомощи, прочие учреждения такой же направленности. Газеты напечатали правительственное решение не открывать университет в течение неопределенного времени.

Через третьих лиц жандармы предлагали Чернышевскому выехать за границу. Такое же предложение было сделано и от имени студенческих подпольных организаций. Однако Николай Гаврилович не намеревался оставлять Россию. Пока «Современник» вынужденно молчал, идейный руководитель его собирался провести лето в Саратове, в доме покойных уже родителей. Отправив на Волгу жену и детей, он сам оставался пока что в столице ради устройства литературных дел.

Его арестовали посреди бела дня, 7 июля. На квартиру к Николаю Гавриловичу явился жандармский полковник Ракеев, «знаменитый» тем, что именно ему было поручено сопровождать в Святые горы гроб с телом А. С. Пушкина.

– Кто здесь господин Чернышевский? – спросил Ракеев, зайдя в кабинет писателя нескольких собеседников, как если бы он действительно не знал в лицо Николая Гавриловича.

Чернышевский поднялся. Он-то мигом признал низкорослого жандарма с удивительно некрасивым лицом.

– К вашим услугам...

В тот же день Николай Гаврилович был заперт в Алексеевском равелине, в 11-м номере. Его ждало длительное заключение (как упоминалось, вскоре он был переведен в знакомый Костомарову седьмой номер), ждала гражданская казнь на оживленной площади, годы тяжелой сибирской каторги.

С Костомаровым они больше никогда не встречались: 31 мая Николай Иванович выехал из столицы в Вильно. В голове историка роились новые планы.

Татьяна Петровна, провожая сына на петербургском Варшавском вокзале, долго не утирала слез. Она все еще махала рукою, хотя поезд успел исчезнуть в изгибе железной дороги, и слуга Хома, немолодой уже человек, сохранивший уважение к своей госпоже, умолял успокоиться: люди вокруг...

А ведь совсем недавно она так радовалась, что сына «приставили» к университету, что он дослужился до чина надворного советника (VII класс по табели о рангах). Итак, полагала, его ждет обеспеченное будущее. А если добавить к сказанному, что он без конца что-то пишет и все сочиненное помещает в журналах... Для нее уже стало привычным, что сын сидит в своем кабинете, забитом книгами. Старушка неоднократно встречала на улицах молодого царя, низко кланялась, вместе с прочими горожанами. Божий помазанник, как правило, сидел в открытой коляске, породистый, не человек, по меньшей мере – святой. Ей чудилось, что такому все должны подчиняться беспрекословно. Она сама слышала, что в церквях его величают избавителем от крепостного рабства.

Однако ей было известно, что ничем подобным в действительности даже не пахнет. В Петербурге многие люди не удо-

влетворены переменами. Недовольных здесь больше, нежели в Киеве или в Саратове, не говоря о далекой Юрасовке, которая только снилась ночами, но куда сама она вовсе не порывалась. Там теперь всё напоминало о прежних несчастьях. О Юрасовке нельзя было поговорить даже с Галей: девушка осталась в Саратове, вышла там замуж.

Татьяне Петровне все же хотелось верить, что сына больше никто не собьет с пути. Правда, она побаивалась, что такое было под силу Шевченко, которому Бог даровал удивительный талант. Однако Тараса, измученного ссылкой, она окропила слезами в его последнем земном убежище. Она видела, как белый гроб с его прахом покачивается над морем студенческих тужурок. Она плакала и над его ранней могилой на Смоленском кладбище, куда поехала вместе с сыном на третий день после тягостных похорон. Тогда же и показала, где хотелось бы быть похороненной ей самой: невдалеке от церкви, возле главной дороги...

Побаивалась Татьяна Петровна и влияния Чернышевского, которого сын высоко ценил и всегда уважал. Стоило только прислушаться к их разговорам-спорам, уже здесь, в Петербурге, – и ей становилось страшно, одновременно – жаль обоих! Она понимала, как их тянет друг к другу, но между ними стоит уже нечто такое, ей непонятное, которое разделяет людей безвозвратно....

И вот... Ее Мыколу отставили от чтения лекций, отлучили от студентов (а они его тоже любили, она же видела). Правда, с наукой не разлучили, – оставили при университете...

Идея трудов по истории северорусских городов, в частности Новгорода, Пскова и Твери, – вырисовывалась в голове Николая Ивановича еще во время подготовки к лекциям. Рассказанное в университете тщательно записывалось слушателями. Часть записанного была собрана одним из них, Павлом Александровичем Гайдебуровым (впоследствии журналистом и издателем), выпущена отдельной книгой.

Теперь Костомарову надлежало ознакомиться с землями, некогда входившими во владения городов, знаменитых вечевыми укладами, понять их особенности, охватить их масштабы, почувствовать дыхание народных масс...

Он ехал в Вильну. Дым петербургских пожаров, казалось, держался даже в железнодорожном вагоне. Каждый раз, когда Николай Иванович заводил разговоры со случайными спутниками – они непременно касались насущных вопросов.

А что уж говорить о Вильне! Старинный город встретил энтузиазмом народных масс. В нем угадывалось нечто такое, чего ученый искал в документах, в фольклоре, в летописных упоминаниях. Николай Иванович долго общался с поляками в Киеве, затем в Саратове, не говоря уж о Петербурге. Одного среди них, Сераковского, капитана Генерального штаба, высоко ценил не только Шевченко, но и Чернышевский. Чернышевский считал его очень умным и очень добрым, «наилучшим человеком в мире». Сигизмунд Игнатьевич, как называл его Николай Иванович, действительно казался живым огнем, благодаря своей энергии и решительности. И это при том, что он, Костомаров ничуть не сочувствовал полякам в их сумасбродной идее восставления своего государства...

Руководствуясь собственной теорией о литовском происхождении русских князей, Николай Иванович хотел как можно детальней ознакомиться с местными историческими памятниками.

Однако в Вильне, скорее, всё дышало сегодняшним днем. На средневековых покрученных улицах торговцы-евреи продавали конфедератки – польский национальный головной убор, еще – небольшие крестики, перстни, даже революционные стихотворения, напечатанные на белых листах бумаги. Огромные толпы, преклонив колени перед Остробрамской Божией матерью, пели патриотические песни. В них звучала угроза водрузить польское знамя на горе московских трупов... Во время крестного хода каждый поляк имел на плечах выразительно траурные одежды. Это знаменовало собою печаль по причине потери го-

сударственной независимости и возбуждало, опять же, надежды на скорое ее возвращение. Особенно дух оппозиции проявлялся в поступках польских юношей. По отношению ко всем русским военным и гражданским чинам они вели себя крайне вызывающе. Дошло до того, что во время гулянья какой-то отчаянный гимназист облил купоросным маслом платье русской аристократической дамы. Удивительно, но никто не пытался давать молодежи отпор...

В Вильне Костомаров познакомился со многими литераторами и учеными, которые, однако, демонстрировали русофильские настроения. Правда, местное население смотрело на них как на предателей народа, но своими знаниями они доставляли Николаю Ивановичу неоценимые услуги: прошлое исчезало на глазах живущих.

Среди новых знакомцев выделялся старик Малиновский. Глядя на собеседника почти ослепшими глазами, он, казалось, все еще видел давнее, которому, полагал, никогда уже не вернуться.

— Речь Посполитая, пан Николай, погибла невосвратимо! Однако нам и не сто́ит за ней побиваться и расхваливать всё польское. Из-за этого могут случиться еще бо́льшие потери. У нас выросла горячая молодежь... Ой-ой-ой... Я очень опасаюсь за их будущее!

Поэт Эдвард Одынец, изысканно-любезный, также пребывал в довольно серьезных годах. Он носил черный парик, казался несколько забавным, выглядел созданным исключительно для поэзии. Вспоминая о своей дружбе с недавно скончавшимся Адамом Мицкевичем, старик рассказывал, как тот мечтал о дружбе всех славянских народов. На прощанье Одынец подарил Костомарову экземпляры собственных книг с драматическими произведениями. В них, по мнению Николая Ивановича, уже чувствовался упадок таланта.

Другой поэт, Людвик Кондратович, известный под псевдонимом Владислав Сырокомля, настоящий демократ, переводчик

произведений Тараса Шевченко, – пламенел любовью к простому крестьянину любой национальности. Он с восхищением говорил об освобождении крепостных и раз за разом жаловался, что соотечественники не прощают ему его русофильства, чем и объяснял свою склонность к выпивке.

Влюбленностью в местную старину отличался также другой обретенный знакомец – Адам Киркор, написавший «Путеводитель по Вильне» и издававший газету «Виленский курьер».

Не меньшую помощь оказал гостю граф Евстафий Тышкевич. То был очень маленький ростом шустрый человечек, на вид лет шестидесяти, хотя в действительности – намного моложе. Говорили – оказавшись наследником огромных имений, он растратил их в кратчайшие сроки, подорвав собственное здоровье. Теперь он поражал исключительной веселостью, знанием всего, что касалось польского владычества на литовских землях. Он заведовал историческим музеем при Археографической комиссии. Такую же одержимость к изучению прошлого проявлял и родной брат пана Евстафия – Константин.

В помещении Археографической комиссии Евстафий Тышкевич обратился к гостю на польском языке, высказал похвалу его научной деятельности. Костомаров, также по-польски, поблагодарил за доброе внимание к своим трудам. Николай Иванович не мог предугадать, что это выступление московские реакционеры, во главе с Катковым, поставят ему в вину как проявление полонофильства.

Киркор повез гостя за город, показал остатки замка великого литовского князя Витовта в городе Троки (современный Тракай). Замок стоял на острове, окруженном водами тихого озера. В водном зеркале отражались таинственные руины. Прошрое литовского края, долго пребывавшего под властью Речи Посполитой, вызывало раздумья.

Оставляя Литву, Костомаров понимал одно: там назревали значительные события. (Не лишним будет заметить, что за поло-

жением на территории бывших земель Речи Посполитой внимательно следила европейская общественность, многие представители которой, в частности К. Марк и Ф. Энгельс, считали намерения поляков вполне законными и приветствовали их восстание, вспыхнувшее в наступившем году).

А пока что, в июне 1862 года, мелкошляхетские революционеры, так называемые «красные», создавали Центральный национальный комитет, которому предстояло руководить будущим восстанием. Значительную роль в комитете играли Я. Домбровский и З. Падлевский. С последним Костомаров также был хорошо знаком, поскольку, вместе с Шевченко, принимал участие в работе возглавляемого им петербургского «цивильного» кружка (существовал еще и военный подпольный кружок Сераковского-Домбровского). Радикально настроенным «красным» противостояли такие же непримиримые «белые». Последними были представители богатых помещиков и крупной буржуазии. Лидеры левого крыла «красных», идеи которого перекликались с идеями Чернышевского, Герцена, Шевченко, – настаивали на ликвидации феодально-крепостнических отношений. Они стояли за справедливое разрешение национального вопроса, причем в пределах Речи Посполитой до 1772 года, то есть, того периода, когда в нее входили украинские, белорусские, литовские и латышские земли, захваченные и присоединенные поляками в предшествующий период.

«СЕВЕРНОРУССКИЕ НАРОДОПРАВСТВА»

Вскоре, в который раз, Николаю Ивановичу, снова и снова, посчастливилось осматривать остатки вечеревого Пскова.

Сердцевину города, неприступную скалу, с севера и запада защищали реки Великая и Пскова, а с юга и с востока – леса и болота. Люди обрабатывали землю, отвоеванную у лесов, охотились на дикого зверя. Развитию торговли и ремесел способство-

вали водные пути. Поселение в месте слияния Великой и Псковы получило название «Псков» (от слова, кстати, «плескаться»).

Энергичные псковичи охраняли славянские земли, объединенные вокруг Киева, от воинственных соседей, надвигавшихся с Запада. Успешно противостоять врагам могли только каменные сооружения. Псковичи научились их строить.

Сначала Псков считался «пригородом», форпостом другого крупного славянского поселения – Новгорода, затем и сам сделался независимым «младшим братом Великого Новгорода». Кроме землевладения и торговли – население обоих городов занималось ремеслами. Особой славы заслуживали каменщики, построившие самую крупную на Руси крепость с высокими стенами и неприступными башнями. Свою твердыню псковичи окружили другими крепостями, встречавшими врагов на дальних подступах к ней: это были Изборск, Остров, Опочка, Велье, Врев, Воронич...

Во Пскове, как и в Новгороде, наличествовал вечевой уклад. Там утвердился своеобразный республиканский строй. Народные массы, был убежден Костомаров, принимали в управлении непосредственное участие. Постепенно, с образованием централизованного Московского государства, вечевые республики прекратили свое существование: единодержавная Москва соединила Новгород в 1478 году, а Псков – в 1510.

Но и в составе Московской державы Псков еще долго оставался приграничной крепостью. В 1581 году он выдержал осаду сотысячной рати польского короля Стефана Батория, который, захватив приграничные крепости, тем самым старался отрезать Псковщину от русского мира. Отбив все приступы, осажденные вынудили Батория пойти на переговоры.

Так же мужественно стояли псковичи и против армии шведского короля Густава-Адольфа. После неудавшихся штурмов швед понял бесперспективность дальнейшей осады.

Эти два события разделялись тридцатью четырьмя годами.

Псковичи бережно хранили память о прошлом. В 1611 году рядовые, «меньшие», люди на некоторое время взяли власть в свои руки и восстановили, пусть ненадолго, вечевые порядки.

Вспомнили псковичи о своем стремлении к воле и в 1680 году, при Алексее Михайловиче, отце Петра I, когда в городе, как результат его угнетения государственными верхами и московским правительством, – наступил поголовный голод. Народные массы, во главе которых выступали «мелкие» посадские люди, захватили власть и направили челобитчиков в Москву, надеясь таким образом добиться справедливости. Восстание потерпело поражение.

После бурной Вильны, Николай Иванович как-то сразу перенесся мыслью в псковские пригороды. Вместе с Александром Сергеевичем Князевым, профессором новгородской семинарии, он посетил Изборск и Печоры. В Печорах, осматривая приграничные крепости незадолго до нашествия Батория, Иван Грозный собственноручно убил за смелые речи игумена местного монастыря Корнилия. Монахи показывали уцелевшие мощи святого.

Наняв извозчика, Николай Иванович осмотрел и дальние подступы к Пскову – Опочку, Врев, Велье, Воронич. Он изучал остатки земляных укреплений. Воображение ученого поразили Воронич, вернее то, что уцелело от большого некогда города, по размерам и значению уступавшего лишь могучему Пскову. На месте встречи Сороти и Великой сохранились высокие земляные валы, за которыми высилась церковь с жилищем священника.

За несколько верст от древнего городища, также на высокой горе, под белыми стенами Святогорского монастыря, был похоронен великий Пушкин. Отдав знаки уважения священной могиле, Николай Иванович зашел в монастырь, постоял в келье, куда, по рассказам монахов, очень часто наведывался поэт. Псковская земля, ее героическое прошлое, остатки старины, народная па-

мать – всё вдохновляло Пушкина на создание народной эпопеи – «Бориса Годунова».

Возвратясь в Псков, Николай Иванович еще пристальней осмотрел его сооружения. Строения из камня в старину выступали островками среди деревянных человеческих обиталищ, уничтоженных временем, а чаще – пожарами. Исключение составляли крепости. Над крепостными стенами Пскова возвышалось более 30 башен. Еще выше их возносился белокаменный четырехглавый собор. В неприступной, казалось, стене возле Свиной башни зиял огромный пролом, пробитый пушками Батерия. Однако стоило пушкам сделать свое разрушительное дело – как защитники выстроили новую преграду. В бою погибло 863 псковича, 1626 были ранены. Потери противника, штурмовавшего город, оказались значительно большими.

Наведавшись в Петербург, отдохнув, ученый отправился в Новгород.

Новгород расположен на заболоченной равнине, там, где из озера Ильмень вытекает река Волхов. В летописях древний город впервые упомянут под датой «859 год», как построенный славянами под руководством Гостомысла. Сначала Новгород был самостоятельным княжеством, затем вошел в состав Киевской Руси. Летопись повествует, что новгородский князь Олег, собрав сильное войско и захватив с ним Киев, превратил последний в столицу всего восточнославянского мира, в «матерь городов русских». Однако и после объединения с Киевом значение Новгорода нисколько не уменьшилось. Согласно летописи, после смерти киевского князя Владимира Святославовича, новгородский князь Ярослав разбил войско коварного сына умершего и сам сел на его престол. С того времени новгородцы пользовались еще большей автономией, хотя, по обычаям тех времен, в их городе княжили сыновья киевского сюзерена.

После того, как в XII столетии Киевское княжество распалось на отдельные владения, в Новгороде возникла республи-

ка. В 1136 году новгородцы, собравшись на вече, решили прогнать своего князя Всеволода Мстиславовича. Событие это стало основополагающим для их дальнейшего поведения: отныне они приглашали к себе князей, а власть, как правило, принадлежала местной боярской верхушке. Образовалась своеобразная республика, где народ играл в управлении значительную роль, а, по мнению Николая Ивановича, – даже исключительную, громадную. История действительно знает выступления тамошних недовольных народных масс. Они приходится на 1230, 1240, 1342, 1348 и другие годы.

Новгородские владения простирались от Финского залива на западе и до Уральских гор на востоке, охватывая побережье Северного Ледовитого океана. То была могущественная держава. Как и Пскову, Новгороду не суждено было страдать от ужасов монголо-татарского нашествия. Дикие орды, в силу разных причин, не осмелились вторгнуться в его пределы.

С XII столетия при Софийском соборе в Новгороде велись летописи, и в них, год за годом, фиксировались важнейшие государственные события. Поскольку в городе широко была распространена письменность – осталось много надписей на уцелевших предметах, на церковных иконах, на крепостных камнях. Уже в советское время арсенал их пополнился знаками на бере-сте, чего Николай Иванович, естественно, знать не мог.

Пригласив с собой бывшего учителя Новгородской гимназии, русского немца с фамилией Отто (звали его Николаем Карловичем), Костомаров пешком отправился вдоль берегов озера Ильмень, чтобы ознакомиться с бытом, обычаями и языком коренных его обитателей.

Получилось приятное путешествие. Блестела водная гладь, качавшая некогда суда древних новгородцев. По синему небу проплывали кудрявые облака. Под ногами путешественников извивалась дорога, проложенная колесами мужицких телег.

Крестьяне с удивлением рассматривали незнакомых господ, которые подсаживались к ним в упряжки, только-только освобожденные от сена, соломы, а то и от слежавшегося навоза.

— Куда путь держите? — ребром поставил вопрос первый же встреченный молодой мужик.

— Изучаем мир, — отвечал ему более старый на вид прохожий, взмахнув белою бородою.

— Может, о воле рассказываете? — загорелись глаза мужика. — Которая... от царя? Настоящая?

— Нет, — поспешили с ответом оба путника. — Мы от себя... Было бы хорошо, если б вы показали нам, как живете. Мы заплатим.

— Го-го-го! — хохотнул мужик. — За что? Знать, неспроста Бог к нам принес. Можете у меня переночевать, если... Если не побрезгаете... Я мужик, известно... Волю нам дали, так и та — обман!

Николай Иванович долго успокаивал его, а затем и прочих крестьян, разъясняя слова царского манифеста. Но слушатели недоверчиво качали головами. Было件件но: реформа не принесла им желанных результатов. Лучше было помалкивать в ответ на подобные просьбы...

Сами крестьяне с охотой отвечали на вопросы чудного барина, который не просто расспрашивал о всяческих пустяках, но и записывал все услышанное. Крестьяне пускали путешественников в свои жилища, которые оказывались довольно просторными, двухэтажными. Люди в них жили наверху. Внизу же хранилось зерно, содержался скот, кони, прочая живность, ставились и складывались сельскохозяйственные орудия. Дворы при домах также выглядели просторными, с крышами. Даже ворота имели дощатые козырьки. Все это свидетельствовало об упорной и длительной борьбе человека с неблагоприятной стихией, а вместе с тем — о большой приспособленности крестьянина к окружающей обстановке.

Однако не все крестьянские дома находились в удовлетворительном состоянии. В большинстве их царил бедность, в го-

лосах хозяев угадывалась тревога за будущее. Что пользы от провозглашенной реформы, если недостает земли? Ее надо выкупать, а цены растут...

Николай Иванович не терял надежды на лучшее:

– Все будет хорошо...

А пока изучал народную жизнь.

Язык новгородцев напоминал украинскую «мову», причем не только своею певучестью, но и наличием абсолютно одинаковых слов: повсеместно звучало «шукати», «хилитися», «шкода» и пр.

Осмотрели путники также место печально известной Шелонской битвы, положившей конец республиканской свободе Великого Новгорода. Отыскивали даже значительное в периметре возвышение, поросшее жиденькой травой.

– Курган! – мигом определил Николай Иванович. – Захоронение...

И правда. Достаточно было ковырнуть почву зонтиком, как сразу сверкнули кости. Погибших новгородцев присыпали песком на мысе, сотворенном природой при слиянии рек Дрань и Шелонь. Победители считали их врагами московских государей, потому и старались как можно скорее стереть память о вечевой свободе. Над могилой же москвитов возвышалась изящная часовенка...

Из Новгорода Николай Иванович спустился на пароходе вниз по Волхову, вполне удовлетворенный результатами путешествия: таким образом была обследована значительная часть старинного пути «из варяг в греки», проходившего по славянским землям. Пароход добрался до Гостинополя, где в древности группировались «гости» – купцы, торговые люди. Далее судно мешали пороги. Древние русичи преодолевали их посредством волока. (В наше время вода в тех местах поднята после введения в строй Волховской ГЭС).

В Старой Ладоге, добравшись туда по суше, Николай Иванович увидел полуразрушенные крепостные сооружения. Занимая

удобное место, город служил славянам защитой от нашествий с севера. За крепостными стенами радовала глаз белоснежная церковь великомученика Георгия, возведенная из камня опять же в XII столетии. В ней сохранились древние фрески...

А вот Никольский монастырь рядом с крепостью имел недавно отреставрированные стены. В сопровождении монашка Николай Иванович посетил упраздненную Ивановскую обитель, где впоследствии томилась царица Евдокия, супруга Петра I.

Ученый не пропускал ничего, что имело отношение к отечественной истории...

Из Старой Ладogi пришлось возвращаться назад в Петербург: материалы по истории северных русских городов следовало тщательно обработать, обогатив их лично увиденным, услышанным, строго осмысленным.

Готовую рукопись, под названием «Северорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Новгород-Псков-Вятка», Костомаров вскоре продал своему давнему знакомцу, издателю Д. Е. Кожанчикову (находившемуся как раз под надзором полиции из-за контактов с Герценом). Этот труд, представленный в двух томах, увидел свет уже в 1863 году.

Двухтомник вобрал в себя материалы из летописей, юридических актов, памятников российской словесности, писцовых книг, народных песен, трудов русских историков, еще – церковные летописи, писания зарубежных авторов, современников далеких событий, а также их более поздних комментаторов и исследователей. В предисловии к монографии перечисляются 215 основных первоисточников, об огромном количестве прочих – просто упоминается. Углубляясь в текст книги, читатель повсеместно чувствовал, что историк лично побывал в старинных строениях, что ему удалось досконально изучить каждую уцелевшую вещь, в результате чего получилась энциклопедия давних времен.

В книге прослеживается история Новгорода, Пскова и Вятки, рассказано о правах князя и народного вече, описывается, как

проходили вечевые собрания, кто принимал в них участие, какие вопросы могли там решаться и, разумеется, решались. Изначалается также общественная жизнь, нравы, различные слои населения, пригороды, торговля, церковная жизнь.

Особого значения, как и следовало ожидать, уделяет автор описанию вечевого уклада древних городов. «Все граждане, как богатые, так и бедные, как бояре, так и черные люди, – пишет он, – имели право быть на вече деятельными членами. Цензов не существовало. Но только ли одни новгородцы – жители города, или всей Новгородской земли могли участвовать на вече, – не вполне известно; из классов народных, упоминаемых в грамотах, видно, что там участвовали посадники, бояре, купцы, жители и черные люди».

Историк определил, где конкретно, когда именно проходили вечевые собрания, какие колокола сзывали народ в каждом из городов, как могли оформляться вечевые решения... Изучая данный труд, читатель как-то исподволь проникается убеждениями автора, что описываемые города были типичными для всей Древней Руси, что этот строй, за небольшим исключением, был распространен почти повсеместно.

И хотя далеко не все выводы обширной книги подтверждаются современной наукой, хотя республиканский строй в действительности охватывал в Новгороде и Пскове лишь относительно узкую боярскую верхушку, но стремления Костомарова отыскать в древней русской истории республиканские реалии – заслуживают достойного внимания. Они говорят о том, что в ученом никогда не умирал дух Кирилло-мефодиевского братства, дух высоких порывов, присущих ему еще в ранней юности. К тому же не следует забывать, что книга писалась и появилась на свет в противоречивое пореформенное время – в период усиления реакции.

«СМУТНОЕ ВРЕМЯ»

Эпоха Ивана Грозного, с проблемами которой Костомаров столкнулся при изучении псковских и новгородских материалов, привела его к намерению более детально изучить взаимоотношения самодержавной власти с удельно-вечевыми традициями, которые долго оставались актуальными для славянских племен. Развивая собственную концепцию российской истории, Николай Иванович не мог обойти вниманием и период, известный в науке под названием «смутное время». Речь идет о начале XVII века, когда, после смерти Ивана Грозного и коротких царствований его наследников, наступило форменное «бесцарствие», чем и воспользовались внешние враги. (С другой стороны, интерес ученого к далеко непростому периоду в русской истории подогревался известным его вниманием к феномену самозванства вообще).

Началом разработки темы можно считать исследование «Иван Сусанин» («Отечественные записки» за 1862 год). Несмотря на то, что на личность Сусанина в русском народе выработался взгляд как на великого патриота, Костомаров, опираясь на доступные ему документы, пытался доказать, будто в действительности все происходило совершенно иначе, чем излагала официозная доктрина, чем писалось в школьных учебниках. Крупные отряды польских интервентов, получалось, не доходили до Костромы, а первое упоминание о самом Сусанине вообще помещено было в документах более позднего времени. Кроме того, Николай Иванович ссылался также на результаты исследования историка С. М. Соловьева, пришедшего к заключению, что костромского крестьянина Ивана Сусанина схватили свои воровские люди!

Конечно, подобные выводы у многих русских людей задевали глубокие патриотические чувства, на ученого тотчас посыпались обвинения в развенчивании национальных героев. Он же настаивал на том, что «истинная любовь историка к своему от-

ечеству может проявляться только в строгом уважении к правде. Отечеству нет никакого бесчестия, если личность, которую прежде по ошибке признавали высоко доблестною, под критическим приемом анализа представится совсем не в том виде, в каком ее приучились видеть».

Немало упреков Николаю Ивановичу пришлось выслушать и за его статью о Куликовской битве, появившуюся в печати в следующем году. Первым среагировал на нее М. П. Погодин. Московский славянофил обвинял ученого в том, что Костомаров выставил Дмитрия Донского каким-то трусом – именно так получалось из трактовки Николаем Ивановичем эпизодов перед решительной битвой, когда Великий московский князь приказал боярину Бренко надеть на себя великокняжеские доспехи. В конце концов Костомаров признался, что чересчур доверительно отнесся к летописным источникам, однако не отказался от убеждения о духовных колебаниях Дмитрия перед лицом величайшей опасности.

Дальнейшее развитие исторической науки не подтвердило сомнений Костомарова. Подвиги Ивана Сусанина и Дмитрия Донского навсегда запечатлены в народной памяти, а нападки противников, как казалось Николаю Ивановичу после более тщательного изучения летописей, только побуждали его более ответственно изучать доступные первоисточники. Это чувство не покидало историка во время работы над материалами эпохи «Смутного времени».

Николай Иванович оставался в твердой уверенности, что во всей истории северной России «не было другого такого периода, в котором бы народ был до такой степени предоставлен самому себе и собственными силами должен был отстаивать свое политическое, общественное и религиозное существование от внешних нападений и внутренних неурядиц и где бы невольно должен был показать весь запас собственных духовных сил, необходимых для своего спасения».

Ученому предстояло решить, каким именно образом русскому народу удалось сохранить свою независимость, свой го-

сударственный строй. Исторические материалы предоставляли возможность раскрыть многие невероятные тайны. Россия XIX века жадно вчитывалась в сведения о собственном прошлом, и ученый-историк хотел дать ответ на множество вопросов. Работу в этом направлении он начал непосредственно с осени 1862 года, хотя много времени уделял и другим проблемам, так или иначе связанным с его многосторонней научной деятельностью.

1863 год начался решительным польским восстанием. Непосредственным поводом для этого послужил проводимый царизмом особый, превентивный, рекрутский набор в Царстве Польском.

В ночь с 22 на 23 января Центральный национальный комитет Польши, созданный в июне 1862 года, призвал соотечественников к оружию. В комитете преобладали так называемые «красные», мелкобуржуазные и мелкошляхетские революционеры. Они настаивали на ликвидации феодально-крепостнических отношений, ратовали за более справедливое разрешение национального вопроса, пусть и в пределах Речи Посполитой до 1772 года. Их декретами была провозглашена программа ограниченной и непоследовательной революции, которую не поддерживали крестьянские массы на Украине, хотя вдохновители восстания возлагали на украинцев основные надежды – как на силу, способную отвлечь внимание регулярных войск. Следует сказать, что в Центральном комитете значительную роль играли Я. Домбровский и З. Падлевский. (В противовес «красным», напомним, в Царстве Польском были еще и «белые» – представители крупных помещиков и буржуа).

Группа «красных» была тесным образом связана с руководителями петербургской революционной организации «Земля и воля». В определенной степени их действия были как-то скоординированы. Подпоручик царской армии Андрей Потехня, уроженец Украины (родной брат выдающегося ученого-слависта А. А. Потехни), находился со своим полком на территории Цар-

ства Польского, создал там тайный комитет русских офицеров, вошедший в состав «Земли и воли». С началом польского восстания офицеры намеревались нести огонь его в великорусские губернии с целью ликвидации царской власти и установления республиканского правления. Андрей Потемня принимал участие в написании прокламаций, стремился освободить арестованных сообщников. Он погиб, ведя в бой восставших против царя поляков.

Сразу же в пламя борьбы бросились Падлевский, Сераковский и другие польские патриоты. В мае в Вильно прибыл генерал-губернатор и диктатор Юго-Западного края М. Н. Муравьев, впоследствии прозванный «вешателем». Схваченные русскими войсками Падлевский, Сераковский, Колышкевич и другие руководители восстания были казнены по приговору суда. Восстание потерпело полное поражение.

Лето того крайне беспокойного года Николай Иванович провел близ Петербурга, в Павловске, в соседстве с бывшим редактором «Основы» В. М. Белозерским. Живя на даче, историк навещался в Публичную библиотеку, тогда как Белозерский помышлял о службе за пределами Петербурга.

1863 год характеризовался наступлением царизма на всякие прогрессивные устремления, в частности – на украинофильство. Консервативно-реакционные силы закрепляли свои позиции, завоеванные в результате закрытия журнала «Основа». Руководимые Катковым газеты, прежде всего «Московские ведомости», всколыхнув новую бурю, обвиняя украинофилов, в первую очередь Костомарова, в неопровержимых будто бы намерениях отделить Украину, указывали на угрозы с их стороны для Российской империи, анализировали украинофильские статьи, в частности – в «Основе». Катков вообще называл украинофильство результатом «иезуитских интриг».

Такие обвинения в то грозное время, когда мало кто поддержал Герцена с его призывами встать на защиту Польши, звучали

подобно доносу, и Николай Иванович вынужден был защищаться. Вереницей статей в московской и петербургской прессе он доказывал свою «благонамеренность» и все-таки смело отстаивал права на существование украинского языка.

Недобрую «службу» украинофилам сослужили также публикации Владислава Мицкевича, сына гениального польского поэта. На страницах парижских газет он снова доказывал, будто украинский язык в действительности представляет всего лишь диалект польского, и этот тезис, не имеющий под собой основания, пошел разгуливать по страницам русских газет. Николай Иванович хотел выступить с разъяснительной статьей, но цензура не разрешила ее публикации, опасаясь авторитетного опровержения в принципе весьма выгодных для себя заявлений.

18 июля 1863 года Министр внутренних дел П. А. Валуев обратился с отношением, составленным «по высочайшему повелению», к Министру просвещения по вопросам, касающимся украинской литературы. В документе, ставшем вскоре печально известным, указывалось, что никакого особого малорусского языка «не было, нет и быть не может и что наречие это, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши». Одновременно в документе указывалось, что «Министр внутренних дел признал необходимым впредь до соглашения с Министром народного просвещения, обер-прокурором Синода и шефом жандармов относительно книг на малорусском языке, сделать по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати допускались только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы; пропуском же книг на малорусском языке духовного содержания, так учебных и вообще, назначенных для первоначального чтения народа, приостановиться».

Конечно, решение министра вызвало сильную тревогу со стороны Костомарова. Он надеялся еще как-то воздействовать на Валуева, побывал с визитом у него на даче, на Аптекарском острове. 28 июля в дневнике Валуева появилась следующая за-

пись: «... были у меня несколько лиц, в том числе Костомаров, сильно озадаченный приостановлением популярных изданий на хохольском наречии. Мягко, но прямо и категорически объяснил ему, что принятая мера останется в силе».

Крупный царский чиновник, по свидетельствам современников, продекларировал буквально следующее:

– Вы, господин профессор, писали, что украинский, как изволите выражаться, язык, годен лишь для «домашнего употребления». Вот и публикуйте на нем историйки для мужиков...

Уместно заметить, что мысль об использовании украинского языка в качестве средства для «домашнего употребления» принадлежала вовсе не Костомарову. Николай Иванович просто соглашался на временный компромисс, лишь бы правительство не лишало украинский язык возможности дальнейшего развития.

Министр народного просвещения Головин, также не медливший с подобными указаниями, оказался все же более либеральным.

– Если это точно другой, отдельный язык, Николай Иванович, так можете печатать на нем все, что только пропустит цензура.

Однако вскоре был наложен полный запрет на печатание книг на украинском языке.

Пренебрегая опасностями, Николай Иванович поместил в «Журнале Министерства народного просвещения» статью, в которой доказывал особенности украинского языка, предоставляющие последнему право считаться самобытным, равноправным между языками братских племен и снимающие подозрения, будто это всего лишь обособившийся диалект великорусского или польского.

Открытое, притом такое упорное украинофильство Костомарова власти и солидарные с ними реакционеры взяли на заметку. Дневник академика А. В. Никитенко свидетельствует, какая борьба шла в столичном университете вокруг вопроса, приглашать ли Костомарова снова в число профессорского состава, присуждать ли ему степень доктора наук. В конце концов побе-

дила реакция. Кстати, против Николая Ивановича выступал и сам Никитенко; против него интриговал также с юности знавший его Срезневский. Последний не прощал критической оценки своих научных трудов, но больше всего здесь значило то, что Николай Иванович заподозрил его (и не без основания) в фальсификации фольклорных материалов.

И все же авторитет Костомарова в научном мире укреплялся с каждым годом. Вскоре, вслед за почти незнакомым Казанским, на кафедру истории пригласил ученого до боли известный ему Киевский университет Святого Владимира. Николай Иванович с пониманием отнесся к этому приглашению, однако киевский генерал-губернатор Анненков попросил Петербург ни в коем случае не допускать приезда ярого украинофила. Головинн солидаризировался с Анненковым. Украинский университет, в знак особого уважения и признания научных заслуг Костомарова, удовлетворился присвоением ему степени доктора истории (1864).

Осень 1863 года прошла в изучении материалов «смутного времени». Николай Иванович работал в Москве, в Архиве иностранных дел, а также в Синодальной библиотеке. Он нашел время и для поездки в село Тушино, где еще сохранялись остатки лагеря Лжедмитрия II – «тушинского вора». Осматривая их, удалось побеседовать с местными жителями, собрать уцелевшие крохи легенд о «Гришке Отрепкине» – Григории Отрепьеве.

Возвратившись в Петербург, Николай Иванович засел за работу на всю затяжную зиму – она прервалась лишь весною 1864 года, в конце мая, поездкой за границу. Поездка была омрачена печальным событием: 19 мая, на самой грязной, Мытнинской (она же Конная) столичной площади состоялась «гражданская казнь» Н. Г. Чернышевского. Николай Гаврилович просидел в одиночном заключении в Алексеевском равелине почти два года. Там, за этот период, кроме романа «Что делать?», успел написать еще много других литературных произведений. Он му-

жественно отклонял обвинения царских сатрапов. В ход были пущены не только «показания» провокатора В. Костомарова, но и «свидетельства» других агентов.

И все ж под нажимом правительства и лично Александра II Сенат осудил революционера на 14 лет каторги и на пожизненную ссылку в Сибирь. Царь, правда, проявил заранее спланированную «милость», уменьшив срок каторги в два раза. В этот же день Николая Гавриловича навсегда увезли из столицы.

Путешествия по Европе (Дрезден, Мюнхен, Прага, Вена, Белград, затем Остенде, Брюссель) отвлекали от мыслей о собственной стране. В Европе уже повсеместно дымились заводские трубы. Рабочие представлялись историку довольно грозной, но какой-то загадочной силой. Истинного значения этой силы Костомаров не понимал, не верил в нее, как не разделял и надежд Чернышевского на преобразование России при помощи мужицкой массы...

Небольшую передышку дало также написание произведений «Ливонская война», «Куликовская битва», «Кто был первый Лжедмитрий» – их содержание выплывало из пристального изучения материалов для основных трудов. Оставляли свои следы перипетии с приглашением на кафедру истории Харьковского университета. Последнее, правда, тоже ничего не дало, министр Головин не отрекался от собственных планов. Вот и все. В дальнейшем Николай Иванович снова сидел над документами «смутного времени».

Впоследствии он написал: «Занятия эти так увлекли меня, что нередко я проводил целые ночи, не в состоянии будучи оторваться от исследования лиц этой занимательной в истории русского народа эпохи. Эти бессонные ночи расстроили мой организм до того, что хотя я после дневного и вечернего труда над «Смутным временем» ложился в постель для ночного отдыха, но не мог пользоваться благотворным сном: нервы мои были сильно возбуждены – меня беспокоили галлюцинации зрения

и слуха. Я решился прервать на время эти занятия, чтобы совершить некоторые поездки с археологической целью».

Слово «археология» здесь употреблено с несколько иным оттенком, чем это привычно для нас. В данном контексте имеется в виду изучение археографических, в конкретном случае – просто старинных, рукописных памятников.

Итак, летом 1865 года дорога для Костомарова стелилась на север от Москвы – именно там, в XVII веке, группировались силы, способные изгнать из России чужеземных захватчиков. Историк побывал в Твери, в Рыбинске, Череповце, затем возвратился опять на Волгу, спустился на пароходе до Костромы, навестил Ипатьевский монастырь, где некогда обреталась боярыня Марфа Ивановна со своим 16-летним сыном Михаилом, вскоре избранным на русский престол. Потом путешественник возвратился в Ярославль, побывал в Ростове Великом, Переславле Залесском, намеревался осмотреть Александровскую слободу – форпост Ивана IV Грозного, но неожиданно и довольно серьезно заболел. Болезнь поразила правую ногу, пришлось возвращаться домой.

Татьяна Петровна, видя непрерывное сидение сына за письменным столом, сначала очень обрадовалась, когда он отправился в эту поездку. Она не грела больше надежды на появление собственных внуков, особенно после того, как юная Катерина Толстая, возвратившись из-за границы, вышла замуж за врача Э. А. Юнге (под этой фамилией она стала автором приводимых нами воспоминаний). Не радовал старушку и пес Тобик, который так и остался при ней, на Девятой линии.

– Наберешься сил, – наставляла в дорогу Татьяна Петровна. – По святых місцях... Не забудь і за мене свічку поставити... Здоров'я у мене не молоде... А хто тебе догляне, як мене не буде...

Когда же сын возвратился до времени – она стократно сильнее принялась укорять себя:

– І нащо одного одпустила? Навіщо було Хому одпускати? Скієш над паперами, так хоч у теплі...

– Э, матушка, – кривилось лице Николая Ивановича, не столько от боли, сколько от упоминания о Хоме, который, уехав в Саратов, женился там и занялся извозным промыслом. – Бог даст, и без Хомы вылечусь... Мне надо срочно в Варшаву...

– Варшава? Ото вже не одпущу! Щоб обдивитись якісь там папери? Од них та ж сама пилюка, що й од наших! Не пущу!

Подобные споры в квартире на Девятой линии шли на протяжении нескольких недель. Однако стоило Николаю Ивановичу встать на ноги, как Татьяна Петровна начисто позабыла о своих предостережениях и обрадовалась, что сын снова может оторваться от сидения за столом.

– Їдь, та хоч менш читай, а більш гуляй собі, роздивляйся!

– На кладбищах погуляю, как же!

Он считал невозможным завершить свой масштабный труд без более тщательного ознакомления с польскими рукописями, которые освещали события совершенно с иных позиций.

В Варшаве Николай Иванович остановился в квартире у В. М. Белозерского, все-таки поступившего на государственную службу. Боли в ноге, между тем, в результате поездки несколько не ослабели, даже усилились. Приходилось лечиться у польских врачей, однако все это не прерывало научных занятий.

Варшава еще хранила следы отшумевшего восстания, но никакой русофобии Николай Иванович нигде не замечал. Он посещал старинные монастыри, строения которых отдавались теперь под гимназии и прочие светские учреждения, исследовал их загадочные подземелья, повсеместно натываясь на горы костей и кипы пыльных бумаг. Бывал в театрах, изучал старинные кладбища, много сведений почерпнув из надписей на могильных камнях. Но более всего времени, конечно, провел в библиотеках, хранилищах рукописей, в беседах с учеными-историками: Мацеевским, Войтыцким, Бертрашевским, Хоментовским.

Труд «Смутное время Московской державы» был напечатан в новом петербургском журнале «Вестник Европы», где Костомаров, неожиданно для себя, стал вдруг соредактором.

Произошло это следующим образом. Осенью 1865 года к нему на квартиру наведася бывший профессор Петербургского университета Владимир Данилович Спасович и, от имени другого бывшего профессора, Михаила Матвеевича Стасюлевича, предложил сотрудничество в новом издании. Журнал предполагалось выпускать четыре раза в год, причем вопросы, касающиеся истории, предложено было решать исключительно Костомарову. Николай Иванович предложение принял. Первым собственным вкладом его в новое издание стала рукопись о «смутном времени» – начало ее появилось в 1866 году, а все печатание продолжалось в течение двух лет.

В монографии «Смутное время Московского государства в начале XVII столетия» использовано 106 исторических источников, бесчисленное количество актов, писем, упоминаний из русских, польских, латинских рукописей из разных библиотек и архивов.

Эпиграфом к книге выбраны слова, вычитанные в древних манускриптах из библиотеки С. Красинского: «Источник этого дела, из которого потекли последующие ручьи, по правде заключается в тайных умышлениях, старательно скрываемых, и не следует делать известным того, что может на будущее время предостеречь неприятеля». Фраза, произнесенная в польском сейме в 1611 году, свидетельствует о тогдашних агрессивных намерениях шляхетского правительства относительно Московского государства. Польша, оплот католицизма в Средней Европе, по мнению Костомарова, тщательно исполняла указания римского Ватикана о распространении этой веры в славянских землях.

Изложение событий в монографии начинается с описания свадьбы Ивана Грозного в слободе Александровской в 1580 году. Царь женился в восьмой раз. В жены пятидесятилетний де-

спот брал молоденькую боярскую дочь – Марию Федоровну Нагую. От этого брака родился царевич Дмитрий. Далее случилось так, что старший царский сын Иван, законный наследник престола, был убит отцом в приступе гнева, и трон унаследовал средний царевич, слабоумный Федор. Все надежды царя перешли на малолетнего Дмитрия. Однако и он, уже после смерти Ивана Грозного, находясь вместе с матерью в местечке Угличе, погиб при совершенно загадочных обстоятельствах. Подозрения пали на царедворца Бориса Годунова, брата новой царицы, супруги Федора, и фактического правителя России. Годунов сам намеревался усестись на престоле, поскольку у Федора Ивановича детей не имелось, царский род с его смертью, в случае гибели Дмитрия, пресекался бесповоротно.

Читатель сразу же погружался в мир московских древностей, видел ярко обрисованных государственных деятелей. Много злодеяний совершил Борис Годунов, чтобы «возвысить род свой и доставить своему потомству славу, могущество и власть над Московским государством». Но движущей силой в историческом процессе, по глубокому убеждению Костомарова, в действительности выступает народ. Годунов, которого не любили народные массы, долго править не мог. Отягощенный повинностями, народ желал иметь «хорошего» правителя в лице царевича Дмитрия, наивно поверив, что сын Грозного действительно мог спастись от убийц. Самозванец, известный в истории как Лжедмитрий I, поддерживаемый польскими панами и чаяниями русской черни, в конце концов венчался на Московское царство под именем законного наследника московского царя. В народе ожили надежды. «Чернь, – читаем в монографии, – что долго и много терпела, долго была в унижении, радовалась этому дню, чтобы потешиться над знатыми и богатыми, отомстить им за свое унижение». Фигура загадочного по происхождению нового государя действовала завораживающе не только на Русь, но и на зарубежных наблюдателей: «Англичане того времени находили, что он был первый государь в Европе, который сделал свое государство до такой степени свободным».

Самозванец, над судьбою которого молодой Костомаров задумывался еще во время своего пребывания на Волыни, был всем доступен, достаточно образован, умен, энергичен. Костомаров полагал, что Лжедмитрий, скорее всего, происходил не из великорусских земель, что идею самозванства он позаимствовал из украинской действительности: украинские удалыцы, задолго до появления казачества, выдавали себя за наследников молдавских господарей. Кроме того, самозванец совершенно не заботился интересами польского государства, не помышлял о присоединении Руси к Польше. И еще его отличал авантюризм. Продержись он чуть дольше на московском престоле – и неизвестно, до каких пределов докатилось бы Русское государство.

Однако московские люди быстро раскусили, кого притащил с собой неведомый прежде царь. Чужеземцы, среди которых насчитывалось много вояк со всей разноликой Европы, с презрением относились к русским, чем сразу же вызвали к себе ненависть. Бояре не могли примириться с новым государем подозрительного происхождения, которого к тому же слишком явно поддерживала чернь. Самозванца убили во время свадебных торжеств – он женился на Марине Мнишек, дочери польского воеводы. А так как в Москву тогда прибыло много гостей из Польши – кого из них восставшие уничтожили тотчас, кого взяли в плен, кого просто изгнали.

На волне народного гнева против иноземцев престол был захвачен боярином Василием Шуйским, который возглавил восстание против Лжедмитрия. Нового царя избрал узкий круг единомышленников, хотя выдавали они себя за представителей всей Руси. Жизнь народных масс в результате захвата власти несколько не переменилась, тогда как перемены были крайне необходимы.

Вскоре появился еще один претендент на московский престол – будто бы и на этот раз Дмитрию удалось спастись. Лжедмитрий II опять же стал вождем желаемой перемены черни. «Критическое положение государства при Шуйском, – пришел

к выводу Костомаров, – вызывало увеличение тягостей, с обычным произволом лучших людей и покровительствующих им властей; положение народной громады тяглых, не принадлежавших к немногочисленным лучшим, стало чувствительнее; вдруг имя Дмитрия, появившегося под Москвою, растревожило эту громаду: пронеслось обещание льгот; середние и молодые, так называемые вообще черные люди, увидели для себя опору и спасение и стали приставать к Дмитрию. Оттого-то везде черные люди производили восстания в пользу Дмитрия и принуждали признавать его и лучших из своих братий, и дворян, и детей боярских, и духовных. Воля почуявшей свою крепость громады была страшна; их положение не только не стало лучше, но еще хуже. Стали над ними бесчинствовать, ругать, своевольствовать поляки, и казаки, и свои дворяне, и дети боярские, да и те же самые лучшие люди, признавшее Дмитрия, могли бы на них налегать по-прежнему».

Теперь вспыхнуло восстание против захватчиков. «Тягости поборов и произволов в обращении падали на тяглых, – сказано в монографии, – а потому-то они, обманутые в своих надеждах, ненавидели Дмитрия. Роли переменялись. Дмитрий переставал быть царем черни. Дворяне и дети боярские, уступившие черной толпе, невольно привыкали к новому царю, потому что при нем порядок оставался все тот же для их пользы; они получали поместья и от Дмитрия, и от Сапеги» (польский гетман).

Лжедмитрий II стоял лагерем в селе Тушино, опоясав древнюю столицу кольцами своих отрядов, а польские паны тем временем убеждали короля Сигизмунда III выступить в поход против Московского государства. Король отважился на открытую войну, подвел войска к Смоленску. Перед этим он обещал дать на русский собственного сына, королевича Владислава, и москвитями была даже принесена всенародная присяга на верность ему. Главнейшим условием с их стороны выставлялось одно: Владислав должен креститься в православную веру!

Однако сам король-католик, руководствуясь указаниями Ватикана, видел Россию подвластной Польше. Он не торопился по-

сылать королевича в Москву. Смоленск между тем не открывал ворот – началась затяжная осада.

В лихую годину правительство Шуйского стало возлагать надежды на помощь других чужеземцев, на шведов. Сначала это сулило определенные результаты, поскольку шведы представляли собой весомую силу. Шведский отряд во главе с молодым военачальником Яковом Делагарди одерживал победы над войсками самозванца в северо-западных землях Русского государства. Одновременно с Делагарди проявил военное искусство и россиянин Скопин-Шуйский. Авторитет соотечественника был огромен – речь повелась уже об избрании его на престол вместо непопулярного Шуйского. Можно смело считать, что загадочная кончина Скопина-Шуйского, случившаяся в Москве, произошла не без ведома Василия Шуйского.

Война продолжалась. Русская армия, вкупе со шведской, ведомая на выручку осажденному Смоленску, потерпела поражение от польской, руководимой опытным полководцем Станиславом Жолкевским. Это случилось под деревней Клушино, и Москва в результате оказалась в руках захватчиков: чужеземное войско было приглашено боярской верхушкой, опасавшейся собственной черни. Вскоре штурмом был взят и Смоленск. Шуйского, постриженного в монахи, как пленника увезли в Варшаву. Поляки праздновали триумф. Велика была радость и в Ватикане.

Москвичи, догадавшись о коварстве короля Сигизмунда, стали приглашать на престол шведского королевича, но шведы, вместо предполагаемой помощи, захватили Новгород и другие русские города. Начался период московского разорения. Именно такое заглавие дал Николай Иванович третьей, заключительной, части своего произведения. На русских землях творились настоящие беззакония, насилия, убийства. Кровь заливала все государство. И не было уже, казалось, силы, способной принести спасение.

Как же поступил в судьбоносное время русский народ? Автор приходит к убеждению: «Русские должны были убедиться,

что искать царя между чужими принцами и просить помощи у чужих народов не следует. От всех будет то же, что от поляков. Соседи станут порицать проступки поляков, соболезнуя об участи русской державы, а когда им русские люди доверятся, то они будут с ними делать то же, что и поляки. Пришла пора окончательно убедиться, что негде искать Руси выхода и избавления, кроме самой себя».

В этот период активную деятельность проявили нижегородский мещанин Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Они возглавили освободительное движение. В основном они опирались на те самостоятельные слои трудового населения, которое понимало, что экономическая деятельность государства может успешно развиваться лишь при сильной государственной власти, а этого никак не сулила раздираемая анархией Речь Посполитая.

Народ искал спасения. Богатые же люди, делает заключение Костомаров, были бы даже довольны правлением Сигизмунда и польскими дворянскими вольностями. О народе они не заботились, но старались как можно прочнее и надежнее его закабалить. Свидетельством тому служит приглашение польского войска в Москву после клушинской катастрофы.

Николай Иванович старался определить интересы не только народных масс. Особого внимания заслужило у него православное духовенство. Оно истово поддерживало борьбу русского народа хотя бы уже потому, что предвидело притеснения со стороны иезуитов, если страна попадет под власть католического короля. По убеждениям ученого, именно православная вера объединила русский народ. «Была на Руси животворная сила, — пишет он, — способная привести в движение неповоротливую громаду, — то была православная вера! Она-то соединила русский народ; она для него творила и государственную связь, и заменяла политические права. Знамением восстания была тогда единственно вера: во всех грамотах выставлялось на первом плане пробуждение религиозное, необходимость защитить церкви,

образы и мощи, которым творили поругание польские и литовские люди».

Итак, торговцы и промышленники стояли за крепкий державный строй. Служилые люди мечтали о военной поживе. Те и другие составляли костяк освободительных сил. Вокруг них группировались силы вспомогательные.

В конце концов народ, вдохновляемый церковью и возглавляемый Мининым и Пожарским, прогнал захватчиков из Москвы и из русских земель. Смутное время закончилось избранием на престол шестнадцатилетнего боярского сына Михаила Романова. В Ипатьевский монастырь (возле Костромы) к нему устремилось столичное посольство.

Итожа все проанализированное, автор монографии замечает: «В смутное время народная громада искала освобождения от тягла, закрепощения и вообще от всякой неволи... Народная громада завершила дело спасения Руси; когда сильные земли русской склонились перед внешнею силой, искали уже милости или упали духом и смирялись, – народная громада, почуявши и уверившись, что ей будет худо под иноземцами, одушевленная именем угрожаемой веры, не покорилась судьбе и показала истории, что в ней-то именно и хранится живущая сила Руси, что в этой Руси есть душа, народное сердце, народный смысл». И еще: «Смутное время останется чрезвычайно занимательною эпохою в русской истории, как свидетельство крепости внутренней жизни народа – важнейший задаток для будущего».

Так высоко оценивал историк энергию народных масс.

«ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ»

Задолго до завершения книги о «смутном времени» Костомаров приступил к другой грандиозной работе, которая привлекала его внимание на протяжении многих последовавших лет.

Как потом ему вспоминалось, все началось с посещения покоренной Варшавы. В ней Николай Иванович подолгу стоял на бесконечном Повонзковском кладбище, среди бесчисленных склепов и надгробных памятников, свидетельствующих о богатстве и знатности своих покойных уже хозяев. Среди потомков некогда знаменитых родов, превратившихся ныне в прах, насчитывалось много эмигрантов, проживавших в Париже; было также немало обедневших людей. Некоторые могущественные кланы, игравшие в прошлом выдающуюся роль в истории польского государства, – окончательно сошли со сцены.

Но то, что читалось на покрытых мхами камнях, – представляло собою не просто историю отдельных семейств. То были свидетельства важнейших событий в европейской истории: падения крупной державы, просуществовавшей тысячу лет, имевшей влияние на судьбы всего Старого света. Историк не мог не воспользоваться малейшей возможностью изучить досконально данный вопрос, поскольку прежде подобных возможностей история, как наука, никогда не имела в своем подчинении. Значительная часть источников, которые таили ответы на жгучие проблемы, была недоступна как русским, так и европейским исследователям. Кроме сухого описания трех разделов польского государства, истории окончательного его падения, написанной русским ученым С. М. Соловьевым – в науке вообще не существовало какой-либо разработки данного вопроса. Иными словами, настоящей истории Польши, как считал Костомаров, не знали не только ее соседи, в том числе и русские, – не знали и сами поляки. Прогрессивно настроенная русская молодежь сочувствовала польским устремлениям освободиться из-под иностранного, царского гнета, а между тем, был уверен Николай Иванович, сам «поляк твердил о польском народе, а разумел под этим одну шляхту, и положение всего прочего большинства народа, осужденного на крайнее рабство под республиканским правлением Польши, ему было неизвестно». (По свидетельству Е. Штакеншнейдер, героинею романа «Накануне» (1860)

И. С. Тургенев первоначально думал сделать поляка, что пролило бы какой-то свет на данную проблему, но переменял намерение по чисто цензурным соображениям).

Костомаров, по крайней мере, хотел предоставить русскому читателю, «беспристрастную картину старой польской жизни и событий, сопровождавших прекращение самобытности Польши». Собирая в варшавских книгохранилищах материалы для окончательного завершения труда о «смутном времени» российского государства, историк группировал их также с прицелом решения подобного вопроса в жизни Польши – об эпохе последних лет ее как самостоятельного государственного организма.

Апрельским утром 1866 года свои повседневные занятия в Публичной библиотеке Николай Иванович завершил намного раньше обычного. Он торопился на спектакль в Александринском театре, где договорился о встрече со Стасюлевичем, чтобы обсудить с ним дела в издаваемом совместно «Вестнике Европы».

Был погожий весенний день. При выходе из библиотеки Николай Иванович заметил необычное оживление: народ стекался в разноцветные кучки, в которых различались чиновники, мастеровые, богатые вельможи. Люди размахивали руками, о чем-то громко судача. Подобные сборища стекались и растекались также перед театром – чудесным творением К. Росси, воздвигнутым по образцу эллинских храмов, где на сплошном желтом фоне празднично светились белые колонны. От человеческого движения кипел также Невский проспект – вечно сдержанно-возбужденный, наполненный топотом и шуршанием тысяч подошв.

Костомаров и Стасюлевич были готовы к переговорам, однако в первом же антракте перед опущенным занавесом показался актер, который взволнованно произнес:

– Сегодня, возле Летнего сада, стреляли в государя... С божьей помощью его спас мещанин Зайчиков!

Партер, переполненный аристократической публикой, на миг захлебнулся.

– Император...

Потом вспыхнули рукоплескания. Громом ударили выкрики:

– Смерть негодяю!

– Это поляки!

– Мало вешал их Муравьев!

– Многая лета нашему государю!

Дирижер взмахнул палочкой, и все перекрыла мелодия гимна «Боже, царя храни!»

Возвращался Николай Иванович домой по щедро иллюминированному Невскому. Он слышал имена других мастеровых-спасателей, отнюдь не Зайчикова. Между простым народом говорилося, будто поляки вообще непричастны к данному покушению, будто сделали это дворянские сыновья.

И только на следующий день газеты назвали имя «настоящего» спасителя – мастерового Осипа Ивановича Комиссарова. В народе же ходили слухи, будто Комиссаров был здорово пьян, когда стреляли, что его просто «замели» на месте преступления.

Комиссарова Николай Иванович увидел на спектакле в Мариинском театре. Произведенного уже в дворянское достоинство, его привезли вместе с женой и посадили рядом с царской ложей. На него смотрели как на живого Ивана Сусанина (кстати: он тоже оказался уроженцем костромских краев)*.

А в театре как раз давали оперу М. И. Глинки о русском мужике, который, спасая боярского сына Михаила Романова, нарочито завел в дебри отряд разбойничавших поляков. Николай Иванович, не соглашаясь с официальными историками, все же безмерно любил и ценил творчество Глинки, не упускал случая погрузиться в стихию давно ушедшего времени.

* Награды и почести сыпались на Комиссарова как из рога изобилия. Сам Некрасов сочинил в его честь хвалебное стихотворение.

Верноподданная публика, наэлектризованная недостоверными известиями, будто задержанный преступник сознался, что он природный поляк, — страшно загудела, когда на сцене послышались звуки легко различимого полонеза. Когда же там показались сценические «поляки» — в зале неистово закричали, затопали ногами и засвистели:

— Враги!

— Мечь!

В столице и дальше распространялись ужасные слухи. Следствие возглавлял по-своему знаменитый Муравьев-вешатель. Спасенному Богом и Комиссаровым самодержцу верноподданные дворяне, купцы, духовенство присылало адреса, выражавшие негодование по поводу подлого злодейства. Составили подобный адрес также столичные литераторы. Роскошную папку в дорогом футляре принесли на квартиру и к Николаю Ивановичу, однако он, не опасаясь результатов, отказался поставить под ней свою подпись.

— Я, господа, историк, — отвечал озадаченным делегатам. — Я не принадлежу к какой-либо партии. Занимаюсь последними годами Речи Посполитой и ни на что иное не обращаю внимания. (Нечто подобное, кстати, проявил и генерал-губернатор А. А. Суворов, назвавший Муравьева «людоедом», за что был подвергнут едкой критике со стороны поэта Ф. И. Тютчева).

Однако на самом деле все было не совсем так. Занятия ученого вскоре прервались редактированием произведений Т. Г. Шевченко, издаваемых Кожанчиковым. Кроме уже известных произведений поэта, в новую книгу вошло также много еще совершенно неведомого читателям и просто отвергнутого цензурой. А в каждой строке Кобзаря звучала жгучая современность...

Катков рвал и метал. Злость его выплескивалась на страницах им же издаваемых газет. Покушение на царя, был уверен махровый консерватор-реакционер, не мог совершить русский

человек! Однако вскоре выяснилось: возле Летнего сада стрелял 26-летний народоволец Дмитрий Каракозов, вольный слушатель Московского университета. Юноша верил, что после смерти монарха в стране разразится крестьянская революция.

Следствие продлилось все лето. Исполнение приговора – повесить! – назначили на осень.

Это должно было состояться на Васильевском острове, на просторном Смоленском поле (район нынешнего Дворца культуры, недавно носившего имя С. М. Кирова). Николай Иванович отважился стать непосредственным свидетелем события, о подобном которому ему приходилось только читать.

Выйдя из дома под тревожные слова Татьяны Петровны – она будет молиться за несчастную душу! – оказавшись на Большом проспекте, Николай Иванович сразу же был подхвачен могучим потоком, спешившим в одном направлении. Что-то высокое читалось на многих простонародных лицах. Неискушенные люди считали предстоящее достойной карой за богопротивное дело. Дрожащие руки раз за разом осеняли себя крестным знаменiem, особенно перед церквями, в которых творились молитвы и раздавались колокольные звоны. Другие же люди в толпе тревожно водили головами, ничего еще толком не понимая. Третьи просто испытывали первобытный ужас: они бы не стронули с места, да оставаться дома еще страшней! И лишь юноши в студенческих тужурках посмеивались, не веря, что казнь действительно может свершиться. Император помилует преступника!

Не раз доносилось:

– Гонец успеет...

– Верно...

– Читали... Хоть бы у Костомарова...

Николай Иванович сам побаивался предстоящего действия. Подобного рода событиям в древности он легко находил объяснения, но в нынешние времена...

Однако, казалось, все происходит точно так, как в очень далекие годы. Он увидел людей, находящих себе барыш даже в

трагических событиях: они продавали скамеечки, сделанные нарочито ради этого дня. С деревянных скамеечек, поставленных на кучах песка, земли, строительного мусора, — было отлично видно место предстоящей казни.

— Налетай! — раздавались крики. — Хватай!

Скамеечки рвали из рук.

Каракозова доставили на высокой повозке, прикованного к деревянному сидению. Он был бледен, истощен. Что-то упрямое светилось на его окаменевшем лице, в крепко сжатых губах. Пока читался приговор — среди студентов отмечалось выжидательное беспокойство. Подобное в столице случалось не раз. Такую комедию разыграл Николай I во время казни участников кружка Петрашевского (ужас тогда пережил писатель Ф. М. Достоевский).

В барабанном грохоте Каракозова подвели к петле, качавшейся не то от ветра, не то от дыхания народа. Палач набросил на жертву белый мешок и выбил из-под сапог опору... Четыре минуты, отметил Николай Иванович, продолжалась агония. Повешенный бил ногой об ногу, будто делал отчаянные движения, освобождая стянутые веревкой руки.

— Повесили?! — не верилось молодым умам.

— Повесили! — с удовольствием повторяли в толпе.

Где-то приводили в чувство потерявших сознание женщин, просили воды. Где-то плакали дети...

Тело висело с полчаса. Народ успел уже почти разбежаться, когда заросший бородою мужик привез гроб из голых не строганных досок. Палач вытащил казненного из неподатливой петли и, с помощью дюжих солдат, втиснул тело в узенький гроб.

Николай Иванович не мог впоследствии вспомнить, как и когда опустился на влажную землю. После этого написал: «Я достиг цели: видел одну из тех отвратительных сцен, о которых так часто приходится читать в истории, но заплатил за это недешево: в продолжение почти месяца мое воображение беспокоил страшный образ висевшего человека в белом мешке — я не мог спать».

Оправившись от средневекового ужаса, потрясенный, историк приступил к работе. Он чувствовал, что его чудесная память, перегруженная знаниями и ослабленная болезнями, не служит ему по-прежнему безотказно. Не обращая внимания на все несущественное, он пытался сосредоточиться над историей Польши. Всю последовавшую зиму разбирал документы в так называемом Литовском архиве при правительственном Сенате, а летом воспользовался командировкой Археографической комиссии для поездки в город Несвиж – с целью изучения бумаг литовских князей Радзивиллов.

Ехал через Вильно, видел результаты карательных мер генерал-губернатора Муравьева. Местные жители, опасаясь разговаривать на своей «польщизне», демонстративно пользовались только русским языком. Католицизм явно уступал позиции православной религии.

Замок Радзивиллов в Несвиже высылся посреди прудов, поросших тиной и заселенных утками и лягушками. С наступлением вечера они поднимали такой неистовый шум, что, казалось, оживали старинные строения. За мощными стенами снова слышались голоса, приятное пение. Звенели переливы смеха. В замке, возведенном на острове, не раз гостил польский король. Кроме роскошных некогда залов, многочисленных покоев, башен, погребов, старинных пушек (все уже превращалось в руины, включая пушечные стволы), особый интерес вызывали архивы. Осмотрел ученый и княжескую усыпальницу в родовом костеле. В его присутствии было вскрыто несколько гробов. В одном из них, в красном жупане, отдыхал Карл Радзивилл, известный под характерным прозвищем *panie kochanku...*

После Несвижа Николай Иванович побывал в Москве, изучал донесения русских послов о делах в Речи Посполитой...

Работа над историей Польши продолжалась вплоть до 1869 года. Ради нее пришлось торчать в столице даже в летнюю пору. От повсеместной засухи горели леса, стояла страшная духота. Но Николай Иванович не мог оставить работу.

К тому времени он уже развязал себе руки с редактированием «Вестника Европы». Дело в том, что Стасюлевич значительно расширил свое издание. Вместо ежегодных четырех номеров он приступил к выпуску двенадцати и, как полагал Николай Иванович, стал искать причину, чтобы избавиться от компаньона, «сепаратистская» репутация которого могла бросить тень на издание в целом. Отказавшись от обязанностей соредактора, Костомаров все же остался автором журнала. Еще до завершения монографии о Речи Посполитой, он напечатал в нем труд о Юрии Хмельницком – также гетмане, однако недостойном сыне своего великого отца. Юрий стал слепым оружием в руках врагов украинской земли: в замыслах польских магнатов и татарских ханов.

«Последние годы Речи Посполитой» печатались на протяжении целого года. Произведение отняло у автора много сил. Стареющий профессор сам уже чувствовал, что даже ординарный университетский курс лекций теперь ему не под силу, хотя высшие учебные заведения по-прежнему сохраняли надежду заполучить его себе на кафедру. Скажем, столичный университет признал Костомарова почетным членом, а Киевский – уже в который раз надеялся причислить его к своим действующим лекторам. Однако и новый Министр народного просвещения, граф Дмитрий Андреевич Толстой, будущий Президент Академии наук (1882), стоял на позициях предшественника. Толстой лишь назначил Костомарову постоянное жалованье ординарного профессора, желая как можно прочнее закрепить его в Археологической комиссии. Одновременно Костомарова произвели в чин действительного статского советника: это равнялось рангу армейского генерал-майора.

Ученый, вместе с тем, чувствовал резкое ухудшение здоровья. Особенно запомнилась ему зима 1869 года. Он приступил тогда к чтению курса русской истории в Клубе художников, где собиралась обширная аудитория, человек 300-400. Намеревался подготовить не менее 20 лекций, но успел прочитать лишь 10,

всего половину, и при этом едва смог дожидаться апрельского тепла.

Исключительно сложный вопрос, почему и как захирела Речь Посполитая, а народ ее потерял государственную самостоятельность, — Костомаров старался в значительной степени решить с позиций этнографии, анализируя национальный польский характер. «Поляк легко воспламеняется, — написал Николай Иванович, — когда затрагивается его сердце, и легко охлаждается, когда сердце от утомления начинает биться тише, легко доверяется тому, что льстит желанию его сердца, и легко теряет доверие, когда слышит что-нибудь неприятное сердцу, и в обоих случаях легко попадает на самообольщение и обман: голос холодного здравого рассудка, хотя бы самый дружеский, ему противен; увлекаясь чувством, он считает возможным невозможное для его сил, затевает великое дело и не кончает его, делается несостоятельным, когда для дела оказывается недостаточно сердечных порывов, а нужно холодное обсуждение и устойчивый труд; он способен к чрезвычайной деятельности, но ненадолго, и может скоро впасть в лень и апатию; он добр до беспредельности и способен на величайшее самопожертвование в пользу доброго дела в минуту увлечения, но редко способен вести его с постоянством, может бросить его на полудороге, легко сделаться свирепым, жестоким, но также по увлечению сердца и ненадолго. Не в натуре поляка ни постоянная долгая дружба, ни упорная мстительность. При первом неприятном на его сердце впечатлении он рассорится с вернейшим другом, изменит ему, но зато легко протянет руку закланному врагу, если тот удачно польстит его чувству. Его легко поднять до восторга и довести до уныния; от этого он часто бывает чрезмерно кичлив и заносчив, но часто падает духом и унижается в несчастии, то чрезвычайно храбр, то чрезвычайно труслив, то чересчур бурлив и неугомонен, то чересчур податлив».

Приведя такую характеристику среднестатистического поляка, автор на протяжении сотен страниц огромной книги при-

меряет ее ко всем действующим лицам переломной эпохи. Лиц в монографии насчитывается очень много. Они предстают перед нами со своими привычками, в исключительно верно переданной одежде, на фоне или даже в стенах родовых обиталищ, в старинных замках, дворцах, в королевских цитаделях. Читатель просто-напросто забывает, что перед ним научное произведение, где все подвержено строгому анализу. Драматически-роковые перипетии воспринимаются как мастерски выписанный роман. Вот, например, литовский вельможа Карл Радзивилл, в своем ярко-красном жупане, с белыми усами на продубленном ветром лице: именно в таком жупане видел его Костомаров в Несвиже, в семейном склепе... Вот терзается сомнениями, пускает слезу 60-летний король Станислав-Август Понятовский, которого напрасно ждали в действующем польском войске: он в это время обретался в плену у 18-летней красавицы-француженки Люлли. Судьба потешалась над королем, вручив ему Речь Посполитую в самый тяжелый для нее исторический период. Лишенного трона, смерть положила его в костеле святой Екатерины на Невском проспекте...

Стареющий мастер слова какими-то чудными способами, несколькими словами, умел изобразить полки воинов – и мы их видим воочию. Он умел восстановить боевые операции: мы сами принимаем в них участие. А польские сеймы, сеймики, польская живописная шляхта... Восстановлены, художественно и документально, последние длинные заседания сейма, бесстыжее поведение русского посланника Я. Е. Сиверса. Попирая дипломатические и человеческие условности, под угрозой применения военной силы, Сиверс принуждал подписывать необходимые Екатерине II условия, превращая тем самым территорию суверенного государства в товар, которым царица могла удовлетворять аппетиты своих политических партнеров – прусского короля и австрийского императора...

События, описанные в труде, охватывают время от того рокового дня, когда на престоле оказалась упомянутая креатура Ека-

терины II и до окончательного раздела Речи Посполитой между тремя государствами. Сначала в монографию не вошел период борьбы с царизмом под руководством Тадеуша Костюшко, однако в дальнейшем автор все-таки присоединил к повествованию историю славного рыцаря свободы, считая его настоящим борцом за волю...

Наполненная массой фактического, самого интересного, просто захватывающего материала, книга получилась все же довольно субъективной. Много фатального чувствуется в поступках польского народа и его государственных деятелей, в их попытках что-то противопоставить неотвратимому развитию событий. Поляки не могут переиначить свои «чисто славянские» характеры, перебороть себя, улучшить свой государственный строй даже введением конституции. Исчезновение польского государства – событие вполне закономерное. Оно должно было, считает автор, подчиниться России, которая имела мощный государственный порядок благодаря своему монархическому строю. Такова логика истории. В результате получилось так, что в русском государстве ученый увидел строй, которому он волей-неволей пропел подобие панегирика.

А Польша...

«Так пало государство, существовавшее 1000 лет, пало по непреклонному нравственному историческому закону, по которому всякая нелогичность, всякая несовместимость противных начал в общественном строе производит внутреннюю болезнь; а последняя, если не будут приняты против нее меры в пору, при развивающих ее обстоятельствах, скоро или поздно доводят весь общественный механизм до разрушения (...). Коренных причин падения Польши следует искать не в явлениях политической и общественной жизни, а в том складе племенного характера, который производит эти явления».

Как и все древние славяне, начиная с VI века – поляки, по мысли Николая Ивановича, не терпели единовластия, более всего ценя свободу. Поляки, правда, имели короля, но власти ему

не предоставляли. Имели государство, но всячески стремились, чтобы оно не мешало их личной свободе. У них вроде бы наличествовал республиканский строй, при котором свобода должна была являться знаменем политического бытия. Благодаря республиканскому строю, считая себя наследниками древнеримской республики, поляки действительно выделялись свободой между прочими государствами. Но вместе тем во всей Речи Посполитой существовало настоящее рабство, невероятное унижение человеческого достоинства. Поляки «хотели быть свободными, но были лишь деспотами». Возможность быть деспотами развращает человека. Страдания других, подчиненных существ, деморализует самого деспота, приучает его к безделью, жестокости, эгоизму. Рабство существовало во многих государствах, но там «маленьких» деспотов цементировала всесильная власть монарха. Им волей-неволей приходилось заботиться о державе. В Польше же этого быть не могло. Король для поляков по-прежнему мало что значил. Чем дальше, тем больше терял он и без того весьма ограниченную власть. Полякам, получалось по Костомарову, вредил республиканский строй.

Конечно же, Николай Иванович высоко ставил саму идею республиканских основ правления. Он считал, что не республика, в конечном счете, была здесь виною, а лишь сумбурное переплетение республиканского строя и низкого рабства. Костюшко, благородный, честный последователь идей Франклина и Вашингтона (в продолжение нескольких лет ему пришлось воевать на стороне американских республиканцев), провозгласил освобождение крестьян так называемым Поланецким универсалом, однако не смог реализовать его положения. Итак, несуразность устройства Речи Посполитой не была устранена даже гением Костюшко.

Характеризуя государства, разделившие меж собою Речь Посполитую, основными чертами деятельности их правительств Костомаров называет попрание международного права и форменное насилие. Это было действительно так. Только присое-

динение к России украинских земель, входивших дотоле в состав Речи Посполитой, автор считает без сомнения прогрессивным явлением. Попутно он подчеркивает, что дальнейшим шагом правительства России должны стать его старания по просвещению людей присоединенного края.

Завершая разговор о фундаментальной монографии Костомарова, необходимо напомнить, что, преувеличивая значение «уникального» польского национального характера, ученый игнорировал социально-экономические обстоятельства, в которых, едва ли не в первую очередь, следовало искать причины упадка и окончательного падения Речи Посполитой. Во второй половине XVIII столетия, после так называемого первого раздела 1773 года, передовая часть шляхты, вместе с зарождавшейся в стране буржуазией, пробовала провести определенные реформы с целью прекратить магнатско-феодальную анархию, способствовать экономическому развитию страны. Этим духом наполнена конституция 1791 года, принятая сеймом 3 мая. Однако русский царизм не желал иметь под боком сильное государство, пропитанное подобными идеями. Когда реакционная часть шляхты, выступавшая против реформ, обратилась к Петербургу за помощью, – царское правительство тотчас ввело на их территорию свои войска и вместе с Пруссией совершило второй раздел суверенного государства. Это случилось уже в 1793 году. А в 1794 разразилось польское освободительное восстание, возглавляемое Т. Костюшко. Попытавшись уменьшить феодальную зависимость крестьянства, он старался призвать крестьян к борьбе за национальную независимость, да все попытки его встретили сопротивление реакционной шляхты. Поддержки не получилось. В 1795 году Россия, Австрия и Пруссия в третий раз и надолго разделили между собой ее территорию. Освобождение поляков стало возможным только после радикальных перемен в России, точнее – в результате уникального международного положения.

Монография о последнем периоде самостоятельности Речи Посполитой стала заметным событием в исторической науке.

Императорская Академия наук, которая не торопилась избирать ученого в число своих членов, поскольку усматривала в его взглядах и деятельности оппозицию существующим порядкам, — вынуждена была все-таки рассмотреть вопрос о присуждении ему научной Демидовской премии. Необходимо заметить, что нечто подобное происходило и в 1861 году. Тогда Николай Иванович, по поручению академии, разбирал сочинение «Черноморские казаки» И. Попки. Рецензия получилась настолько обширной, что была удостоена золотой медали. В этот же раз Академия наук предложила историку Д. И. Иловайскому, к тому времени уже академику, прорецензировать книгу «Последние годы Речи Посполитой» и определить, какой премии заслуживает ее автор. Иловайский, как полагал Костомаров, сам немало писал на подобную тему. Это-то обстоятельство, по мнению Николая Ивановича, могло стать причиной того, что он признал книгу достойной лишь малой Демидовской премии. В академии с оценкой не согласились, обратились к марбургскому ученому Германну, известному автору истории России и хорошему знатку русского языка. Зарубежный ученый сделал заключение, что Костомаров заслуживает большой премии. Однако и после этого недруги использовали все возможности, чтобы Николай Иванович получил премию второго достоинства.

ПРИТЯЖЕНИЕ УКРАИНЫ

Начиная с 1870 года, Костомаров совершил немало поездок на юг страны, в частности — на Украину. Об Украине, особенно затяжными зимними вечерами, велись разговоры как в уютной квартире на Девятой линии, в общении с земляками, так и в квартирах самих земляков-друзей. Прежде всего, пожалуй, это наблюдалось в гостеприимном жилище художника Николая Ни-

колаевича Ге. Ученик Костомарова в Киеве, он стал теперь его ближайшим соседом (современный адрес дома, в котором жил художник – Седьмая линия, 36).

В квартире Ге, как свидетельствует тогдашний ученик академии художеств И. Е. Репин, собирались «самые выдающиеся литераторы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Пыпин, Потехин, молодые художники: Крамской, Антокольский, певец Кондратьев и многие другие интересные личности». В числе «интересных личностей» следует назвать художников Г. Г. Мясоедова, В. Г. Перова, скульптора П. К. Клодта, актера и писателя И. Ф. Горбунова, адвоката В. П. Гаевского, ученого П. А. Костычева, композитора А. В. Серова, тверских дворян Бакуниных и прочих. Говорили об искусстве, о судьбах России. Сам Ге, как и в прошлые годы, обожал Украину, Киев, часто припоминал гимназическое житье. Ученицей Николая Ивановича по киевскому пансиону оказалась и жена Николая Николаевича – так что воспоминаниям не предвиделось конца. Художник вскоре написал портрет Татьяны Петровны (1870), а затем – и портрет Николая Ивановича (1877). В семье ученого он стал своим человеком.

С тех пор, как Николай Иванович в последний раз побывал на Украине, минуло немало лет. Не было уже на свете тамошних друзей и знакомых: писателей Г. Ф. Квитки-Основьяненко, П. П. Гулака-Артемовского, тяжело болел поэт А. Л. Метлинский – вскоре пришла весть о его смерти. Да и среди живущих кое-кто забывал о своих молодых порывах, об украинофильстве – вот как профессор И. И. Срезневский.

В июне 1870 года Костомаров уже купался в Черном море близ Феодосии, затем – возле Ялты, Алушты, Севастополя, Евпатории. (В Ялте ему удалось повстречаться со Степаном Руданским, оригинальным переводчиком на украинский язык поэм Гомера, повидаться с безнадежно больным Метлинским). Купание, говоря современным нам языком, вообще превратилось в хобби историка. Все сильнее и сильнее проникался он верой в целебную силу воды. Стараясь нырнуть в нее при любых при-

родных условиях, Николай Иванович нередко вызывая улыбки присутствовавших при этом, сказать бы, уже своей далеко не спортивной фигурой.

В Крыму его прямо-таки поразил вид разрушенного войной Севастополя, опечалило пустынное море. После войны прошло уже немало лет, но город едва-едва начинал возрождаться, оставаясь наглядным памятником мрачного царствования Николая I.

Побывал Костомаров в то лето и в древнем Херсонесе, в Инкермане, Бахчисарае, Одессе. Он изучал и осматривал остатки древнего мира, однако везде, особенно в Одессе, чувствовал вторжение в современность каких-то новых, чуждых ему элементов, дыхание победно шагающего меркантилизма, который успел уже покорить европейские города.

Особенно быстро по этому направлению продвигалась Одесса. Иногда казалось, будто ты перенесся в итальянский город – если бы не повсеместная русская речь на улицах. Возводились многочисленные «доходные» дома. Дымили трубы новейших заводов. Толпилось много бездомного люда, согласного приступить к любой работе. Их мучили угрозы голода. Одесса совершенно не располагала зеленью, за исключением, пожалуй, дачи графа Ланжерона и немецкой колонии Люстдорф.

После сравнительно продолжительного пребывания в этом городе, в квартире ректора тамошнего Новороссийского университета Ф. И. Леонтовича, затем кратковременного визита в Киев, где не приходилось бывать на протяжении целых двадцати трех лет, – Николай Иванович отправился назад в столицу. Мало того, что в Киеве на него надели тягостные воспоминания, он почувствовал также резкое ухудшение здоровья, а по возвращении в Петербург действительно слег в постель.

Болезнь продолжалась долго. Об этом свидетельствует письмо Д. Л. Мордовцеву от 30 октября того же года: «Я трохи дуба не дав!» И это было действительно так. Как показало развитие дальнейших событий, болезнь того памятного года имела самые

серьезные последствия. Николая Ивановича будто подменили. Его нельзя было узнать.

Характерным с этой точки зрения является поведение ученого на I археологическом съезде в Санкт-Петербурге в 1871 году. По сообщениям Мордовцева, Николай Иванович «высидел весь съезд (...) скромно, и только в письме (...) отвел душу в меткой, по-прежнему яркой, как его талант, но добродушной сатире, от которой жестоко досталось и «настоящим ученым» (ведь настоящие ученые не считали его ученым), и их «настоящей» науке».

В мае 1872 года Николай Иванович снова отправился на юг страны осматривать места, оставившие следы в истории украинского казачества, о которых не раз упоминалось им в собственных трудах, но которых он до сих пор покамест не видел. Более того, он не имел представления, что именно сохранилось там от прошедших времен, что осталось в памяти людей.

За время, прошедшее после последнего посещения Киева, Николай Иванович ничего значительного не написал, что лишний раз подтверждает серьезность его заболевания. Более того, он даже и не замахивался на что-нибудь выдающееся, если не принимать во внимание труда об историческом значении южно-русского песенного народного творчества. Но все-таки названное сочинение оказалось расширенным изложением его магистерской диссертации харьковского периода. Относительно же новых работ – для указанного периода можно назвать еще статью «Начало самодержавия в древней Руси», опубликованную в «Вестнике Европы». Впрочем, и эта статья – тоже, скорее, лишь краткое резюме его лекций, прочитанных в Клубе художников, да материалов в «Основе» – «О федеративных началах».

В новой статье историк строго научно доказывал, что самодержавие на Руси действительно зародилось в результате монголо-татарского завоевания, что саму идею подобного института, абсолютно чуждого славянскому миру, русская государственная практика переняла от золотоордынских ханов. В доказательство этого положения ученый ссылался на то, что даже

при князьях Юриковичах, привнесших на наши земли ростки государственности, Русь по-прежнему не знала абсолютной власти, что и тогда процветали в ней автономия и повсеместно господствовали федеративные начала.

Прочие статьи, помещенные преимущественно в «Вестнике Европы», также базировались на материале, опубликованном прежде. В них, к примеру, трактовалось о личности Ивана Грозного, и Николай Иванович обращал внимание читателя на то, что в летописях о жестоком самодержце содержится много противоречивых данных. В статьях историка того периода говорилось также о наиболее ярких подвижниках «смутного времени».

Весенний Киев показался очень красивым, как и четверть века назад. Однако задерживаться в нем было некогда. Хотелось, пока позволяет здоровье, как можно скорее совершить всё задуманное.

В путешествие Костомаров отправился вдвоем с поэтом и этнографом Павлом Платоновичем Чубинским, знакомым еще со времен «Основы»*. Путешественникам хотелось добраться до Корсуня, побывать в урочище Крутая Балка, где 16 мая 1648 года Богдан Хмельницкий нанес первый удар коронным польским войскам во главе с гетманами Потоцким и Калиновским. Казацкому предводителю удалось полной мерой воспользоваться рельефом местности, чего никак не учитывали, особенно при отступлении, польские военачальники, — оба оказались в плену. На месте сражения, по сообщениям летописей, в древности шумели леса, а теперь простирались расчищенные поля, принадлежавшие князю П. П. Лопухину. Новый владелец развел неподалеку чудесный сад, но все же, отдавая дань моде, собирал исторические реликвии, демонстрировал их ученым.

Проехав вдоль живописной речки Рось, путешественники посетили недалекий от Корсуня монастырь, где в свое вре-

* П. П. Чубинский — автор слегка измененных слов современного государственного гимна Украины.

мя был пострижен в монахи незадачливый Юрий Хмельницкий. Побывали также в нескольких других монастырских обителях, в частности – в Лебедине, упомянутом Тарасом Шевченко в поэме «Гайдамаки». Там легче всего было чувствовать дыхание исчезающей Украины: монашеский быт не менялся в течение многих столетий. История как бы спрессовывалась в монастырских стенах.

Земли, именуемые Белоцерковщиной, оказались также богатыми разного рода памятниками. На ней еще поджидали исследователей старинные городища, курганы... Что же касается казацких времен – в Приднепровье были перемешаны следы абсолютно разных событий, между которыми, опять-таки, пролегли столетия. В Жаботине, к примеру, гостям показали хату сотника Харька, убитого поляками накануне Колиивщины – грандиозного восстания 1768 года. Обозрение ее навело на мысль посетить Мотронинский монастырь, основанный в 1568 году, приютивший в свое время в качестве послушника одного из вождей Колиивщины – Максима Железняка. Монастырь был по-прежнему обведен земляными валами, поросшими, правда, настолько густыми деревьями, что сами валы уже с трудом различались.

Из святой обители, в сопровождении говорливого послушника, Николай Иванович сделал вылазку в лесные чащи, в урочище под названием Холодный Яр. Там, в восьми верстах от монастырских стен, в глубоком овраге, собирались гайдамаки, положившие начало кровавой войне...

На прощанье архимандрит велел принести небольшую по размерам «парсуну» парубка с невероятно отчаянным взглядом.

– Ну-ка, гости дорогие, кто бы это, по вашему мнению, мог быть? – загорелись стариковские глаза.

– Наверно...

– Да неужели?..

– Он! – ударил архимандрит руками о полы. – Железняк... Максим... Богомазы намалевали... Умели... Бог помогал!

– Вот так портрет!

Работа на самом деле получилась превосходной, хотя в передаче фигуры чувствовалось нечто условное, добытое в результате однообразных упражнений.

– Посмотрите еще на монеты. Вырыты в наших валах...

На темных металлических кругляшах, покрытых густою патиной, стояли знаки византийских императоров...

Из Мотронинского монастыря ученые направились в Субботов, родовой хутор Богдана Хмельницкого. Там созревали мысли знаменитого человека как перед началом восстания, так и после того, когда оно уже полностью разгорелось, когда Богдан стал государственным мужем, принимал в Чигирине высоких посланцев (к примеру, его приветствовали послы от английского реформатора Оливера Кромвеля).

По пути в Субботов удалось заглянуть в Ведмедовский монастырь, к которому Хмельницкий относился с особым вниманием: там, как считалось, какое-то время находилась могила его старшего сына Тимофея, погибшего при защите молдавской крепости Сучава.

Подходящим толкователем старины в Субботове оказался местный священник, отец Роман. В чистенькой горнице, на видном месте, рядом с потемневшими иконами под рушниками, висел портрет Хмельницкого. Священник отправлял службу в небольшой деревянной церквушке, но из окошек его горницы виднелась другая церковь. Гости отведены были к ней без малейшего промедления.

– Вот она какая, Павел Платонович! – восхитился Костомаров. – Вот где молился Богдан!

Своей архитектурой старинная церковь напоминала римско-католические костелы, распространенные во времена правления Речи Посполитой. Очевидно, возводя православное святилище, гетман предчувствовал собственную кончину, почему и намерился обзавестись усыпальницей. По своим размерам церковь получилась довольно скромной, в форме четырехуголь-

ника, с узкими окнами и толстыми стенами. Точно такой представлялась она при взгляде на рисунки Шевченко, посещавшего эти места за тридцать лет до описываемых нами дней... Внутри церкви поражали крутые ступеньки, ведущие на хоры... А еще там, справа от входа, висела доска с сохранившейся памятной надписью: в 1657 году здесь был похоронен гетман Богдан Хмельницкий, тело которого, в 1664 году, приказал выбросить из могилы польский военачальник Стефан Чарнецкий...

Невдалеке от церкви виднелись фундаменты других строений. Отец Роман объяснил, что там в свое время размещался хутор.

– Вот Богдановы погребя, – выставлял он руки из-под скромной рясы. – Лет двадцать назад тут торчали стены. Только наши прихожане, несмотря на мои наставления, разносят камни... Богдан для них уже вроде сказки...

Рядом с гетманским подворьем формировался глубокий овраг. Его размывали воды, пробивавшие дорогу к Тясмину. На дне оврага не стихал ручей.

Николай Иванович быстро разговорился с поселянами, которые начинали возвращаться с полей, неся на плечах слепящие лезвия кос.

– Не расскажете ли нам, что вы знаете о Богдане Хмельницком?

Хмельницкий на самом деле стал для крестьян легендарным героем, каким-то удивительным образом связанным с этими местами...

– Э, господа хорошие... Богдан Хмельницкий... Он рубил головы возле той вон каменной бабы, видите? «Молитесь, укажет на церковь, и прощайтесь с жизнью... Попили людской крови»... Такой был решительный...

Речь одного крестьянина тут же была подхвачена другими.

– Эге, рассказывал мне мой дедушка. Ему – его дедусь, а там кто-то своими ушами слышал и своими глазами видел... Выйдет, бывало, Богдан на крыльцо, увидит косарей по-над Тясмином,

версты три туда будет, да как крикнет: «Хлопцы! Идите водку пить, жена борщ хороший сварила!»

– Да, да, – поддержали, пыхая дымом из трубок и перемещая лезвия в траве. – Сильный был голос!

– Гетман, одним словом!

Тясмин внизу извивался синеющей лентой. В лучах предзакатного солнца струились красные искры.

– Я тоже что-то слышал, – добавил еще один старик. – Непростой был человек, хоть и с государями знался.

К разговору приставали исключительно все.

– Известно! А Бог счастья не дал... Сын Юрко предал нашу веру. Стрелял, чертова душа, в божью церковь. Теперь должен блуждать до страшного суда!

– Чумаки в степи его видели! Лет триста уже наберется, а все еще молод, только высох как щепка!

– Конечно!

Народ не удерживал в памяти хронологию событий. Все для него перемешалось: давнее, позднее.

– Ой, как зверели паны, словно бешеные собаки! – продолжал старый крестьянин с густыми морщинами на лице. – До тех пор, пока царица Катерина не заступилась за народ и не отняла наш край у Польши! Только был у нее, господа хорошие, не то приказчик, не то старший слуга, одним словом – любовник... Потёмка! Он выдал свою дочь за графа Браницкого и начал попустительствовать панам. Тогда на помощь людям пришли Хмельницкий и Чорба. Потёмка дрался с Чорбой, убил его, но и Чорба попал в него из мушкета. Аж за Херсон бежал Потёмка, стал там медным и застыл на месте. Чумаки его видели. Как живой, говорят...

– Да! Москали его памятником называют!

– Вот тогда-то Хмельницкий и взялся за панов!..

Сидели над долиной простые хлеборобы, старые, и молодые, говорили без умолку, но не знали истории родного края. Слушая их, Николай Иванович думал: сколько же следует при-

ложить трудов, чтобы отделить выдумки от правды, чтобы предстала она в непорочном виде...

Над Тясмином стояла и прежняя столица Богдана Хмельницкого – город Чигирин. Над ним нависали горы, на склонах которых курчавились сады. На возвышенностях виднелись руины. Их опоясывали земляные валы, поросшие вековыми деревьями...

Многое видел на своем веку Чигирин. Еще во времена московского царя Федора Алексеевича город осаждали татары. О более давней, буйной истории края говорили курганы-могилы...

Костомаров неспроста торопился осмотреть казацкие земли: болезни отыскиали его даже в благодатном крае. Во-первых – мучил ревматизм, приобретенный в Алексеевском равелине. Во-вторых – болели глаза. Внутренности грудной клетки разъедал туберкулез. Все это вынудило возвращаться в Петербург, где врачи в один голос стали уговаривать его дать отдых глазам, чтобы не ослепнуть окончательно.

Остаток лета пришлось провести в Ораниенбауме – в позапрошлом веке там насчитывалось немало дач петербургской знати. Так повелось со времен Петра I: приближенных вельмож царь любил награждать приморскими землями. Ораниенбаум сначала находился в руках князя Меншикова. После его падения хозяева города часто менялись, но каждый из них оставлял следы в виде какого-нибудь строения.

Николаю Ивановичу более всего понравился дворец Петра III – великолепное сооружение XVIII столетия. Стареющему ученому любо было сидеть у подножия лестницы, рассуждать об Украине, историю которой ему пока что не удалось написать.

В 1872 году на постоянное жительство в Петербург переехал Данило Лукич Мордовцев, и в его лице Николай Иванович получил себе постоянного собеседника, друга, единомышленника. Плодовитый автор на ниве истории, как и беллетристики, Мордовцев оставил также обширное наследие на украинском языке.

ке, отчего, подобно Костомарову, он в равной степени принадлежит и русскому, и украинскому народам.

Мордовцева поразил сам вид Костомарова. Вот его впечатления: «Я (...) нашел, что это, действительно, – не тот Костомаров. Я застал его с мокрым полотенцем на голове. Он жаловался на нестерпимые боли в затылке. И в лице его, и в движениях замечалась какая-то перемена. Вместо нервных подергиваний одной правой стороны лица, что было у него всегда, – теперь дергалась, и довольно часто, вся голова, как бы закидываясь назад. С мокрым полотенцем на голове он и гулять ходил со мною, и невольно привлекал общее внимание. Он напоминал собою старого арабского паломника с концами белой чадры на затылке».

Конечно, состояние собственного здоровья приводило ученого в большое уныние. Мало что меняли даже дни облегчения, когда болезнь вроде бы отступала. «По целым часам он лежал, бывало, в своем рабочем кабинете с трубкою в губах (зубов у него было маловато), – пишет все тот же Мордовцев, – и с Васью котом на животе. За это лежание я постоянно преследовал его насмешками – одним словом, «шкилевал», как он выражался. Но на все мои преследования он отвечал: заниматься нечем, не знаю, что писать, – научите».

В минуты хандры Николай Иванович кричал: «Уйду в монастырь!» Подобные слова от него, скажем, на Елагином острове (Николай Иванович снимал там дачу) частенько слышал писатель Иван Александрович Гончаров, его близкий сосед и попутчик на ежедневных прогулках. Но как только, после вынужденного отдыха, со здоровьем стало несколько лучше – ученый сразу же поспешил в Москву: ради изучения бумаг так называемого Малороссийского приказа при Сенатском архиве. Под его неусыпным присмотром появилось несколько томов в издании «Труды этнографо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Императорским географическим обществом».

Николай Иванович уже принялся было разрабатывать историю гетмана Петра Дорошенко, намереваясь шаг за шагом заполнить лакуны в истории Украины, как вдруг, в декабре, болезнь глаз усилилась настолько, что ученый почувствовал себя окончательно вышибленным из седла. Не говоря уж о свете настольной лампы – нельзя было раскрыть веки даже при квелей свечке. Он просто кричал от боли.

Страдания усиливали отчаянье. Истощалась нервная система.

– Зачем жить, если не могу работать? – кричал историк.

От этих жалоб кровью обливалось сердце Татьяны Петровны, однако она не теряла надежды на божью помощь. Она молилась и советовала то же самое делать сыну. На какое-то время молитвы стали для Костомарова единственным утешением.

Постепенно, постепенно – и мысли его набрели на спасительную стезю. Его знания, пожалуй, нужны не только ученым и высокообразованной публике. Их можно использовать также для написания популярных книг, чтобы люди получили верное представление о том, что творилось на их землях в давние годы.

Николай Иванович припоминал беседы с простым народом на Украине, в частности – в хуторе Субботове, с земляками Богдана Хмельницкого. Такое же впечатление производили на него и подмосковные русские крестьяне в Тушине. То же самое видел он в приволжских степях – везде, везде. Подобный труд, казалось, не требует напряженной работы с источниками, не придется напрягать угасающее зрение – достаточно элементарного умения, чтобы более-менее живо представить читателям людей, с которыми связаны главнейшие исторические события в России, начиная от древних князей.

Николай Иванович закричал от радости:

– Матушка! Есть работа!

Татьяна Петровна, поспешив на крики, вжалась в дверной косяк:

– Ой, Господи!

– Я придумал работу! Вот послушайте...

Николай Иванович ожил. В помощники ему удалось залучить супругу В. М. Белозерского – Надежду Александровну (Белозерские снова жили в столице). Молодая женщина читала указанные места из книг и писала под диктовку ученого. Он имел уже четкое намерение создать «Русскую историю в жизнеописаниях главнейших ее деятелей».

Это было издание для популярного чтения, которое согласилась печатать сестра Белозерской – издательница Кульжинская. В мае 1873 года вышел первый выпуск новой серии, после чего ученый сразу же принялся за подготовку второго.

Работы на этом поприще предвиделось на долгие годы.

Болезнь глаз постепенно отступала.

В мае того же 1873 года, в день именин, друзья историка праздновали юбилей его творческой деятельности – 35-летие со дня выхода в свет первого литературно-драматического произведения на украинском языке – «Саввы Чалого». Вечером на квартире ученого собрался кружок его близких знакомых: Н. А. Белозерская с мужем, художник Н. Н. Ге, актер И. Ф. Горбунов (по словам А. Ф. Кони, его роднило с Костомаровым тонкое знание церковно-славянского языка и прочих церковных древностей), сосед по лестничной площадке Н. И. Катенин, субсидировавший некогда журнал «Основу», издатель Д. Е. Кожанчиков, литератор и этнограф С. В. Максимов, к тому времени уже автор нашумевшей книги «Год на Севере», товарищ по Харьковскому университету, а теперь преподаватель Александровского лицея – Ф. К. Неслуховский со своим семейством, священник Стефан Опатович и, конечно же – Мордовцев.

Николай Иванович снова был оживлен. С большим мастерством прочел он на вечере, от лица воображаемого древнего монаха, свое «Сказание о бесовском наущении». Лукавый бес, рассказывалось там, вроде бы принудил монаха вместо всенощной службы наведаться в современный театр на представление

пьесы «Пророк». У нас нет возможности привести здесь полностью стилизацию древней русской речи, которую историк произнес наизусть, но представление о ней может дать любой произвольно выбранный кусок. «(...) совратихся с пути истинна, – говорит химеричный монах, – текох в позорницу, юже устроил диявол на уловление душ человеческих, идеже окаянные волохи творяху мерзопакостную игру, юже нарекли есть «Пророком». (...) Сидяшу же ми на месте, еже купих за тридесять сребреника, и озреха, и видех множество мужей, жен и дев собравшихся того позора для, и се видоша блудницы мерзкия, плясовницы, дщери Иродовы, невести сатанины, жены адовы, и начаша плясати и бедрами потрясати, ногам же их бысть подъятие велие искушения ради очес человеческих. К тому же сотворися шум геенский и играние мусикии, и свирели, и посвистели, и бубны, и домры, и накры, и скрипицы, и тимпанов ударение велие, яко, мноу, храмине поколебатися...»

Юбилей решено было ознаменовать памятным подарком – альбомом с портретами друзей. Н. Н. Ге сделал карандашные наброски, их перевели в чеканку. В изображении преобладали украинские мотивы: кобзарь с бандурою, верховые казаки. В стороне виднелись чернильница, свитки хартий, а надо всем нависали фигуры Богдана Хмельницкого, Ивана Грозного, Ивана Выговского, Степана Разина, русских царей, князя Владимира, князей Олега, Рюрика, Синеуса, Трувора – то есть, тех исторических деятелей, о которых писал Николай Иванович.

Летом того года Костомаров снял дачу на Петровском острове, расположенную у самого моста, перекинутого на остров Крестовский. Постоянными собеседниками теперь у него были Кожанчиков, Мордовцев, Белозерская, поэт П. А. Вяземский, издатель и археолог Н. П. Барсуков и другие. Николай Иванович много работал над «Кудеяром» – исторической хроникой в трех частях из времен Ивана Грозного, вечерами посещал ближайший трактир, играл на бильярде с Кожанчиковым.

Книга о Кудеяре, отражавшая дух далекой эпохи, выводила из небытия исчезнувших деятелей русской истории.

И снова неудержимо потянуло на Украину.

В конце июля 1873 года Костомаров уехал туда по приглашению знакомых помещиков Кульжинских (из этого семейства была издательница его «Жизнеописаний»). Добравшись по железной дороге до Екатеринослава и проведя там целую неделю, Николай Иванович нанял извозчика и двинулся с ним вниз по Днепру. Ему хотелось своими глазами осмотреть места, где стояли «курени» и сам «кош» Запорожской Сечи, обозреть острова и пороги, да и сами берега знаменитой реки, о которой когда-то слышался от Срезневского в Харькове, затем много читал, но видел главным образом только в районе Киева.

Днепр оказался еще более живописным, нежели предполагалось. Особенно поразили пороги Ненасытец и Вольник. На значительном расстоянии от них, хотя весенние воды давно уже спали, стоял такой всемогущий шум, что при разговорах нельзя было различить ни слова. Вообще-то порогов насчитывалось целых двенадцать; были там и так называемые «заборы» – также природные препоны для речного течения, только поменьше размерами.

Днепровские берега возле Екатеринослава выглядели очень высокими, крутыми, сходились невероятно близко. Величественная река, оказалось, наложила отпечаток и на местных жителей: их отличала особая аккуратность в одежде, смелость в поступках, чудесный язык. Они всё еще сохраняли в себе необыкновенные черты, которые так удивили молодого Срезневского. Взрослые мужики, как правило, носили бороды, слыли отчаянными рыбаками и плотогонами.

А еще Николая Ивановича поразило поэтическое восприятие природы, что сразу же проявлялось в разговорах чуть ли не с каждым встречным.

– Днепр наш силой пробил дорогу! – сказала ловкая молодлица из женской стайки, сверкающей яркими вышивками.

– Как? Пробил дорогу? – изумился ученый, которому сразу же вспомнилось обращение к Днепру-Славутичу из «Слова о полку Игореве».

– Пробил, господин хороший, – закивали головами прочие молодницы, улыбаясь белозубыми ртами.

Последний порог на Днестре носил название Гадючий. Воды вокруг него, казалось, кишат змеиными телами.

Вырвавшись из каменного ущелья, река разливалась необозримым морем. Перед глазами смельчаков, преодолевших двенадцать порогов, представал огромный остров Хортица, поросший лесом, с высокими, отвесными берегами. В древности он носил название Варяжский. В XVI столетии, знал Николай Иванович, его ненадолго заняли было казаки, однако крымский хан пожаловался королю Сигизмунду-Августу – и тот повелел согнать пришельцев военной силой. Теперь на Хортице обосновалась немецкая колония. Переселенцы внедряли образцовое хозяйство...

Еще ниже по Днестру, при впадении в него слева Конской реки, лежит остров Токмаковка, – там как раз и гнездилась Сечь во времена Богдана Хмельницкого. Укрепившись на Токмаковке, бунтовщик начал собирать свое войско. Костомаров внимательно осматривал места, где зарождалось освободительное движение...

Дальше Днестр менял свой характер. Разбившись на множество рукавов, река обсыпалась островами и обзаводилась зарослями из камыша, лозы и верб.

Не добравшись до Никополя, Николай Иванович повернул на шумный почтовый тракт. На первой же версте многолюдной артерии ему повстречался крытый возок со слепым бандуристом. Под защитой убогого полотна в обнимку с музыкантом сидели дети и смертельно усталая супруга. Незрячий певец согласился исполнить старинные думы. Они действительно прозвучали там же, где зародились в древности – посреди бескрайних степей, где когда-то носились буйные запорожцы. Слова дум были хорошо знакомы Николаю Ивановичу, однако он выслушал их с восторгом, очарованный возможностью почувствовать дух эпохи.

Никополь оказался грязной почтовой станцией. Не задерживаясь в нем дольше необходимого, Костомаров отправился по другим местам, где в разные годы стояла Сечь, вплоть до окончательной ее ликвидации войсками Екатерины II.

В Копулевке, одном из таких исторических мест, на казацкой могиле торчал массивный каменный крест. Жители вспоминали, будто прежде подобных крестов насчитывалось вокруг очень много. Удалось побывать и в старинной запорожской хате. Строение, сложенное из дубовых бревен, с именем первоначального собственника, высеченным на потолочной перекладине, оказалось внутри тесноватым. В соседнем селении ученого гостя сводили в церковь, продемонстрировали ее убранство.

Особое же волнение почувствовал Николай Иванович перед древней могилой, представшей перед ним в виде скромного пригорка, украшенного златоглавыми подсолнухами. На каменном кресте, размещенном по центру могилы, вытыкались крупные литеры: «Кошевой войска запорожского Иван Димитриевич Серко».

Николай Иванович, правда, поначалу засомневался, соответствует ли надпись истине, поскольку в бумагах Архива иностранных дел было сказано, что атаман Серко, современник гетманов Дорошенко, Мазепы, окончил свой жизненный путь под Харьковом, в Мерефе, в собственном имении, подаренном ему царем Алексеем Михайловичем. Однако тут же припомнилось, что в летописи Самуила Величко упомянуто, будто старик в самом деле встретил кончину в пределах собственной пасеки, но тело его казаки действительно перевезли на Сечь...

От могилы Серка виднелся Днепр, растянутые в длину острова, шумные плавни. Один из островов носил название «Сечь». Там, говорили жители, запорожцы зарыли несметные клады...

АЛИНА

В 1874 году в Киеве планировалось провести Археологический съезд, уже третий по счету. Учредительный комитет предполагалось собрать заранее, чуть ли не за год до предстоящего мероприятия, чтобы на предварительных заседаниях определить темы будущих рефератов, разделить делегатов на секции, вообще – составить программу ученого форума всей России.

Костомаров, от имени Археологической комиссии, был назначен членом данного комитета, так что сразу же после осмотра казацких мест он отправился в Киев.

Комитет заседал на протяжении девяти дней, что предоставляло ученому возможность пересилить в себе тревоги, которые не оставляли его после давней разлуки с Киевом. Можно было опять посетить излюбленные когда-то места: Старый город, Софийский собор, Подол, полюбоваться склонами Днепра...

Естественно, город разительно переменялся. Застраивался и становился неузнаваемым Крещатик. Теперь он действительно, как пророчил Срезневский, связывал разрозненные селения. Замащивались камнями другие улицы. Вырастали красавцы-дома...

Но Киев... Он оставался Киевом... Отличным от всех городов на белом свете, на которые уже достаточно нагляделся Николай Иванович. Так же горели на солнце купола высоких церквей. Так же, веселыми рядами, на горных склонах стояли стройные тополя. И, как прежде, буйствовало море густых садов...

Однажды, вдвоем с уже давним знакомым Чубинским, Николай Иванович посетил Братский монастырь. Киевская старина дохнула чем-то очень родным. Возможно, поэтому он смело велел вознице повернуть в ту улицу, которой не видел более четверти века.

– Волнует одно местечко, Павел Платонович, – сказал извинительно Чубинскому, сидевшему рядом на кожаном сиденье и любовавшемуся Днепром.

Чубинский понимающе кивал головою:

– Да, мне известно...

А что известно, от кого, – не сказал.

Возок между тем миновал Андреевскую церковь.

– Здесь остановитесь.

Вдвоем с Чубинским они вошли в памятный двор...

Казалось – там ничего не переменялось, если не учитывать деревьев, которые тогда выглядели совсем молоденькими, тонкоствольными, к тому же еле-еле распускавшими завязь. Теперь же, в пору полного лета, стволы их вздымались в необозримую высоту. Раскидистые ветви стелились по крыше строения, переплетаясь на ней, отчего внизу сгущались сумерки.

Николай Иванович дернул знакомую веревку – где-то отозвался колокольчик, на пороге появилась молодлица лет тридцати. Она нисколько не удивилась: поджидала людей, которые намерены снять квартиру.

– Показывайте товар, – не растерялся Чубинский.

– А прошу, прошу, – засуетилась молодлица, краснея круглым чернобровым лицом.

И внутри строения все оставалось точно таким же, как выглядело когда-то. Достаточно было оказаться на затененной цветными стеклами террасе, открыть дверь в комнату, как тут же слышались голоса Юзефовича, Фундуклея, полковника Белоусова... «Подлый предатель! – свирепел при одном упоминании о Юзефовиче Шевченко. – Такой гад родную мать продал бы...» Юзефович, кстати, был еще очень деятельным членом Археографической комиссии, располагал всеми возможностями «подтвердить» характеристику, данную ему покойным Тарасом.

– Не знаете ли вы чего-нибудь о тех людях, которые жили здесь лет тридцать тому? Где они теперь? – спросил Николай Иванович, остановившись на пороге бывшего кабинета и не увидев там полка с книгами.

Молодлица всплеснула руками.

– Ой, Господи! Вы, наверно, снимали здесь квартиру, пан... Так вы моих родителей знали... Они никому не уступали этот дом... А как умерли, так мне оставили... Мы с мужем хозяйничали. Он сейчас на рынке...

– Вы были тогда маленькой девочкой... Но я здесь недолго жил...

Николай Иванович не стал распространяться о том, что пове-ло его по свету. Спросил лишь, сколько придется платить за жи-лище.

– 700 рублей в год, пане...

Тогда, давно, с него брали 300 рублей. Мир, действительно, переменялся...

Когда они вышли на улицу и снова сели в возок – Чубинский опять поразил своей догадливостью.

– Вы, Николай Иванович, ничего слышали о госпоже Крагель-ской? Что-нибудь о ней знаете? Об Алине Леонтьевне?

Это имя заставило содрогнуться.

– Почти ничего...

Зачем вспоминать? Было здесь много друзей...

Чубинский многозначительно промолчал. Зато вечером, ког-да Николай Иванович уже собирался ложиться спать, он явился в квартиру к киевскому ученому Антоновичу, у которого Косто-маров остановился, прокричал с порога:

– Извините, но мне известно такое, что я не усну, пока не ска-жу его вам, Николай Иванович! Госпожа Крагельская живет воз-ле Прилук, в своем имении. Теперь она носит фамилию Кисель, была замужем, но уже овдовела. У нее трое детей... Вы не пове-рите, только завтра ее ждут в Киеве!

Будто во сне, Николай Иванович подсел к столу и написал ко-ротенькое письмо. Над ним стояла черноглазая Алина. Учащен-но дыша, девушка следила, как ходит перо по бумаге. Однако стоило поднять глаза – и легкая фигурка ее сразу же отлетала в сторону или уносилась ввысь. Переспроси кто-нибудь через ми-нуту, что было начертано на бумаге, врученной Чубинскому, Ни-

колай Иванович ни за что бы не вспомнил... Всю ночь после этого он не спал... Воспоминания мучили и на следующий день. И уже не хотелось ехать на заседание комитета, где очень ждали его появления и, не дождавшись, прислали карету...

Под вечер ему вручили записку, еще более краткую, чем та, которую он послал накануне: «Приезжайте, Николай Иванович...»

В тот же вечер Костомаров окончательно понял, на что способно время.

Сначала он чуть было не замахал руками, когда в притихшей гостиной, наполненной незнакомыми людьми, вместо тоненькой Алины поднялась навстречу дама в широком платье с хорошо ощутимым запахом приятных духов. Однако же голос ее поразил до боли знакомым тембром:

— Николай Иванович! Как я рада...

Сквозь пелену непрошенных слез всматривался он в ее лицо, не говоря ни слова, пока сквозь стертые, огрубелые вроде черты не пробилось наконец-то глаза прежней, юной Алины.

— Это вы...

Все, кто находился в помещении, куда-то мигом исчезли, то ли на самом деле, то ли так могло показаться...

— А я вас видела, Николай Иванович!

— Когда? Где?

— В Петербурге... Вы шли по Невскому... Я вас сразу узнала... Вы меня не заметили... Да если б и видели, так разве узнаешь... Ваша книжка у меня на видном месте...

Алина Леонтьевна имела в виду драму «Кремуций Корд», изданную в 1862 году с эпиграфом, взятым из поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод»:

*Lecz dotąd w mojem zachowałaś łonie –
Też same oczy, twarz, postawa, szaty... **

* До сей поры в груди моей осталась ты как прежде:
Твое лицо, глаза, твой взгляд, убранство...

Она купила книгу в Киеве и все поняла.

– Теперь вот... Живу у себя в Дедовцах...

В разговорах уплыло несколько часов. Под конец Николаю Ивановичу показалось, будто давняя Алина потихоньку внедрилась в эту женщину в широком платье, которая перед его глазами. Только женщина осталась самой собою. Он уже не мог разделить два образа...

И такое состояние продолжалось целых два дня, пока добирался до Петербурга...

В Петербурге, от чрезмерного возбуждения, Николай Иванович вроде бы даже забыл о своих болезнях, ревностно взялся за «Русскую историю в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Глазам вроде бы стало значительно лучше. Иногда он сам читал и даже писал, не прибегая к помощи Белозерской.

Правда, с наступлением осенних ночей, болезнь стала опять прогрессировать и не унималась уже до весны. И все ж, к наступлению долгожданного тепла он успел приготовить два выпуска популярного издания...

В апреле 1874 года глаза Костомарова почувствовали вроде бы даже некое избавление. Не дожидаясь открытия Археологического съезда, он решил воспользоваться приглашением Алины Леонтьевны и погостить у нее в имении.

Апрельским утром из скорого петербургского поезда на холодный и влажный перрон вокзала в Нежине спустился пожилой человек в необычно широкой шубе и в каких-то настолько огромных сапогах, что постороннему наблюдателю могло показаться, будто все это содрано с великана.

Размахивая седой бородою и как-то по-детски радуясь, старик крикнул носильщику:

– Поинтересуйся, голубчик, нет ли здесь экипажа из Дедовцев!

Сам же он двинулся навстречу солнцу, все так же ребячески улыбаясь теплу и веселым пассажирам, которые с интересом

свели за нм сквозь вагонные стекла, уже сдвинутые с места. И тут к старику подбежал высокий мужик в явно праздничной свитке, прихваченной поясом с красными кисточками.

– Так... Может быть, это вы... Пан Костомаров? – уставился в него мужик. – Вот и хорошо! Алина Леонтьевна...

– О! Тебя прислала? Действительно – хорошо! – остановился старик.

Вскоре он сидел уже в легкой бричке, запряженной мощными карими конями. Ветер, налетая с голых весенних полей, развевал его длинную бороду, щекотал морщинистую кожу. А он все так же широко улыбался, расспрашивал, оглядывался, и мужик-кучер, в праздничной одежде, не успевая с ответами:

– Да разве я знаю... Я же не батюшка в церкви...

До Дедовцев набиралось около семи десятков верст. Пассажир наконец уgomонился, оставил расспросы, задремал под стук колес. Ему почудилось, будто он подъезжает к Юрасовке, будто она вот-вот покажется всею красю. Перед глазами возникнет знакомая Ольховатка, за нею – неизменные меловые горы... Будет корыто вместо челна, послышится веселый голос Хомя Голубченко...

– Николай Иванович! – разбудил его радостный крик.

Перед бричкой, в свете фонаря, стояла Алина Леонтьевна, совсем еще молодая, юная...

– Ох, Николай Иванович! Приехали...

Вокруг толпилось несколько женщин, дети. Все – с приветливыми, улыбающимися лицами...

Дедовцы превзошли его ожидания. Марк Дмитриевич Кисель, представление о чьей импозантной фигуре давали фотографии на стенах гостиной, происходил из старинного рода. Его пращуром считался Адам Кисель, киевский воевода, современник Богдана Хмельницкого. В Дедовцах покойный полковник выстроил вместительный и очень удобный дом. Каждое утро с балкона, обвитого хмелем, виделись белостенные хаты в непроглядных вишневых садах, высоченные тополя на пригорках, исчезающих в синей дали...

Юрасовке, что ни говори, было далеко до Дедовцев.

Николай Иванович любил прогуливаться с Алиной Леонтьевой вдоль тополиной аллеи. Обычно они добирались до подножия ветряка, который со скрипом вращал широкими крыльями, – там можно было вдоволь наговориться с приезжим людом. Рядом с барской усадьбой простиралась левада с просторным лугом, на котором жировали волы, бродили стаи гусей. Раз за разом на зеленый ковер, сотканный из густой травы, опускался бело-черный аист с ярко-красным клювом и такого же цвета длиннющими ногами. Другая аллея вела в соседнее имение, принадлежавшее богачу и меценату Василию Васильевичу Тарновскому (младшему). За несколько верст от Дедовцев шумел Большой шлях, еще во времена Екатерины II обсаженный плакучими вербами. По долине реки Удай он тянулся до самой Переволочной, свидетельнице бегства и плена остатков шведской армии.

Соседом Алины Леонтьевны, помимо Тарновского, оказался и другой украинский вельможа – Григорий Павлович Галаган *. В имении Сокиринцы, где не раз гостил Тарас Шевченко, где жил кобзарь Остап Вересай, – он также собрал немало памятников украинской старины.

Вместе с Алиной Леонтьевой, Николай Иванович посетил соседствующие имения, старинные монастыри, церкви.

В Дедовцах, где Алина Леонтьевна создала для гостя превосходные условия, работалось легко и споро. Любую прихоть ученого исполняли слуги, во главе которых стояла верная помощница таровитой хозяйки – все успевавшая экономка Ульяна. Было просто жаль, что из Петербурга прихвачено немного потребных материалов. Впрочем, их было в достатке вокруг. Их можно было черпать непосредственно из жизни. Мало того, что там везде слышались народные песни, так еще удалось побывать на украинской свадьбе, понаблюдать за обрядами от нача-

* Основатель особого частного учебного заведения в Киеве, так называемой Коллегии Павла Галагана (1871).

ла до конца, записывать песни, присловья, тешить глаза всевозможными красками. Одним словом, ученый купался в народном быте.

– Ну, пани, – сказал Николай Иванович как-то вечером, вроде шутя, – век бы здесь жил!

Алина Леонтьевна покраснела. Она восприняла слова как напоминание о прошлом, что намечалось более четверти века назад. Но теперь она была матерью двух дочерей, старшая из которых – невеста, а младшую надо было пристраивать в институт благородных девиц. Был у нее также сын, совсем уже взрослый молодой человек, как две капли воды похожий на отца-полковника.

– Да, пани, – повторил Николай Иванович слово, которое ему так понравилось, одновременно понимая ход ее мыслей. – Да, пани...

Разговор на том оборвался, однако он долго осматривал себя в зеркале, уже в своей комнате.

– Чем не жених!

Улыбка получилась совсем невеселой. Из блестящей поверхности, освещенной пламенем свечи, в упор на него глядел «подтоптаный» старикашка, с почти что беззубым ртом... Что уцелело от прежнего «паныча» – так это чуприна, правда, также побитая сединой. А уж борода – подвенечная ткань, и только...

Пробыть в Дедовцах удалось всего три недели: из Петербурга пришло беспокойное письмо. Татьяна Петровна, всю жизнь посвятившая сыну и уже окончательно смирившаяся с приговором судьбы, что ей не видеть собственных внуков, неодобрительно смотрела на возобновление знакомства с бывшей невестой. Татьяна Петровна всячески корила сына за то, что он едет к такой «ненадежной» женщине. Николай Иванович тщетно пытался переубедить матушку, что вины Алины в замужестве не было ни малейшей. Однако, заглядывая в будущее, он опасался грозящего одиночества...

В письме Татьяна Петровна извещала сына, что домовладелец Карманов собрался надстраивать четвертый этаж, потому интересуется, будет ли Николай Иванович дожидаться конца перестройки, оставляет ли за собой квартиру, либо же съедет полностью? Домовладелец ждет ответа.

Николай Иванович показывал письмо Алине Леонтьевне. Жаловался. Переезжать не хотелось. Это сулило столько хлопот... Кроме того, он привык к своему кабинету. Его библиотека состояла из огромного количества книг – как срываться с насиженных мест?

Алина Леонтьевна, как могла, пособляла советами.

– Уладите все, Николай Иванович, и снова приезжайте!

Что же, пришлось возвращаться в столицу, какое-то время провести на Петровском острове.

Лето выпало дождливое, потому и тягучее. Под шорох дождевых капель думалось об украинской теплыни, об Алине Леонтьевне, о чудесной природе любившихся Дедовцев...

Скуку скрашивала работа по завершению исторической повести «Кудеяр». А еще – статья о царевиче Алексее Петровиче. Это были отголоски разговоров, раздумий совместно с художником Н. Н. Ге во время писания им картины о допросе царевича в Петергофе. Немало времени уделялось также ежедневным беседам с Даниилом Лукичом Мордовцевым, с издателем Кожанчиковым и прочими друзьями и знакомыми. Но чем ближе становился август – тем веселее делалось на душе.

В конце июля Николай Иванович уже бродил по Киеву.

III съезд археологов получился на удивление интересным.

На берега Днепра съехались не только отечественные ученые, но также коллеги из Чехии, Сербии, Франции. Украшением служили археологические богатства древнего Киева. Университет Святого Владимира устроил выставку памятков старины. Знакомство с ними дополняли экскурсии за пределы города. В селе Гатное, в присутствии участников съезда, были раскопаны два

кургана, в недрах которых обнаружилось несколько человеческих скелетов и множество глиняных черепков. Осматривали гости также городок Трахтемиров, бывшую казацкую столицу, где функционировал монастырь, хранилась казна, имелось большое кладбище. Побывали ученые в Вышгороде, посетили место, где стояла запорожская обитель...

На заседаниях съезда – а их ежедневно проводилось два – читались рефераты по разным вопросам археологической науки. Когда настала очередь Николая Ивановича – он появился в сопровождении Алины Леонтьевны и ее младшей дочери Софии. Они обе внимательно слушали его выступление, трактовавшее о княжеских дружинах. К сожалению, рукопись реферата была потеряна, ее так и не обнародовали.

Большой интерес присутствовавших вызвал в тот день реферат киевского профессора Михаила Петровича Драгоманова – об украинских думах и исторических песнях. С живым исполнением народных песен перед учеными выступил кобзарь Остап Вересай из Сокиринцев.

Все эти мероприятия взбудоражили царских верноподданных. Они снова обвинили участников съезда, в первую очередь – Костомарова – в украинофильстве. Необычную энергию проявила при этом газета «Киевлянин», а также столичный орган – «Голос». Обвинения, однако, до такой степени оказались безосновательными, что с опровержением их выступили даже те люди, которые не проявляли никакого сочувствия украинским ученым – например, профессор О. Ф. Миллер.

После съезда, вполне довольный его работой, Николай Иванович снова погостил в Дедовцах, однако пребывание его там продлилось всего несколько дней, после чего пришлось выехать в Петербург, прихватив с собой двенадцатилетнюю Софью ради устройства ее в Смольный институт.

Алина Леонтьевна, провожая обоих, не могла успокоиться.

– Как доедете... Вы же такие...

– Не побивайтесь, пани, – весело откликнулся Николай Иванович. Скажете... Старое да малое как-нибудь доберутся!

Светловолосая Софья, очень похожая на мать, беззаботно смеялась. Она быстро нашла общий язык с Николаем Ивановичем. Она уже бредила Петербургом, о котором столько слышалась.

Николай Иванович, окрыленный надеждами, помахивал из вагона рукой. Алина Леонтьевна, стоя под высокими тополями, осенявшими перрон, утирала слезы.

Часть шестая ОСЕНЬЮ – ЛЕТО

ЖЕНИТЬБА

После сближения с бывшей невестой – жизнь Костомарова несколько изменилась. Измученный болезнями, ученый с нескрываемой опаской подумывал о будущем, в котором ему предстояло остаться без матери, – ведь это, в конце концов, неизбежно для каждого старого человека! – в итоге же оказаться в пустом одиночестве, хоть и материально обеспеченным.

Устроив Софью Кисель в институт, он снова приступил к привычной работе, стараясь как можно больше обрабатывать материалов для выпусков по российской истории, и уже с нетерпением дожидаясь писем из Дедовцев. Ему было приятно знать, что там о нем помнят, что, дождавшись нового тепла, он снова сможет отправиться в благодатные края.

Татьяна Петровна, видя его веселость по причине столь частых писем, недовольно кривила лицо. В силу этого сын не решался разговаривать с матерью о дальнейших планах, в которых Алина Леонтьевна играла далеко не последнюю роль. Только мать не желала о том даже слышать. Более того – у нее появился сообщник: Данила Лукич Мордовцев. Он догадывался о нечетких еще намерениях давнего приятеля, понимал, как нелегко тому будет свести под одной крышей двух немолодых уже женщин. У каждой свои привычки...

Мордовцев так добродушно подшучивал над «подтоптаным» женихом, что Николай Иванович, в конце концов, и сам начинал хохотать. Чем больше историк старел, тем больше в нем проявлялась способность веселиться по-детски.

– Конечно! – утешал сам себя. – Буду казаковать и дальше! Для чего жениться? Лишняя обуза...

Еще и песню затягивал:

*Лежить козак під вербою,
На купині головою,
Не думає, не гадає –
Стрепенувся та й полинув –
Тільки вітер чубом має!*

Обоим враз становилось весело. Оба хохотали.

Да, Николай Иванович привык к своему кабинету с широким столом, за которым так славно работает, к своей уютной гостиной, где легко толковать с друзьями, где очень удобно сидеть в вольтеровском кресле, приятно курить сигары, затягиваясь прозрачным дымом. Привык и к этим дверям, откуда в нужную минуту, по приказу Татьяны Петровны, подается кофе и разные угощения для гостей. Привык к своему коту, получающему от Мордовцева письма с надписями на конвертах «Василию Васильевичу Миофагову*», который проживает в квартире его превосходительства Николая Ивановича Костомарова...».

Выхода из создавшегося положения ученый пока что не видел, отчего уповал лишь на Бога. Религиозное настроение его только усиливалось...

Но зимой случилось то, чего Николай Иванович так опасался.

Во второй половине января его и Татьяну Петровну свалила неведомая болезнь, которую врачи впоследствии сочли брюшным тифом.

Николай Иванович долго терзался в липком болезненном мареве, тогда как Татьяна Петровна миглом сгорела от наслоившегося осложнения в виде воспаления легких. Сын лежал в забытьи в своем кабинете, когда мимо его дверей выносили тело матери...

Схоронили Татьяну Петровну на Смоленском кладбище, в том месте, где она пожелала при жизни.

* От греческих корней со значением «мышь» и «есть, пожирать».

Николая Ивановича спасали молодые врачи. Когда больной, наконец, пришел в сознание – он не увидел рядом родного лица.

– А где... матушка? – спросил еле слышно.

Ответили одновременно оба врача, едва различимые в болезненном мареве:

– Она у знакомых!

– У художника Ге!

– Она также болела, – добавила сестра. – Но сейчас ей лучше. И он снова впал в забытие.

Тем временем весть о болезни ученого столичные журналисты разнесли по всей стране. Долетела она и до заснеженных Дедовцев. Сердце подсказало Алине Леонтьевне, что в Петербурге действительно может случиться что-то непоправимое. Госпожа Кисель вмиг ощутила в себе молодые порывы, позабыла о собственных недугах и без раздумий бросилась в дорогу.

Это чем-то напоминало ей 1847 год. Тогда она также пыривалась спасти жениха, только путь к Петербургу довелось проделать в неудобном почтовом возке, в сопровождении матери. Сейчас ее вез туда быстрый поезд.

В вагоне, разворачивая взятые на вокзале газеты, от которых пахло морозом и типографской краской, кто-то горестно вскрикнул:

– Господа!? В Петербурге скончался профессор Костомаров!

– Ой-ой-ой! – вздохнули за спиной у Алины Леонтьевны. – Сколько бы еще мог сделать. Ведь совсем не старей...

Алине Леонтьевне показалось, будто узкий проход, покрытый красной дорожкой, взметнулся перед нею кровавым пятном...

Случайным спутникам не дано было знать, с кем свела их судьба.

Однако газетчики поторопились с выводами. Николая Ивановича владелица Дедовцев застала уже при полном сознании. Он даже улыбнулся ей... Только... Она б ни за что не узнала его. На белых подушках лежал совершенно иссохший, сморщенный

старичок, обросший белою бородою. Глаза его, кажется, ничего не видели и, лишенные очков, не излучали живого блеска.

– Хорошо, что ты приехала, пани...

Когда же, через какое-то время, разрешено было взять его за руку, он заплакал. Ей пришлось носовым платком очищать ему жуткие глазные впадины.

– Видишь, пани... Мне запрещают не только читать, но и думать... Чтобы нечаянно не скончался... Разве это жизнь?

– Ничего, ничего, – сжимала его руку Алина Леонтьевна. – Все будет опять хорошо...

– Но я вынужден подчиняться, чтобы совсем не ослепнуть... Хоть и так ничего не вижу!

Врачи еще долго опасались сообщать ученому о смерти Татьяны Петровны. Наконец осмелились, увидев, как благотворно влияет на него присутствие Алины Леонтьевны. Они уже знали о роли этой неожиданно появившейся спасительницы.

Николай Иванович привык сносить прихоти судьбы. Вытерпел и такую потерю, поскольку, действительно, большие надежды возлагал на Алину Леонтьевну. Она же поселилась в квартире напротив, у родственника Белозерских – Николая Ивановича Катенина.

Костомарова посещали друзья, приятели. Заходили также чужие, совершенно незнакомые люди, знавшие, что означает для науки жизнь выдающегося историка.

Сам Николай Иванович, едва оправившись от болезни, начал порываться на концерт кобзаря Остапа Вересая, наконец-то наведавшегося в Петербург, на другие, театральные представления. Однако сил у стареющего ученого уже не было никаких. Кто-то подбросил подходящий совет: летом, на деревенском приволье, а врачи так даже настаивали на этом! – Николай Иванович сможет продиктовать свою биографию. Это не станет чрезмерной нагрузкой на мозг и на зрение. Будет даже нечто приятное для головы: маститый ученый припомнит прошлое в назидание потомкам.

Николай Иванович уже приступал однажды к подобным занятиям. Он пробовал диктовать воспоминания Надежде Александровне Белозерской, но вскоре оставил попытки. Победили научные интересы. Спешил надиктовать как можно больше исторических трудов. Однако теперь...

– Кому интересно знать подробности моей жизни? – метался он на белых подушках. – Зачем они кому?

Многие все же поддержали данное предложение:

– Не только о себе вспомните, Николай Иванович, но и о своих современниках.

– Вы видели столько людей! Послушать вас – так где Воронеж, где Харьков, Киев, Ровно, Саратов, не говоря уж о Петербурге!

– Кого только не приходилось вам видеть. В конце концов, вы дружили с Шевченко...

– Тарас... Тарас Григорьевич...

Напоминание о Шевченко почти переубедили Николая Ивановича – надо диктовать. Однако сомнения возвратились снова, когда знакомые сказали, что публике желательно было бы получить исторический очерк о тех временах, в горниле которых он жил и трудился.

– Помилуйте! Из меня никудышный наблюдатель современной жизни! Я привык изучать далекое прошлое. Предоставьте мне возможность побродить по кладбищу – и я «воскрешу» вам людей, которые жили сто или двести лет назад!

Сомнения оборвала Алина Леонтьевна. Подсев на край кровати, она взяла его за руку.

– Я буду записывать, Николай Иванович... Вы сами когда-то хвалили мои сочинения...

Взгляд ее темных ласковых глаз, в которых запечатлелась надежда, бодрил несказанно. Николай Иванович больше не сопротивлялся...

Он действительно стал набираться сил. Мог уже самостоятельно сидеть, потом – подниматься, без посторонней помощи пересечь просторную комнату.

Мордовцев также сильно болел. Однако, еще не окрепнув, он уже не оставлял квартиры приятеля. В своих воспоминаниях Данило Лукич впоследствии напишет, что далеко не все врачи соглашались с мыслью, будто Костомаров переболел одним только брюшным тифом. Призванный в качестве консультанта Н. А. Белоголовый, к примеру, высказал твердое убеждение, что историк уже вторично перенес «мозговой удар» (первый подобный недуг подстерег его в 1870 году, после летнего пребывания в Крыму, когда Костомаров «едва дуба не дал»). Этот врач, одноклассник и приятель всемирно известного терапевта С. П. Боткина, уверял, что ученый будет уже далеко не таким, каким его знали прежде.

То, что Николай Иванович действительно резко переменялся уже после первой тяжелой болезни, заметила и Алина Леонтьевна. Он, по ее мнению, пребывал в каком-то таком состоянии, как если бы что-то вдруг потерял...

Сама же Алина Леонтьевна не могла задерживаться в столице. Ее хозяйского глаза дожидалось поместье, полевые работы: приближалась весенняя страда. После некоторых раздумий госпожа Кисель решила взять с собой и Николая Ивановича.

Петербургские друзья устроили Костомарову прощальный обед в ресторане Палкина (ныне Невский проспект, 47). Алинину Леонтьевну упростили сесть рядом с Николаем Ивановичем, хотя она возражала:

– Мне-то за что подобная честь?

Украшением обеда стал небольшой хор, под руководством композитора Николая Витальевича Лысенко, исполнивший украинские народные песни. Лысенко в те годы совершенствовал свое мастерство под руководством петербургского маэстро Н. А. Римского-Корсакова.

То ли все эти песни были слишком удачно подобраны, то ли так успешно они исполнялись, однако многие из присутствовавших на вечере прослезились. Михаил Матвеевич Стасюлевич,

неизменный издатель «Вестника Европы», утирал слезы и не выпускал из ладоней рукава Николая Ивановича:

– Завидую вам! Вон куда едете – на Украину! Я наслушался народных песен за рубежом – но куда там! Настоящее песенное искусство – только на Украине!

В Дедовцы они прибыли в апреле, когда весна уже полностью вступила в свои права. Яблони перед балконом на глазах Николая Ивановича покрылись пенным снегом. Вслед за ними заторопились груши, зацвел вездесущий «терен». Запели вокруг соловьи, закуковали кукушки. Чуть дальше, по влажным болотам, раздавались голоса неугомонных лягушек, проснулись желтобокие иволги. Весело запели девушки.

В Дедовцах Николай Иванович ожил окончательно. Целебная природа и заботы Алины Леонтьевны способствовали тому, что через неделю он уже с увлечением диктовал свою биографию, сидя на балконе, увитом хмелем и осыпанном тысячами белых и розовых лепестков. Вдали белели хаты, легким паром курились веселые тополя. Ветер доносил с полей запахи свежеспаханной почвы...

– Рай! Настоящий рай! – раз за разом прерывал диктовку ученый.

Прошрое, как оказалось, со временем стиралось из памяти. Перемешивались события, даты... То одно, то другое требовало уточнения – а все необходимые для того бумаги находились в Петербурге.

– Оставим пустое место, потом заглянешь в записи, – время от времени советовала Алина Леонтьевна, радуясь счастьем матери, которой, наконец, посчастливилось увидеть свое чадо полностью окрепшим.

Они уже перешли на «ты», чувствовали, что общение прогоняет из памяти годы разлуки. Поначалу работали ежедневно на протяжении одного часа, но постепенно занятия становились все более длительными. Николаю Ивановичу припомина-

лась Юрасовка, Воронеж, Харьков, университеты. Легко возникало в воображении всё, что относилось к далеким дням, когда рядом находилась юная Алина, то ли в Киеве, то ли в Одессе, где они встретились на водах... Затем... Будто вчера ее кисти мелькали над клавишами в соседстве с изящными манжетами Ференца Листа. Затем она готовилась к свадьбе...

А потом...

Иногда они забывали о бумаге, все говорили и говорили... А то отправлялись на прогулку, но разговоры о прошлом продолжались и там.

Однажды, остановившись возле церкви и сощурившись под веселым майским солнцем, Николай Иванович произнес:

– А что, пани... Не пора ли нам все-таки под венец?

Алина Леонтьевна, которая уже и так, и сяк передумала о прошлом и будущем, ответила без раздумий:

– Пусть будет по-твоему!

9 мая 1875 года Костомарова и Крагельскую-Кисель обвинил в дедовецкой церкви местный священник отец Петр. Свидетелями были соседи Алины Леонтьевны – помещики Савченко.

Состоялось, наконец, событие, которому назначено было совершиться двадцатью восьмью годами прежде.

Супруги Костомаровы не разлучались с тех пор вплоть до смерти Николая Ивановича.

НАРАБОТКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Путешествия на Украину, живая связь с землями во время летних пребываний на них, общение с малорусскими учеными, писателями, художниками, воспоминания о своих молодых годах, о первых восхищениях чудесными песнями, языком, народными убранствами, наконец и то, что его супругой стала украинская помещица, – все это постоянно наводило Костомарова на мысль поскорей обработать известные исторические материалы, связанные с любимым краем.

Осенью 1875 года он возвратился с Украины в чрезвычайно приподнятом, даже бодром настроении. Рядом была жена, умелая хозяйка, и не только хозяйка, но и великолепная помощница. Оказалось, Алина Леонтьевна обладает несомненным литературным даром. Это проявилось после первых же обработок продиктованных им воспоминаний. Под пером супруги получали тщательную отделку написанные Николаем Ивановичем статьи. Еще позже — она создала прекрасную книгу мемуаров о своих современниках, где главным действующим лицом, конечно же, является Костомаров.

Правда, об «Автобиографии» Николай Иванович забыл сразу, как только переступил порог своего петербургского кабинета и увидел в нем книги и готовые выписки. Ему хотелось как можно скорее обобщить исторические материалы и дать свое толкование событиям, которые совершались во времена казачества. Об этом свидетельствует хотя бы простое перечисление лиц, ставших героями его последовавших сочинений, как величественных научных монографий, так и скромных по значению и размерам научно-популярных очерков: митрополит Петро Могила, гетманы Бруховецкий, Многогрешный и Самойлович, чье господство знаменовало собою печальный период в истории Украины с 1663 по 1687 годы. К этому периоду как нельзя лучше пристало название «Руина», поскольку Правобережная Украина действительно была превращена тогда в пустыню.

Несмотря на то, что Николай Иванович бодрился и был чересчур щедрым в своих перемещениях, но старость все же давала знать о себе. Недаром один из молодых знакомых ученого, казанский историк Д. А. Корсаков, выходя из его квартиры, тяжело вздохнул и заметил Мордовцеву:

— Господи, «Руину» пишет, а ведь сам руина...

«Морщины на лице, длинная, но редкая седая борода, на голове седые, как бы поблекшие волосы с желтоватым оттенком, глаза, хотя прекрасного голубого цвета, но плохо фокусировавшие, недостаток многих зубов, худоба тела, подавшегося

вперед, нетвердая походка мелкими шажками, частое спотыкание, – все это придавало всей фигуре покойного характер слабости и дряхлости», – написал впоследствии о внешности Николая Ивановича один из его идейных учеников и страстных почитателей – Вильям Людвигович Беренштам.

Николай Иванович поднимался обычно в шестом часу, открывал в квартире все окна и отправлялся гулять по городу. Возвратившись – он завтракал и устремлялся к письменному столу.

Отдых приносили только праздничные и воскресные дни. В компании с Мордовцевым Костомаров наслаждался прогулками по Васильевскому острову.

– Се аз, ветхий денми старец, гряду! – шутя жаловался Николай Иванович совсем по-стариковски. – Нозе мои изнемогосте суть и лядвия наполняшася поругания! – продолжал уже совсем неподдельно, указывая на свои огромные сапоги.

На прогулках он забывал о недугах. Обыкновенно друзья выходили на Большой проспект Васильевского острова, который они называли «Трагическим». Там можно было наблюдать различные бытовые картинки, большей частью – печальные. Возле устроенных на каждом шагу трактиров, пивных, кабаков и прочих «питейных» заведений – вспыхивали драки, ссоры. Рыдали женщины, плакали дети. Просили милостыни калеки... Они же с Мордовцевым шествовали не спеша, оба седобородые, похожие друг на друга – их принимали даже за братьев! – и перебирали в разговорах все наболевшее...

Затем наступали будни, и снова – широкий письменный стол.

Работа над «Руиной» продолжалась все лето. Супруги долго жили в Дедовцах, потом лечились на водах в Одессе, затем оказались в Москве: Николаю Ивановичу нужно было порыться в архивах. Все эти труды первоначально давали плохие результаты: Костомаров действительно был уже далеко не тот. Когда же он завершил «Руину», то Алина Леонтьевна в разговоре с Мордовцевым первая выразила сомнение относительно качества рукописи.

– Книга не завершена, Данило Лукич! Да он и слушать меня не желает. Я, мол, столько всего написал, что могу продолжать даже с закрытыми глазами... Рукопись сейчас в «Вестнике Европы».

Мордовцев лишь руками развел:

– Обождем суда Стасюлевича...

Стасюлевич подтвердил опасения Алины Леонтьевны. Он возвратил рукопись, не найдя в ней ни одной завершенной характеристики представленных лиц.

Это так подействовало на историка, что у него опустились руки.

– Я ни на что больше не годен! Напрасно трачу масло свечейников, как говорили древние! Лучше уж застрелиться! – такими словами встретил он Мордовцева, но тот, отлично зная приятеля, отвечал демонстративно весело:

– Сначала надо рукопись завершить!

– Нет! Уйду в монастырь! И немедленно!

– Вот те на! – гнул своё Мордовцев. – А жену куда? Зачем было жениться?

В конце концов Костомаров и сам посмеялся над своими намерениями. Он долго и очень старательно обрабатывал «Руину». Книга увидела свет у того же Стасюлевича, в «Вестнике Европы». Но печатать ее начали только в 1879 году.

Работа над историей Украины не приостанавливалась ни на один день. Пришло время изучать дальнейшие периоды, гетманство Мазепы. Чтобы завершить монографию об этом одиозном для петербургского правительства властителе Украины – пришлось снова ехать в Москву. В книге, на строго документальной основе, ученый старался доказать, почему малорусский народ, по его мнению, не поддержал планов Мазепы по отделению своей родины от братней России.

Сама Россия как раз переживала патриотический подъем: в 1877 году была объявлена война Турции и началось освобождение балканских славян. Николай Иванович воспринимал все это

как справедливую историческую миссию и свою позицию отстаивал на газетных страницах.

Мы располагаем теперь интересными строчками, написанными Алиной Леонтьевной в Москве. Они свидетельствуют, как упорно, преодолевая телесные недуги, работал Николай Иванович. Он, «рано вставши, торопится одеться и бежит порядочный конец к Филиппову (известный булочник) за калачами, прибегает домой в половине девятого утра и застаёт уже наш номер убраным и самовар на столе; на скорую руку пьет чай и, не закуривая даже папироски, принимает глазную душу, после которой обязан полчаса не выходить, и в эти-то полчаса курит стоя, пока я одену его и обчищу, наделю его носовыми платками, стальными перьями, записной книжкой, очками и пр., – и вот полчаса минуло – он бежит, я вдогонку по коридору натягиваю ему пальто, он вырывается: пора в архив, благо там определены часы для занятий – пускают чуть ли не с восхождением солнца и можно сидеть до заката. Итак, моя старина в четверть десятого летит уже на извозчике в далекий архив, где, не отрываясь даже для курения богомерзкой табаки, работает иногда сидя, а то больше стоя, до 4,5 часа пополудни. Выбегает, ловит извозчика и является ко мне в пять часов».

Но не только деятельность Мазепы исследовал историк. Эпигоны украинского гетмана, противники царя Петра, стали темой его капитальной работы «Мазепинцы». К этому следует добавить исторический очерк о гетманстве Павла Полуботка и историю казачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества. Если увязать все это с трудами о Богдане Хмельницком, Выговском, Свирговском и прочими малороссийскими государственными деятелями – получится монументальное полотно, в котором прошлое украинского народа вырисовывается действительно в каком-то панорамном, всеобъемлющем виде.

Русская история периода самодержавия также заняла достойное место в наследии Костомарова, хотя в разработке всего этого ученый не обнаруживал прежних взлетов мысли. Угасал талант, прибитый болезнями, летами. Одно перечисление глав-

ных лиц, которые дали наименование произведениям Николая Ивановича – также поражает своей весомостью, поскольку эти личности знаменуют собой весьма значительные периоды. Это царевич Алексей Петрович, императрица Екатерина Алексеевна, император Петр III, фельдмаршал Миних, императрица Анна Иоанновна, а еще Ксения Борисовна Годунова.

Из литературных произведений, увидевших свет в конце жизни писателя, назовем повести «Кудеяр» и «Холоп», «Рассказы Богучарова» (Богучаров – второй литературный псевдоним Костомарова), «Черниговку», «Эллинов Тавриды».

Многие из них были написаны раньше этого периода, теперь только обнародованы, о них уже говорилось. А вот «Кудеяр» представляет собой историческую хронику в трех книгах из времен Ивана Грозного. Атаман Кудеяр и рад был служить московскому царю, готов был способствовать ему в отпоре турецко-татарским захватчикам, которые терзали Украину, но царь ни во что поставил атамана, издевался над ним. Чтобы отомстить царю, атаман переходит на сторону крымского хана. Он погибает, однако перед смертью проникается пониманием, что помогать татарам отнюдь не следует...

Темой «Черниговки» стала эпоха царствования Алексея Михайловича и гетманствования Самойловича. Внимание там уделяется демонстрации настоящих классовых интересов казацкой старшины...

Осуждением лицемерию, беззаконию, хищничеству, которые присущи высшей знати, наполнен также исторический рассказ на материале XVIII века под названием «Холоп». В нем мы видим трагическую фигуру лакея петербургского князя Якова Долгорукого – молодого Василия Данилова...

ОСЕНЬЮ – ЛЕТО

Иногда, вроде бы даже в шутку, Костомаров принимался жаловаться на свою судьбу: ему дважды пришлось защищать маги-

стерскую диссертацию, дважды приступал он к преподавательской деятельности в университетах, дважды договаривался о своем венчании...

Однако все знакомые его соглашались с мыслью, что женитьба, пусть и такая поздняя, принесла ученому настоящее счастье. После смерти Татьяны Петровны, которая создавала сыну исключительные условия для многогранного творчества, полагали они, Костомаров не прожил бы и трех лет: настолько он был непрактичен, не приспособлен к жизни, слаб физически – если бы Алина Леонтьевна не заменила ему мать.

Жена терпеливо и мудро улавливала капризы мужа, и недаром, впоследствии, историк Василий Иванович Семевский, уже после смерти Николая Ивановича, сказал Алине Леонтьевне: «Вашими заботами вы сберегли нам его еще на десять лет».

Так и было на самом деле.

Для Татьяны Петровны сын оставался мальчишкой до конца ее дней.

«Дурним ти був, дурним і зостався! – в сердцях кричала старушка, скажем, после того, как безрезультатно пожаловалась ему на свою кухарку. – Генерал, а дівка не слухається твоєї матері!»

«Так наймите другую, матушка!» – парировал сын.

«Розумів би ти... Та хіба ж у них на лобі написано, якої вони вдачі?»

Конечно, на самом деле мать высоко ценила сыновний ум, да она, как и он, обладала ярко выраженной импульсивностью характера.

Алина Леонтьевна, напротив, сдерживала себя даже в те моменты, когда у мужа появлялись подозрения, будто масло, поданное к столу, совсем не свежее, а курица – зарублена после того, как ее сразила болезнь. Почему он решительно требовал убивать всякую живность непременно у него на глазах.

В помощь Алине Леонтьевне, как некогда Татьяне Петровне, приходил Мордовцев:

– Николай Иванович... Курица не князь Рюрик, чтобы выяснять его родословную...

Пикировка, как правило, заканчивалась веселым смехом.

Однако не всегда удавалось переубедить или перехитрить стареющего ученого. Пожелал он, к примеру, ежедневно иметь только что накрахмаленную рубашу, а поскольку она, после первого надевания, оставалась по-прежнему идеально чистой – Алина Леонтьевна велела служанке отутюжить ее и подавать вторично. Догадавшись о таком «коварстве», Николай Иванович каждый вечер, стащив с себя рубашу, бросал ее на пол и топтал ногами: в таком виде рубаша несомненно окажется в стирке!

Да, в жизни ученого, как выражался он сам, настал период «не настоящего лета», но все же лета. По этому поводу даже сочинил стихотворение, посвященное супруге:

*Була мого віку в маї ти моя зозуля:
Де взялася шуря-буря, холодом подула!
Нас погнала, розігнала – я один zostався;
Пройшло літо, тоді знов я з тобою спіткався.
Либонь літо повернулось: ти моя дружина –
Та не та вже молода весела пташина!
Світить сонце, мало гріє, літо не гаряче,
Часом дощ холодний кропле, по давнині плаче.
Не розцвіте моє серце, бо воно розбито!
То не літо насправді, то восени – літо!*

По-прежнему негасимо горел свет в квартире на третьем этаже в Девятой линии, и по-прежнему, пожалуй, еще более веселой и шумной толпой, собирались в ней на «вторники» знакомые, близкие, а то и вовсе незнакомые люди. В просторном кабинете, в гостиной, велись беседы, споры, освещались научные и политические вопросы. Гости вроде не очень обращали внимание на хозяина. Он сидел в вольтеровском кресле, окутанный пестрым пледом, не то дремал, подобно коту Ваське, не то при-

слушивался к речам. Но многое слышал. Стоило чему-нибудь за-
деть его внимание – он мог разразиться лекцией-экспромтом.
И было удивительно констатировать, сколько информации хра-
нится в его седой голове, как ярко и образно умеет излагать свои
мысли Николай Иванович.

Время стояло жесткое. В стране свирепствовали разнона-
правленные, консервативные силы, и, словно подстегиваемые
этим противостоянием, все смелее торопились «в народ» мо-
лодые люди с намерением разжечь крестьянское восстание. На
монарха устраивали настоящую охоту. Прославивший избавите-
лем от крепостного ига, да и в самом деле приложивший к это-
му руку, самодержец опасался народа, предпочитал отсижи-
ваться во дворцах, окруженных войсками. С другой стороны, во
второй половине 70-х годов усиливались шовинистические тече-
ния. Они серьезно угрожали всем здравомыслящим, осмелив-
шимся высказывать собственные взгляды, противоречащие док-
трине самодержавия.

В ответ на докладную записку известного нам М. В. Юзефо-
вича, увидевшего в «украинофильском движении» «замаски-
рованный социализм», покушение на «государственное един-
ство», – в 1876 году Александр II подписал Эмский акт – распо-
ряжение, которым фактически удушалась украинская культу-
ра. Акт дополнял валуевский циркуляр 1863 года, запрещавший
ввозить из-за границы украинские издания, печатать на украин-
ском языке переведенные с русского и с иностранного книги. На
указанном языке запрещались также театральные представле-
ния. Как отметил впоследствии классик украинской литературы
Иван Франко, «может быть, никогда еще не был так грозно по-
ставлен вопрос – жить или погибнуть нашей нации, как тогда».

Конечно же, обосновавшийся в столице Костомаров, с его
репутацией убежденного «сепаратиста», который якобы только
то и делает, что разрабатывает вопросы украинской истории, –
снова превратился в мишень для атак. Однако историк не пугал-

ся. Его глубоко возмутил поступок Юзефовича, сыгравшего подлую роль в разгроме Кирилло-мефодиевского братства. И хотя некоторые современники удивлялись, что Николай Иванович после возвращения из ссылки как ни в чем не бывало общается с Юзефовичем при встречах в Киеве, – теперь же он открыто выразил свой гнев в письме к украинскому ученому М. П. Драгоманову, с которым познакомился на съезде археологов (за «неблагонадежность» Драгоманов был уволен из Киевского университета Святого Владимира). 8 января 1877 года, в указанном письме, Костомаров без обиняков заявил: «Да покарает его вечное мучение! Пускай Бог убьет его и тех, кто его породил!» Это было перепевом южнославянской молитвы-проклятия, но слова ее точно передавали мысли и настроения самого Николая Ивановича.

Пребывание в Петербурге и впредь означало неустанный труд в библиотеках и архивах. Костомарова отлично знали работники всех названных учреждений. Для него там делалось все, что только можно, лишь бы облегчить ему доступ к источникам. Известно, например, отношение Владимира Васильевича Стасова, одного из ведущих сотрудников Публичной библиотеки. В своем письме от 24 октября 1871 года Владимир Васильевич сообщал, что для Николая Ивановича сделано исключение: ему можно работать непосредственно в книгохранилищах исторического отдела, хотя подобного права не удостоивался еще ни один читатель. И это после того, как царское правительство официально запретило Костомарову доступ, скажем, к делам о восстании Е. И. Пугачева.

Неизменно глубокий интерес проявлял Николай Иванович к культурной жизни столицы и всей России. Он постоянно общался с писателями, регулярно посещал художественные выставки, поддерживал знакомство с художниками, среди которых, кроме Н. Н. Ге и И. Е. Репина, следует выделить еще и К. М. Маковского, М. И. Микешина, Л. М. Жемчужникова, Н. Н. Каразина и многих других. По поводу содержания картин он писал даже целые

очерки (таким полотном послужило произведение Н. Н. Ге о допросе царевича Алексея Петровича).

Дружба с писателями также определялась общностью интересов. В связи с этим надо вспомнить его сближение с Алексеем Константиновичем Толстым, написавшим драму-триптих о русских царях Иване Грозном, Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Вдвоем с историком Толстой заказывал по Грозному панихиду. Николай Иванович часто гостил у драматурга в его недалеком от столицы имении Пустынька. Кроме истории, их роднили воспоминания о Малороссии (Толстой был прямым потомком последнего гетмана Кирилла Разумовского).

Частыми гостями в квартире на Девятой линии бывали также драматург А. Н. Островский, актер и великолепный рассказчик И. Ф. Горбунов, этнограф и писатель С. В. Максимов.

Фигура Ивана Грозного способствовала близкому знакомству Костомарова с Ильей Репиным. Художник приходил к ученому еще до своей поездки на Днепр в поисках запорожской старины, когда собирался писать на эту тему картину (замысел в конце концов воплотился в знаменитых «Запорожцах»). На Невском проспекте, в доме Бенардаки, где экспонировалось репинское полотно «Иван Грозный и сын его Иван», они встретились едва ли не в последний раз (1885).

— Куда меня тащите? — привычно ворчал в таких случаях историк, когда спутники вводили его в освещенное помещение. — Я же здесь ничего не вижу! Зачем слепцу ваши выставки?

Спутники отлично знали, что следует дальше. Николай Иванович поворчит, покричит, а потом удивит всех присутствующих, различив на картине такие детали, каких не увидать даже молодыми глазами.

— Это бес вас попутал! — смеялся Мордовцев.

— Вполне возможно! — соглашался Костомаров.

Точно так получилось и возле нового репинского полотна. Старого ученого оно поразило проникновением мастера в дух

далекой эпохи, хотя сопровождавших его, как и прочих зрителей в зале, более всего взволновала переключка картины с проблемами современности. Произвол царя-деспота, представленный в живописи, можно было наблюдать в действительности. По-прежнему лилась кровь невинных людей, как при Александре II, так и при Александре III.

— Рана пульсирует! — настаивал Костомаров. — Я же вижу, как стекают капли крови!

— А как вы находите картину в целом? — раздался тихий голос.

Николай Иванович оглянулся и узнал невысокого усача — Репин! Илья Ефимович был взволнован успехом, выпавшим его полотну.

Разговоры в тот день продолжались очень долго.

Немного смешную, своеобразную фигуру Николая Ивановича знали все гардеробщики столичных театров. С демонстративным усилием перетаскивая его широкую шубу, они подавали огромные калоши, «челны», как шутил Мордовцев.

При этом напоминали:

— На вашу обувь никто у нас не позарится!

По городу ходили анекдоты о каком-то зарубежном графе, который, завидев калоши Костомарова, пришел в восторг от их чрезвычайных размеров и стал умолять гардеробщика показать самого обладателя такой гигантской обуви — русского великана! Концовку графского замысла рассказывали по-разному.

Николай Иванович не боялся быть в центре внимания прохожих. Его «чудаковатость» распространялась также на то, что он непременно просил «соорудить» ему огромные карманы, словно собирался носить в них Бог знает что! Мордовцев уверял, что таким карманам позавидовал бы любой запорожец, любитель самых «мотнистых» штанов!

Не боялся Николай Иванович и того, что на него обращают внимание досужие зеваки. Он мог выйти на улицу с полотенцем

на голове – что поделаешь, если ее раскалывает сумасшедшая боль!

Каждое лето, насколько позволяло здоровье, ученый посвящал путешествиям. Так, уже в 1876 году он осмотрел Ладожское и Онежское озера, древние монастыри на их живописных островах, а в 1877 – побывал в старинном Ивангороде, где высилась обширная крепость, заложенная еще Иваном Грозным.

Он продолжал участвовать во всех археологических съездах, куда его стала сопровождать заботливая падчерица – Софья Марковна Кисель.

Особенно запомнился ученому съезд 1881 года, состоявшийся в Тифлисе. Там произошла его встреча с бывшим единомышленником Н. И. Гулаком, с которым он не виделся 34 года. В литературе нередко приводится мнение, будто бы Гулак холодно встретил соратника по братству, даже не подал ему руки. Правда, имелись и другие свидетельства: они, наоборот, утверждали, что Гулак и Костомаров долго беседовали, а на прощание Николай Иванович подарил собеседнику книгу. В пользу последнего, то есть, в пользу хороших отношений двух бывших «братчиков», говорят документы, в научный обиход пущенные киевским ученым Ю. А. Пинчуком, именно – письма Гулака. После заочений в Шлиссельбурге Гулака выслали в Пермь, а после окончательного возвращения из ссылки он занимался научной и педагогической деятельностью в разных городах Российской империи, с 1867 года – проживал в центре Грузии.

Вот что написал Гулак Костомарову еще 6 октября 1871 года:

«Многоуважаемый Николай Иванович! (...) Вы бы нашли меня тем же самым, что 25 лет тому назад, и Вы тоже – насколько я знаю – не изменились ни в своих убеждениях, ни в своей нравственной основе. (...) Придет время, когда мы будем наслаждаться плодами, выращенными не нами, а в нас...»

Приведем еще одно, более позднее, письмо Гулака со словами об отношении к Костомарову другого «братчика».

«Почтеннейший Николай Иванович!

В конце 1871 года я Вам писал (...). Ответ Ваш я получил вскоре по тому. В то самое время гостил здесь в Тифлисе у меня А. А. Навроцкий. Письмо Ваше доставило нам живейшую радость (...). Старость уже больно начала одолевать меня: рука не пишет, ноги плохи, но все-таки дух бодр по-прежнему (...).

С чувством глубокого уважения и неизменной дружбы пребываю навсегда искренне преданный Вам

Н. Гулак».

Упоминаемый «братчик» А. А. Навроцкий, напомним, двоюродный брат Гулака, после шестимесячного заключения в 1847 году в городе Вятке, отбывал ссылку в Елабуге. Потом он жил и работал в разных городах, занимался также литературной деятельностью, оставил неизданный перевод гомеровских поэм.

Тесные связи с Украиной Костомаров сохранил до самой смерти. Не говоря уж о том, что у него всегда находили теплый прием деятели украинской культуры, да и просто близкие Украине люди – как вот П. П. Чубинский, Н. В. Лысенко, А. Л. Боровиковский, Л. М. Жемчужников, Ф. Г. Лебединцев, А. И. Рубец, Д. И. Яворницкий, П. А. Гайдебуров, М. П. Старицкий – Николай Иванович внимательно следил за их творческой и общественной деятельностью. Он всемерно содействовал выпуску произведений на украинском языке, в частности – созданию словаря украинского языка, страстно приветствовал периодические издания – в первую очередь назовем журнал «Киевская старина», автором которого Николай Иванович стал сразу же при его основании. «Историк, – было сказано о Костомарове одним из его современников, – всегда шагал в нем рука об руку с гражданином».

Интересуясь творчеством новых украинских писателей – М. П. Старицкого, И. С. Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного – Костомаров всячески содействовал появлению их произведений

на страницах «Киевской старины», не оставлял без ответа ни одного адресованного ему письма. Особенно внимательно относился он к молодежи.

Авторитет Костомаров на Украине был настолько весом, что на ученого возлагались невероятные надежды. Свидетельством тому может служить коллективное письмо таких деятелей украинской культуры, как Иван Тобилевич, Марко Кропивницкий, Надежда Тобилевич и прочих их единомышленников, написанное в ноябре 1880 года по причине запрещения правительством украинского слова: «Батьку! За Вами все: і давня слава, і дотепність, і розум, і наука..., напишіть у великих газетах та книжках московських, що пора знять з нас покуту, ...що ми люде, ... що пора нам мати своє дрюковане слово без заборони, що й освіту в народних школах слід дозволити на рідній мові...»

Отправляясь весной в Дедовцы, Николай Иванович брал с собой многочисленные выписки из разных исторических документов, обрабатывал их, а остававшееся после этого свободное время посвящал писанию «Автобиографии». Повествование о собственной жизни он довел вплоть до 1877 года. Рукопись была издана, правда, со значительными купюрами, уже после его смерти, в 1890 году. Книге предшествовало посвящение: «Любимой моей жене Галине Леонтьевне Костомаровой».

В советском издании «Автобиографии» 1922 года устранены были купюры и прочие недостатки предшествующей публикации, и таким образом мы располагаем ныне тремя вариантами жизнеописания историка, созданного им самим, если иметь в виду также то, которое было продиктовано в свое время А. М. Белозерской. Записанное ее рукою опубликовано в журнале «Русская мысль» (1885). Все поименованные биографии историка значительно рознятся между собою, иногда даже противоречат друг другу – лишний раз доказывая, что Николай Иванович был подвержен переменам своего уникального настроения.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Болезни между тем не дремали.

А к ним присоединялись травмы.

Разрастаясь с каждым годом, Петербург, вместе с тем, умножал опасности, и без того страшившие старого и совершенно больного пешехода, к тому же постоянно погруженного в свои неотступные мысли. Город переполняли коляски, ломовые извозчики, развозчики дров, воды, сена, прочих грузов, невообразимое количество «ванек». Это был самый дешевый вид транспорта, который составляли мужики, прибывающие в столицу из окружающих деревень на весьма непродолжительное время: подзаработают денег и мигом исчезнут. Было также много «лихачей», любивших прокатить «с ветерком», не задумываясь, кто встретится на пути.

Опасности усиливались с наступлением зимы. Город окутывали туманы, пропитанные дождевыми каплями, а землю покрывало льдом и снегом. Улицы не очищались от него ввиду санной езды, почему проезжая часть их становилась порою настоящими катками.

Как уж ни умоляла Алина Леонтьевна быть осторожным во время прогулок – Николай Иванович все-таки попал под лошадиные копыта недалеко от своего дома, на Васильевском острове. Извозчик, хотя было уже довольно темно, заметил неладное, остановил экипаж. Однако, спасая свое реноме, закричал во всю мощь крепких легких:

– Что же ты, старый пьянчуга, не глядишь, куда прешь!

Сбитый с ног, ничего не различая, так как очки остались под копытами и полозьями, Николай Иванович был не в силах что-либо ответить. Жалостливые прохожие отнесли его в безопасное место, утерли с лица кровь и, видя на нем дорогую шубу и приличную шапку – это не пьяница! – расспросили, где он живет. Оказалось – рядом.

Серьезное уличное происшествие, пожалуй, сослужило коварную службу. Оно обострило в организме дремавший тубер-

кулезный процесс. Врач Д. И. Кошлаков, руководствуясь тогдашней доктриной, запретил больному прогулки на сыром и холодном петербургском воздухе.

Николай Иванович, смиряясь, долго крепился. Только он никак не мог обойтись без напряженного умственного труда, который требовал посещения библиотек и архивов. Наконец, отвергнут был и этот запрет. С наступлением нового, 1883 года, здоровье его, вроде бы, несколько улучшилось. С увесистой палицей в руках, на которую непременно приходилось опираться, Николай Иванович обходил множество столичных церквей, бывал в них на всенощных, на обеднях. Поднимаясь задолго до рассвета, он по-прежнему торопился в лавки за сливками и калачами. И все так же настойчиво работал над «Богданом Хмельницким», проводя в Публичной библиотеке по шесть часов ежедневно. С каждым новым изданием книга о гетмане становилась все более совершенной.

По воскресным дням Николай Иванович приглашал к себе учеников и знакомых. В определенной степени они заменяли общение с отсутствующим в Петербурге Мордовцевым, которого Костомаров шутил и с любовью называл «купчиком» (тот действительно был записан в купеческое сословие) и который в то время лечился за границей.

Болезни не отступали, лишь умело маскировались. Мордовцев в Ментоне, на юге Франции, получал из Петербурга письма с прежними жалобами. «Я больше лежу, — писал Николай Иванович 13 февраля того же 1883 года, — потому что припадки, которые меня мучили в Павловске (имелось в виду предыдущее лето. — С. В.), не прекращаются, но постоянно отравляют мне бытие и нередко делают положительно нестерпимыми (...). Глаза мои не дают мне возможности заниматься так, как это бывало в блаженные годы. О юность, юность! С какою грустью вспоминаешь о тебе в старости!»

Как бы там ни было, с наступлением весны Николай Иванович почувствовал себя снова достаточно крепким, чтобы ехать

«за здоровьем» на Украину. Мордовцев в Ментоне также значительно окреп и уведомил, что после путешествия по Испании собирается в Россию.

Сообща с Мордовцевым Костомаров выступал против писаний П. А. Кулиша, который из поборников казачества и преданных украинофилов превратился в явную свою противоположность. Его «История воссоединения Руси», изданная в Петербурге в 70-е годы, да и другие писания последнего времени, были наполнены нападками на низовых украинских казаков, как на своевольных людей, в частности – и на Тараса Шевченко. Кулиш враждебно смотрел на дружбу великого Кобзаря с передовыми деятелями русской культуры, осуждал его революционную поэзию, доказывал во многом мнимый антиисторизм его произведений.

Много «ударов палками», по выражению Мордовцева, получил от Кулиша и сам Костомаров как историк, единомышленник Шевченко. «Следует, – настаивал Кулиш, – не такую историю писать: я один смогу написать такую, какую надо». И, как видим, написал... В мировоззрении Пантелеймона Александровича к тому времени четко обозначилась шляхетская польская ориентация, пренебрежение прошлым и настоящим Украины. Мордовцев решительно выступил против этого в небольшой книжке «За крашанку – писанка», а Костомаров – статьей «Крашанка г. Кулиша», напечатанной в «Вестнике Европы». Оба произведения появились в 1882 году. В их заголовках обыгрывались названия полемической статьи Кулиша (крашанка – расписное пасхальное яйцо).

После продолжительной разлуки Костомарову хотелось как можно скорее увидеться с давним приятелем. В Неаполе Данилу Лукича ждало письмо-приглашение в Дедовцы. «А там у тії дні, як ми вас ждатимемо, – стояло в посланні, – вишеньки і грушки цвістимуть, і жаби брехекекатимуть, і соловейки й дівчата співатимуть, – і зелене поле зарябіє кульбабою і воронцем, а вже і там знайдеться багато доброго, а до того ж щире привітання од люблячих сердець».

Вскоре, едучи из-за рубежа, по железной дороге Мордовцев добрался до Нежина, дальше воспользовался услугами извозчика. 3 мая, утром, по росистой дорожке, он подходил к высокому крыльцу, обвитому диким виноградом, а навстречу ему спускался Николай Иванович, поддерживаемый Алиной Леонтьевной.

– Господи!.. Наконец-то! Купчик наш дорогой! Здоровы ли вы...

– Здоров, здоров... А...

Мордовцев не закончил своего вопроса. Лицо Николая Ивановича было бледным, будто вылепленным из белого воска.

– Какое в беся здоровье! – Николай Иванович понял его без лишних слов.

Впрочем, здоровье не волновало историка. Он был рад встрече.

Когда же Мордовцев, отдохнув с дороги, выглянул в окно, он тотчас приметил: Николай Иванович, невзирая на крайне изможденное лицо, вроде окреп физически. Историк бродил по саду с детским топориком, отсекая им заросли хмеля, а иногда, по причине плохого зрения, калеча и сами деревья.

– Долго у нас пробудете, дорогой купчик? – завидев его, спросил Николай Иванович.

– Побуду, побуду...

– О! Так мы с вами везде успеем. Очень хочется видеть Богдановы места... Хочу в Переяслав... Где состоялась знаменитая рада...

Путешествию в Переяслав в то лето не суждено было свершиться. Вдвоем с Мордовцевым Николай Иванович побывал в Прилуках, в недалеком оттуда Густыньском монастыше.

Путешествиешний раз подтвердило, что остатков старины на украинских землях сохранилось еще довольно много. В монастырской церкви историкам показали прижизненный портрет гетмана Самойловича. Бывший властитель Украины предстал на левкасной поверхности во всей красе своего убранства...

Два месяца пробыл Мордовец в Дедовцах. Благодаря его воспоминаниям, опубликованным частично еще при жизни Костомарова, мы имеем теперь более или менее полное представление о том далеком лете.

В имении хозяйничал сын Алины Леонтьевны. Хозяйство велось удачно, в просторном барском доме жилось привольно. Кроме супругов Костомаровых, молоденькой Софьи Кисель, Мордовцева, постоянным гостем сделалась также соседка Киселей-Костомаровых – помещица Мария Петровна Савченко. Молодая женщина, владея многими иностранными языками, ежедневно читала в оригинале Шекспира. Николай Иванович не всегда засыпал под ее выразительное чтение, хотя постоянно грешил подобным в Петербурге, когда Шекспира читал Мордовцев.

Дедовецкие чтения главным образом проходили в тени шелестящих лип. Там царила прохлада, пахло медовым цветом. Вечерами историка уводили далеко от дома. Он любил посиживать в тополиной аллее, прислушиваясь к грачиному гомону в могучих кронах.

Когда же на Дедовцы опускались сумерки – небо начинало светиться мириадами звезд. Что-то чрезвычайно притягательное ощущалось ученым в их беспокойном свете. Как когда-то в Саратове, Николай Иванович седлал переносицу самыми мощными очками, просил отвести его на открытое место, за развилку пыльных дорог, на ближайшую возвышенность, откуда открывалось панорамное зрелище. Все надежды его возлагались теперь на Марию Петровну и на служанку Ульяну – наиболее сильных среди женской половины. Они вели, куда он желал.

На перекрестке дорог начинались занимательные путешествия в дебри истории, сопоставление древних легенд всех народов мира. Правда, размещение созвездий Николай Иванович знал уже не так твердо, как в бытность на Волге, однако на помощь ему приходила остроглазая Софья. Мало того, что у нее была цепкая память, она пользовалась также новейшим атласом

звездного неба. Кроме того, в Петербурге девушка слушала лекции молодого профессора астрономии С. П. Глазенапа.

Лунными ночами Николай Иванович никак не мог уснуть. В приливах тумана он различал четкие тени давно умерших людей. С ними вступал в разговоры, забывая об окружающей реальности... Наконец, когда дышло Воза (Большой Медведицы) клонилось к горизонту, свидетельствуя о близком рассвете, старика уводили в спальню. Только он и оттуда выбирался своим ходом, подчиняясь велениям лунного сияния. Попытки в основном оканчивались неудачами. На крыльце его ноги наступали на хвост собаке Тропсiku, либо же острая палица его попадала в колено сторожу, дремавшему в затененном углу...

Все это давало основания для веселых шуток за завтраком. Николай Иванович сам поддерживал веселое настроение и смеялся громче всех.

– Ну и длинный хвост у нашего Тропсика! – начинал обычно Мордовцев.

– Да, да! – соглашался Николай Иванович. – Никак не обойти, никак!

Он был в состоянии посмотреть на себя со стороны.

Не забывал историк и о ежедневном купанье. Ради этого ездил на Удай, где ему глянулось очень удобное место, верстах в трех от барского двора. Возвращаясь же, вылезал из брички, как только она вкатывалась в так называемый Штондин лес.

– Вас дожидаться, пане? – интересовался кучер.

– Нет! Нет! Не надо! Потом приедешь!

В лесу было удивительно хорошо. Весь покрытый цветами, ученый бродил по опушке. Он втыкал цветы в шляпу, в петли сюртука. Иногда прикреплял к одежде цветущие ветки, и пчелы облепляли его всего как природный куст. Штондин лес раз за разом пронизывал резкий вскрик...

В то лето у него появилась возможность напрямую общаться с простым народом. Как только тени начинали полосовать двор, леваду, сад – Дедовцы сразу же наполнялись песнями. Мелодии

сопровождали крестьян, возвращавшихся с полей. Девичьи сопрано взмывали к небу, а «парубоцкие» басы и баритоны — стелились по земле.

Пение не стихало до глубокой ночи.

В свободные же вечерние часы молодежь собиралась обычно на Бакумовой горе. Николай Иванович тоже не мог усидеть возле дома. Привычные спутницы брали его под руки и вели в сторону шума. А слухи об этом бежали далеко впереди.

— Паны уже идут!

— И старый пан с ними?

— А как же?

— Только спотыкается на каждом шагу!..

Особенно запомнились вечера в канун Ивана Купалы. На Бакумовой горе заранее вспыхивали огни. Собиралось туда чуть ли не всё село. Молодежь прыгала через костры, более старые люди пели, водили хороводы, плясали. А сколько рассказов там было услышано — хватило бы на целую книгу...

В народе жили прадавние обычаи, старинные предания, хотя уже властно чувствовался диктат городского быта, всего того, чего требовала, что велела тенденция капиталистического развития. Звучали новые песни, привезенные из города...

Чудесная, неудержимая природа придавала ученому энергии. Он ежедневно садился к письменному столу, обрабатывал прихваченные с собой материалы, более всего — о Богдане Хмельницком. Рассказывал, какую пьесу напишет о супруге гетмана, которая по-прежнему не давала ему покоя, как и когда-то, в недоброй памяти Алексеевском равелине... Данило Лукич частенько примечал, что старший приятель что-то сочиняет тайно и быстро прячет написанное в стол, едва кто-нибудь попытается к нему приблизиться.

Никто не догадывался, что таится в письменном столе историка. Тайна раскрылась уже в Петербурге, когда Костомаров прочитал друзьям сочиненную в Дедовцах драму «Эллины Тавриды». В ней не было молодого буйства мыслей, ее переполняла мудрость зрелого мудреца...

Да, в Дедовцах в тот год стояло чудесное лето. Мордовцеву ни за что не хотелось уезжать. Не хотелось и супругам Костомазовым. Вдобавок то допекало обоих, что в Петербурге им предстояло менять квартиру.

Возвратясь на какое-то время в Саратов, Мордовцев получил вскоре из Дедовцев письмо. Алина Леонтьевна сообщала: «(...) придется понемногу собираться в Питер, где нам предстоит много хлопот с устройством в новой квартире. Неказистая квартира, с темной гостиной-столовой, некуда правды деть; но ведь мы все трое это видели, когда нанимали – и все-таки увлеклись возможностью жить низко, чтобы сберечь легкие Николая Ивановича, не выносившие в последнюю зиму такой тяжелой работы, какую задавала им высокая и крутая лестница в Девятой линии; Сонечка же просто настаивала, указывая и на мои боли, также требующие возможно меньшего лазания по крутым лестницам (...). Пусть и потеснимся немного, добрые знакомые извинят за недостатки простора в гостиной и в кабинете, зато спальня у Николая Ивановича светлая (в доме Карманова была совсем без окон!) и с воздухом, да и выходить может по три и по четыре раза в день, как он это любит: не нужно подниматься всякий раз на 63 ступени».

В новом жилище на Васильевском острове (дом Бруни в Первой линии, сейчас – №6) все было подчинено заботам о больном человеке. К кровати Николая Ивановича подвели электрический звонок, при помощи которого в любое время можно было позвать Ульяну, нарочито прихваченную из Дедовцев. Две ступеньки в коридоре специально выкрасили в белый цвет, чтобы их нетрудно было различать даже ослабевшими глазами.

Вопреки утверждениям профессора Кошлакова, оказалось, что пребывание на свежем воздухе (правда, теплом) несколько не повредило здоровью, наоборот – больной почувствовал себя намного лучше. Особенно, полагал он сам, помогли купания в тамошней речке. Потому и в первый же петербургский день (а

прибыли в столицу 4 сентября), Николай Иванович решил искупаться в Неве. Для этого теперь достаточно было выйти на набережную, чтобы сразу увидеть водную гладь. Мордовцев, встретивший Николая Ивановича уже в Петербурге, отговаривал от этого, как мог, но тщетно. Улучшение здоровья оказалось мнимым. После купания в Неве ученый занемог основательно.

Однако, оклемавшись, он снова махнул рукой на врачебные предостережения. Снова работал без устали, ездил на выставки, посещал театры. Целые часы просиживал в душных, пыльных архивах. Ему не давали покоя новые задумки. По-прежнему готовились к печати и ежегодно поступали к читателям его новые произведения.

Ходить по огромному городу было небезопасно еще и по другой причине. Как-то раз Николай Иванович возвратился домой без шапки, прикрывая голову одним носовым платком. Дорогую меховую шапку, пользуясь его беспомощностью, сорвали с головы грабители.

И все ж наибольшего вреда здоровью ученого нанесло трагическое событие на Дворцовой площади, случившееся 25 января 1884 года. Стоял обыкновенный для Петербурга пасмурный зимний день. Низкое небо очищалось от туч лишь на очень короткие мгновения – и снова сумерки, снег, туман и мороз. Николай Иванович засиделся над бумагами в Историческом архиве, находившемся тогда в левом крыле величественного строения Росси – в здании Генерального штаба. Вышел оттуда уже в легких сумерках. На Дворцовой площади, причудливо-призрачно, просматривалась Александровская колонна. Совершенно невидимым в высоте оставался бронзовый ангел: туда не добирались лучи фонарей. Впрочем, фонари горели только вдоль Зимнего. Справа, перед зданием Гвардейского корпуса, толпились военные чины, ржали лошади, раздавался барабанный бой.

Кто знает, намеревался ли ученый брат в тот вечер извозчика, или же ему захотелось прогуляться через скованную морозом Неву, да задержался против арки Генерального штаба...

Его нашли на противоположной стороне Дворцовой площади – окровавленного, затоптанного в снег, почти труп. Пришел он в себя уже только в полицейском участке.

С тех пор началось окончательное угасание организма. Мучили боли в груди, страшный кашель, который и без того не давал покоя на протяжении многих лет. Вот что писал Николай Иванович, к примеру, еще 22 декабря 1878 года своему давнему харьковскому приятелю А. А. Корсуну: «...к сожалению, в настоящее время нахожусь я в очень грустном положении: на меня напала болезнь и не уступает никаким медицинским усилиям. Это кашель, и, казалось бы, что за беда – кашель! Но какой кашель: сопровождаемый ознобом и трясучкою! Лежа, не могу я пробыть спокойно ни минуты от беспрестанного позыва к извержению мокрот, и вообразите себе длинную зимнюю ночь, проводимую таким ужасным образом! Я похож на тех малороссиян, которых поляки, посадивши в тюрьму, мучили тем, что ни на минуту не давали им спать».

Несложно догадаться, какой силы набрала болезнь с возрастом своей обессилившей жертвы...

Летом 1884 года Костомаров в последний раз побывал на любимой им Украине. Поездка эта замечательна тем, что она, наконец-то, предоставила ученому возможность побывать в Переяславе, в котором, в 1654 году, состоялась знаменитая Рада. Вырвался туда Николай Иванович в сопровождении падчерицы Софьи, экономки Ульяны и своего молодого приятеля Василия Петровича Горленко. Разумеется, ради этого пришлось преодолеть сопротивление Алины Леонтьевны.

Выехали на каком-то странном сооружении, напоминавшем собою не то старинный дормез, не то повозку ломового извозчика.

– Если сейчас не побываю там – то уже никогда не буду! – пророчески завершил предположения старый ученый.

Местечко лежало на низменной равнине, в семи верстах от Днепра. Еще издали путешественники увидели желтые песча-

ные полосы. Предметов старины сохранилось там очень мало. Николай Иванович это знал, однако ему, во что бы ни стало, хотелось осмотреть исключительно всё, что напоминает о временах Хмельницкого. Он так много писал о Переяславской раде, о том, как украинская громада присягала на верность Московскому государству, но писал лишь на основании документов.

В Переяславе первым делом отыскиали протоирея Терлецкого. Он рассказал:

— Той церкви Спаса Пресвятой Богородицы, Николай Иванович, которая была современницей Рады, к сожалению, уже не существует. А построили ее в 1586 году повелением князя Константина Острожского. Была она просторная, с 14 престолами. Только дерево недолговечно. Всё сгорело в 1761 году. На месте пожарища вскоре возвели новый храм, но и он сгорел в 1824 году. Так что перед нами уже третье строение на том же месте...

Третья по счету церковь также выглядела весьма старенькой, была деревянной, сложенной из больших бревен, обшитых досками. Очевидно, в ее стенах строители использовали остатки самого первого строения. Она стояла на возвышении, насыщенном человеческими руками, опиралась на четыре огромных камня.

С большим волнением Николай Иванович оглядел прицерковную площадь. Рада, решил, состоялась на южной стороне. Вот здесь казаки кричали: «Желаем под московского царя!» Вот здесь волновалось человеческое море. Было в нем много тех, кто воевал рядом с Богданом еще под Желтыми водами, ходил под Берестечко...

После Рады и страстных выкриков казаки и посполитые, рядовые крестьяне, входили внутрь церкви...

Терлецкий собственноручно открыл тяжелые, слинявшие двери. Внутри было довольно просторно, что-то вроде квадрата в тридцать на тридцать шагов. Высоко вздымалось потемневшие своды...

— Отстраивали, Николай Иванович, с учетом древних чертежей.

– А что еще уцелело от того времени? – спросил Николай Иванович Терлецкого, как только справился с волнением.

– Есть еще кое-что, – закивал головою Терлецкий.

Пошли в другую старинную церковь, которая стояла на территории кладбища. Тамошний священник показал Евангелие московской печати. Оно было обито зеленым сафьяном и украшено серебром.

– Вот на нем присягал наш Богдан! – сказал Терлецкий. – А вот и крест, который целовали казаки и простой народ...

Крест был большой, сиял золотом.

Николай Иванович с благоговением смотрел на дорогие реликвии.

Дальше следовал осмотр других церквей, но ничто уже не могло пересилить впечатления от созерцания Богданова Евангелия и креста...

Подытоживая результаты этого путешествия, Горленко вспоминал: «Мы объехали все церкви, из которых интересна Успенская, стоящая на том месте, где в 1654 году присягали царю Хмельницкий и войсковая старшина, Михайловская, основанная в XI веке, и Покровская, построенная Мировичем... В городе мы посетили местного старожилу А. О. Казачковского, друга Шевченко».

Воспоминаниям о прошлом в это лето не было конца. Помимо Горленко, частыми посетителями Дедовцев были художник Н. Н. Ге, приезжала из Киева Екатерина Федоровна Толстая, теперь уже Юнге...

По возвращении в Петербург уже мало кто верил, что Костомаров в состоянии перезимовать. Приглашались на консилиумы известные врачи, настоящие медицинские светила. Кроме Кошлакова, Эйвальда и прочих специалистов, побывал у больного сам знаменитый С. П. Боткин, но ничего утешительного не сказал и он. Присылалось немало лечебных средств с Украины: задохшие травы, коренья...

И все же Николай Иванович не сдавался. Иногда он просил доставить его на выставку, в церковь, поскольку огромную, как всегда, возлагал надежду на Бога. Либо же умолял провезти в открытой карете вдоль невских набережных, о гранит которых хлестали мощные волны. Но еще безудержней порывался изложить свои мысли на бумаге. Он диктовал, да и сам брал в руки перо. Написанного за день становилось все меньше и меньше. Оно начинало вмещаться на одной страничке, в нескольких строчках, а под конец сил хватало лишь на несколько букв. И все... Лицо орошалось холодным потом. Кашель забивал грудь. Зрение туманилось от выбитых кашлем слез. Руки опускались.

— Пани, пани, — слышалось хрипение.

Алина Леонтьевна сама уже часто болела, но неизменно то-ропилась на крики мужа, хотя была уверена, что служанка Улья-на не оставит без внимания ни малейшей тревоги. Надежными были и сестры-сиделки.

Он умер на рассвете, когда на золотом куполе Исаакиевского собора за широкой Невой играли красноватые лучи солнца. Они пробивались сквозь оконные стекла и ложились ему на лоб. Он почувствовал, как нестерпимо заложило грудь, но вдруг вски-нулся удивительно легко, чего уже никак не мог делать без по-сторонней помощи, сел, глаза раскрылись, заняли пол-лица.

— Па...

И упал на подушки.

Мозг не среагировал даже на крик супруги.

«Глаза его широко раскрылись, — вспоминала потом Алина Леонтьевна, — по лицу сменялись тени, одна другой бледнее, из груди вырывались вздохи с хрипением (...). Быстро потухали гла-за — за третьим глубоким вздохом потухли навсегда! Я исполни-ла желание моего друга: закрыла ему глаза».

В тот же день в квартире появился Илья Ефимович Репин. Примостив в углу художнические приспособления, он ловкими

движениями положил на белое мазки желтой охры. Другой художник, Опанас Георгиевич Сластион, фотографировал покойного. С наступлением вечера приехал скульптор Владимир Александрович Беклемишев, снял с лица гипсовую маску, а другой скульптор, Николай Акимович Лаверецкий, учитель первого, лепил уже бюст поэта, в последний раз всматриваясь в навеки застывшие черты. Сбор, вырученный за это скульптурное изображение, предполагалось отдать в фонд стипендии имени Костомарова для студентов Харьковского университета.

Бальзамировал тело историка гоф-медик Д. И. Выводцев, выпускник Киевского университета.

11 апреля, по свидетельствам современников, ярко светило солнце, хотя временами набегали пестрые облака и начинал даже сеяться дождик. С утра в квартире покойного состоялась панихида. Теплое слово о нем, обливаясь слезами, сказал университетский сокурсник Ф. К. Неслуховский.

В 10-м часу золоченый металлический гроб, укрытый венками, друзья усопшего отнесли в университетскую церковь, в старинное здание Двенадцати коллегий, которое помнило триумф историка после каждой прочитанной им лекции. Шестеро коней везли позади похоронную колесницу, а перед гробом двигалось духовенство во главе с архимандритом Неофитом, настоятелем греческой посольской церкви. Люди всё прибывали. Толпа растягивалась на целую версту. В ней виднелись почти все известные столичные литераторы, ученые, художники.

В университетской церкви возле гроба стояли ректор университета И. Е. Андриевский, другие профессора, Министр народного просвещения И. Д. Делянов, ректор духовной академии отец Арсений. Надгробное слово произнес профессор Рождественский. В кратких, но очень выразительных словах, он охарактеризовал заслуги усопшего перед отечественной наукой.

Наконец гроб вынесли из церкви. Во главе похоронной процессии высился крест из зелени. На белом фоне в центре его чет-

ко читались цифры 1817–1885 – годы жизни покойного. На двух других хоругвях было выведено «Земляку, историку Украины» и «От студентов Украины». А еще несли там бесчисленное количество венков от Петербургского университета, от Киевского, Харьковского, Казанского, от художников-передвижников, от галичского студенчества, от студентов-медиков, от студентов Технологического института, от редакций журналов и газет, от Высших женских курсов. Среди моря венков особенно выделялся один, доставленный московскими студентами. Он был составлен из бронзовых импортеров.

Похоронили Николая Ивановича на Волковом кладбище, на Литераторских мостках, где лежали В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и многие другие деятели отечественной культуры, литературы и науки. Весь путь туда – одиннадцать верст – гроб несли на руках студенты, а пять хоров попеременно исполняли жалобные песни.

Над могилой тоже произносились речи, причем профессор О. Ф. Миллер и Д. Л. Мордовцев говорили на украинском языке. Свое выступление Данило Лукич завершил словами: «І не вмерти – твоя слава не вмере, не поляже –

*Поки стоїть Україна,
Поки шумлять верби,
Поки рута зеленіє
Та цвіте барвінок!»*

Под голову усопшему положили лучшее его сочинение – монографию о Богдане Хмельницьком.

ЛИЦА, УПОМИНАЕМЫЕ В КНИГЕ:

Андриевский И. Е. (1831–1861) – ученый, ректор Санкт-Петербургского университета.

Андрузский Ю. Л. (1827–?) – украинский поэт, общественный деятель, член Кирилло-мефодиевского братства.

Антонович В. Б. (1834–1908) – украинский историк, этнограф.

Афанасьев А. Н. (1826–1871) – историк литературы, фольклорист.

Афанасьев-Чужбинский А. С. (1816–1875) – поэт, критик, мемуарист.

Байер Г. (1792–1870) – ученый, один из основоположников теории норманизма.

Бантыш-Каменский Д. Н. (1788–1850) – историк.

Безбородко А. А. (1747–1799) – русский государственный деятель.

Беклемишев В. А. (1861–1919) – скульптор.

Белозерский В. М. (1825–1899) – редактор украинского журнала «Основа».

Белоголовый Н. А. (1834–1895) – врач.

Беренштам В. Л. (1839–1904) – ученик и почитатель Н. И. Костомарова.

Берлинский М. Ф. (1764–1848) – историк, директор I Киевской гимназии.

Бецкой И. Е. (1818–1890) – издатель.

Бибииков Д. Г. (1792–1870) – Киевский генерал-губернатор.

Буташевич-Петрашевский М. В. (1821–1866) – руководитель «революционного» кружка.

Валуев П. А. (1815–1890) – Министр внутренних дел.

Вересай О. (1805–1890) – кобзарь.

Витовт (1350–1430) – великий князь литовский.

Выводцев Д. И. (1830–1890) – врач, лечивший Н. И. Костомарова.

Гайдебуров П. А. (1841–1894) – издатель.

Ге Н. Н. (1831–1894) – русский художник.

Гердер И. Г. (1744–1803) – германский ученый.

Глазенап С. П. (1848–1937) – русский астроном.

Гнедич Н. И. (1786–1833) – русский поэт, переводчик.

Головнин А. В. (1826–1866) – Министр народного просвещения.

Гонорский Р. Т. (1790–1818) – преподаватель Харьковского университета, издатель.

Горленко В. П. (1853–1907) – литературовед, журналист, фольклорист.

Горский А. В. (1812–1875) – профессор Московской духовной академии.

Гребенка Е. П. (1812–1848) – писатель, поэт, педагог.

Гулак-Артемовский П. П. (1790–1865) – профессор, ректор Харьковского университета.

Гулак Н. И. (1822–1899) – член Кирилло-мефодиевского братства.

Данилевский Г. П. (1829–1890) – писатель.

Добролюбов Н. А. (1836–1861) – русский критик.

Домбровский В. Ф. (1810–1846) – профессор Киевского университета Святого Владимира.

Дорошенко П. Д. (1627–1698) – украинский гетман.

Драгоманов М. П. (1841–1895) – украинский публицист, историк, фольклорист, общественный деятель.

Дубельт Л. В. (1792–1862) – начальник штаба корпуса жандармов.

Желиговский Э. (1815–1864) – польский поэт.

Заичневский П. Г. (1842–1896) – русский революционер.

Зайончковский П. А. (1904–1983) – советский историк.

Иванишев Н. Д. (1811–1874) – профессор Киевского университета Святого Владимира, впоследствии его ректор.

Иловайский Д. И. (1832–1920) – историк, педагог.

Иноземцев Д. И. (1802–1868) – московский врач.

Кабат И. И. (1812–1894) – петербургский врач.

Кавелин К. Д. (1818–1885) – ученый, социолог, публицист.

Калачев Н. В. (1811–1885) – ученый.

Калиновский В. С. (1833–1862) – польский ученый.

Каразин В. Н. (1773–1842) – «русский Ломоносов». Его имя носит теперь Харьковский университет.

Карамзин Н. М. (1766–1826) – историк, писатель.

Каченовский М. Т. (1775–1842) – историк.

Квитка-Основьяненко Г. Ф. (1778–1843) – украинский писатель, драматург.

Киркор А. (1818–1886) – польский поэт, издатель.

Князев А. С. (1814–1897) – профессор Новгородской гимназии.

Ковалевский Е. П. (1790–1867) – Министр народного просвещения.

Ковалевский Е. П. (1811–1864) – писатель.

Ковмир С. Д. (1695–1786) – мастер украинского барокко.

Кожанчиков Д. С. (1819–1877) – издатель.
Кольцов А. В. (1809–1842) – русский поэт.
Комиссаров О. И. (1838–1892) – мастеровой, спасший Александра II.
Кондратович Л. (1823–1862) – польский литератор.
Конисский Г. (1717–1795) – церковный деятель, писатель.
Корсаков Д. А. (1843–1919) – историк.
Корсун А. А. (1818–1891) – поэт.
Костомаров И. П. (1769–1828) – отец историка.
Костомарова Т. П. (1798–1875) – мать историка.
Костюшко Т. (1746–1817) – польский государственный и военный деятель.
Котляревский И. П. (1769–1838) – украинский поэт.
Кошляков Д. И. (1834–1891) – петербургский врач.
Крагельская А. Л. (1830–1903) – жена историка.
Кулиш П. А. (1819–1897) – украинско-русский писатель, поэт, историк.
Куник А. А. (1814–1891) – русский историк.
Лаверецкий И. А. (1837–1907) – русский скульптор.
Ламанский В. И. (1833–1914) – приятель Н. И. Костомарова.
Лелевель И. (1786–1861) – польский политический деятель.
Лист Ф. (1811–1886) – венгерский композитор.
Лопухин П. П. (1788–1873) – князь, владелец корсунских земель.
Лунин М. М. (1806(9)–1844) – профессор Харьковского университета.
Лысенко Н. В. (1842–1912) – украинский композитор.
Максимович М. А. (1804–1873) – украинско-русский ученый славист, профессор.
Маркевич Н. А. (1804–1860) – украинский поэт, историк.
Меншиков А. Д. (1673–1729) – государственный деятель, военачальник.
Метлинский А. Л. (1814–1870) – украинский поэт.
Микешин М. И. (1835–1896) – скульптор.
Миллер Г. (1705–1783) – один из создателей теории норманизма.
Миллер О. Ф. (1833–1889) – русский историк, профессор.
Миних Б. К. (1683–1767) – русский фельдмаршал.
Мицкевич А. (1798–1855) – гениальный польский поэт.
Мордовцев Д. Л. (1830–1905) – писатель, историк, друг Н. И. Костомарова.

Навроцкий А. А. (1823–1892) – поэт, переводчик, член кирилло-мефодиевского братства.

Неслуховский Ф. К. (1818–1907) – университетский товарищ Костомарова, педагог.

Одынец Э. (1806–1886) – польский поэт.

Орлов А. Ф. (1786–1861) – шеф III отделения.

Остроградский М. В. (1801–1862) – знаменитый русский математик.

Падлевский С. (1836–1863) – офицер русской армии, один из руководителей польского освободительного движения.

Петров А. М. (1827–1883) – студент Киевского университета, раскрывший Кирилло-мефодиевское братство.

Пильчиков Д. П. (1821–1893) – член Кирилло-мефодиевского братства.

Погодин М. П. (1800–1875) – историк, писатель.

Посяда И. Я. (1823–1894) – студент, член Кирилло-мефодиевского братства.

Репнин Н. Г. (1778–1845) – государственный деятель, князь.

Ригельман А. И. (1720–1789) – русский историк.

Савич Н. И. (1808–1892) – полтавский помещик.

Сарбей В. Г. (1928–1999) – историк советского периода.

Семевский В. И. (1848–19160) – историк.

Сементовский К. М. (1823–1902) – литературный критик.

Сераковский С. И. (1826–1863) – офицер, один из руководителей польского освободительного движения.

Сементовский К. М. (1823–1902) – литературный критик.

Сиверс Я. Е. (1731–1808) – дипломат времен Екатерины II.

Скабичевский А. М. (1838–1911) – русский писатель.

Сковорода Г. С. (1722–1794) – украинский философ.

Скотт В. (1771–1832) – английский писатель.

Сластион О. Г. (1855–1933) – художник.

Соленик К. Т. (1811–1851) – украинский актер.

Сопиков В. С. (1765–1818) – историк.

Станкевич Н. В. (1813–1840) – писатель, философ.

Станкевич А. В. (1821–1912) – русский писатель.

Стасов В. В. (1824–1906) – критик.

Стасюлевич М. М. (1826–1911) – профессор, издатель.

Спасович В. Д. (1829–1906) – профессор Санкт-Петербургского университета.

Срезневский И. И. (1812–1880) – филолог, издатель.

Суворов А. А. (1804–1882) – Санкт-Петербургский генерал-губернатор.

Терпигоров С. Н. (1841–1895) – общественный деятель.

Тиблен Н. Л. (1825–1869) – петербургский издатель.

Толстая А. И. (1817–1889) – супруга графа Ф. П. Толстого.

Толстая Е. Ф. (Юнге) (1843–1913) – дочь А. И. и Ф. П. Толстых.

Толстой А. К. (1817–1875) – писатель.

Толстой Ф. П. (1783–1873) – вице-президент Академии художеств.

Тышкевич Е. (1814–1873) – польский граф.

Уваров С. С. (1786–1855) – государственный деятель, Министр народного просвещения.

Устрялов Н. Г. (1805–1870) – историк.

Филомафитский Е. М. (1790–1831) – издатель, преподаватель Харьковского университета.

Ханыков А. В. (1825–1853) – член кружка М. В. Петрашевского.

Цертелев Н. А. (1790–1869) – общественный деятель, государственный чиновник.

Чацкий Т. (1765–1813) – польский педагог.

Чернышевский Н. Г. (1828–1889) – издатель журнала «Современник».

Чубинский П. П. (1839–1884) – украинский поэт и этнограф.

Шевченко Т. Г. (1814–1861) – великий украинский поэт.

Шевырев С. П. (1806–1864) – профессор Московского университета.

Шелгунов Н. В. (1824–1891) – общественный деятель.

Шлецер А. (1735–1809) – один из создателей теории норманизма.

Юзефович М. В. (1802–1889) – киевский чиновник.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Костомаров Н. И.* Собрание сочинений. Т. 1–21. СПб, 1903–1906.
- Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 1–3, седьмое изд. П., 1915.
- Костомаров М. І.* Науково-публіцистичні і полемічні писання. Х., 1928.
- Костомаров М. І.* Етнографічні писання. Х., 1930.
- Костомаров Н. И.* Автобиография. «Русская мысль», 1885, №5.
- Костомаров Н. И.* Литературное наследие. СПб, 1890.
- Костомаров Н. И.* Автобиография. М., 1922.
- «Збірник творів Ієремії Галки». Одесса, 1875.
- Костомаров Н.* Повести. К., 1987.
- Костомаров М.* Твори в 2 тт. К., 1967.
- Астахов В. И.* Курс лекций по русской историографии (до конца XIX века). Х., 1965.
- Багалец Д. И.* Костомаровские дни в гор. Воронеже. Х., 1911.
- Белозерская Н. А.* Воспоминания о Костомарове. «Русская старина», 1886, т. 49.
- Валуев П. А.* Дневник... в 2 тт., М., 1961.
- Данилов В.* Материалы для биографии Н. И. Костомарова. К., 1907.
- Добролюбов Н. А.* Норманский период русской истории. Сочинения М. Погодина. Собр. Соч. в 9 тт., т. 6, М.-Л., 1963.
- Драгоманов М. П.* Микола Іванович Костомаров. Львів, 1901.
- Ефименко А. Я.* Н. И. Костомаров («Вестник и б-ка самообразования», 1904, № 32).
- Житецкий П.* Профессорская деятельность Н. И. Костомарова. «Голос минувшего», 1917, № 5–6.
- Зайончковский П. А.* Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847). М., 1959.
- Карпов Г.* Костомаров как историк Малороссии. М., 1871.
- «Книга бытия украинского народа». «Былое», 1906, № 2.
- Костомарова А. Л.* Последние дни жизни Н. И. Костомарова. «Киевская старина», 1889, № 49.
- Кулиш П. А.* Воспоминания о Н. И. Костомарове. «Новь», 1885, № 13
- Максимович М. А.* Собрание соч. Т. 1, К., 1876.

- Маркевич А.* Костомаров Н. И. РБС, т. 9, СПб, 1903.
- Марголис Ю. Д.* Исторические взгляды Т. Г. Шевченко. Л., 1964.
- Маркс К.* Аналитический конспект Н. И. Костомарова. «Молодая Гвардия», 1926, № 1.
- Михневич В.* Наши знакомые. Фельетонный словарь совр. СПб, 1884
- Мордовцев Д. Л.* Н. И. Костомаров по моим воспоминаниям. «Новь», 1888, № 22.
- Мордовцев Д. Л.* Профессор Ратмиров. Книжки «Недели», 1889, №№ 1–2.
- Мордовцев Д. Л.* Н. И. Костомаров в последние десять лет его жизни. «Русская старина», 1885, №№ 10–12.
- Неслуховский Ф. К.* Воспоминания о Н. И. Костомарове. «Вестник Европы». 1890, т. 40.
- Никитенко А. В.* Дневник в 3 тт. Л., 1955–56.
- Пантелеев Л. Ф.* Из воспоминания прошлого. Academia, 1939.
- Петров В.* Аліна й Костомаров. Х., 1929.
- Пінчук Ю. А.* Историчні погляди М. Г. Костомарова. – Київ, 1984.
- Покровский М. Н.* Русская история в самом сжатом очерке. К., 1923.
- Покровский М. Н.* Русская историческая литература в классовом освещении (предисловие). М., 1927.
- Поливанов П. С.* Алексеевский равелин. Л., 1926.
- Попов П. М.* Микола Костомаров як фольклорист та етнограф. К., 1968.
- Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур. Т. 1, СПб, 1879.
- Семевский В. И.* Н. И. Костомаров (1817–1885). «Русская старина», 1886, № 1.
- Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М., 1928.
- Смолій В. А., Пінчук Ю. А., Ясь О. В.* Микола Костомаров. Віхи життя і творчості Київ. – 2006.
- Станиславская А. М.* Исторические взгляды Н. И. Костомарова (в книге «Очерки истории исторической науки в СССР, М., 1969, т. 2).
- Столпянский П. И.* Петропавловская крепость. М.–Л., 1923.
- Фроленко М. Ф.* «Милость». М., 1925.
- Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений, т. 1, т. 4. М., 1939, 1948.

Шабліовський Є. С. М. І. Костомаров і М. Г. Чернишевський. «УІЖ», 1967, № 5.

Шевченко Т. Г. «Щоденник», ПЗТ у 6 тт., т. 5. К., 1964.

Юнге Е. Ф. Воспоминания. М., 1914.

ЦНБ АН Украины, отдел рукописей, Архив Костомарова Н. И., фонд 22.

Черниговский Государственный исторический музей, «Архив Костомарова Н. И.

РНБ, фонд 621 (А. Н. Пыпина), ед. хр. 435.

РНБ, фонд 385 (Н. И. Костомарова), ед. хр. 12.

РНБ, фонд Головнина А. В., № 98.

ЦГИАМ, фонд III отделения, I экспед. Д. 57 за 1862 год.

ЦГИА Украины, фонд 873.

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. КОСТОМАРОВА

- 4(16) мая 1817 г. – день рождения Н. И. Костомарова
- 1827 г. – кратковременное обучение в частном пансионе в Москве
- 1828–1831 гг. – обучение в частном пансионе в Воронеже
- 1831–1833 гг. – обучение в Воронежской гимназии
- 1833 г. – поступил в Харьковский университет
- 1837 г. – окончание университета
- 1838–1840 гг. – вышли из печати «Савва Чалый», «Украинские баллады», сборник «Ветка»
- 1840 г. – первое знакомство с произведениями Т. Г. Шевченко
- 1841 г. – «Переяславская ночь»
- 1842 г. – уничтожена первая магистерская диссертация Костомарова «О причинах и характере унии в Западной Руси»
- 1844 г. – защищена вторая магистерская диссертация «Об историческом значении русской народной поэзии»
- 1844–1845 гг. – учительствование в Ровенской гимназии
- 1845 г. – переведен учителем истории в Первую Киевскую гимназию
- 1845–1846 гг. – основание Кирилло-Мефодиевского товарищества
- 1846 г. – личное знакомство с Т. Г. Шевченко
- 1847 г. – вышла из печати книга «Славянская мифология»
- 1847 г. – арест
- 1847–1848 гг. – узник Петропавловской крепости
- 1848–1857 гг. – ссылка в Саратове
- 1851 г. – знакомство с Н. Г. Чернышевским
- 1857 г. – напечатана монография «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России»
- 1858 г. – монография «Бунт Стеньки Разина»
- 1859 г. – Костомаров – профессор истории столичного университета
- 1868 г. – статья «Начало Руси» в журнале «Современник»
- 1860 г. – становится членом Археографической комиссии
- 1860 г. – в «Колоколе» напечатана статья «Украина»
- 1861–1862 гг. – активное сотрудничество в журнале «Основа»
- 1862 г. – напечатана драма «Кремуций Корд»
- 1862 г. – отставка из университета
- 1863 г. – монография «Севернорусские народоправства»

1866–1867 гг. – печатается труд «Смутное время Московского государства»

1868 г. – монография «Гетманство Юрия Хмельницкого»

1869 г. – монография «Последние годы Речи Посполитой»

1872 г. – премия за монографию «Последние годы Речи Посполитой»

1872 г. – напечатан труд «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества»

1872 г. – поездки на Украину

1875 г. – вышла из печати книга «Кудеяр»

1875 г. – женитьба

1879 г. – стал членом-корреспондентом Петербургской Академии наук

1879–1880 гг. – «Руина. Историческая монография 1663–1687 гг. Гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича»

1880 г. – «Письмо в редакцию газеты «Новое время» о внесении 4000 рублей в Академию наук для премии за лучший украинско-русский словарь

1882 г. – монография «Мазепа»

1884 г. – монография «Мазепинцы», драма «Эллины Тавриды»

7(19) апреля 1885 г. – Николай Иванович Костомаров скончался

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ЮНОСТЬ	5
НАД ТИХОЮ ОЛЬХОВАТКОЙ	5
ОТЕЦ И МАТЬ	9
В ДРЕВНЕМ ВОРОНЕЖЕ	12
ГИМНАЗИЯ	18
СТУДЕНТ	23
И СНОВА В ХАРЬКОВЕ	38
СРЕЗНЕВСКИЙ	43
ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗАМЫСЛЫ	50
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА	59
Часть вторая. ИСТОРИК-ЭТНОГРАФ	67
ПЕРВАЯ ДИССЕРТАЦИЯ	67
ВТОРАЯ ДИССЕРТАЦИЯ	75
В КИЕВЕ, ПРОЕЗДОМ	83
ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ	92
РОВЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ	96
ВОЛЫНСКАЯ ЗИМА	101
ВОЛЫНСКАЯ ВЕСНА	109
Часть третья. ТОВАРИЩЕСТВО	125
СНОВА В КИЕВЕ	125
ЗНАКОМСТВА ШИРЯТСЯ	130
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО	137
ШЕВЧЕНКО	141
КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	155
АПОГЕЙ	162
ПРЕДАТЕЛЬСТВО	174
КАЗЕМАТЫ III ОТДЕЛЕНИЯ	189
Часть четвертая. НАКАЗАНИЕ И ТРУД	202
СТРАШНЫЙ ГОД	202
САРАТОВ	210
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ	224
ИСТОРИЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО	231
ПО ЕВРОПЕ	245
«БУНТ СТЕНЫ РАЗИНА»	253
Часть пятая. РЯДОМ С ШЕВЧЕНКО	259
В «БАЛАБИНСКИХ НУМЕРАХ»	259
СНОВА С ТАРАСОМ	267

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	280
ПОЭТ ШЕВЧЕНКО И ЖУРНАЛ «ОСНОВА»	300
СТУДЕНЧЕСКИЙ БУНТ И... ОТСТАВКА.	316
К ВЕРШИНАМ НАУКИ.	338
«СЕВЕРНОРУССКИЕ НАРОДОПРАВСТВА»	347
«СМУТНОЕ ВРЕМЯ»	356
«ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ»	372
ПРИТЯЖЕНИЕ УКРАИНЫ	386
АЛИНА	403
Часть шестая. ОСЕНЬЮ – ЛЕТО	414
ЖЕНИТЬБА.	414
НАРАБОТКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ	421
ОСЕНЬЮ – ЛЕТО	426
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.	436
Лица, упоминаемые в книге	451
Использованная литература	456

Венгловский Станислав Антонович

Николай Костомаров

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*

Корректор *С. А. Семенов*

Санкт-Петербургская общественная организация
«Союз писателей России»

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж:

fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» в Москве

можно приобрести в следующих магазинах:

«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66

Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.

Тел. (495) 628-64-42

«Галерея книги „Нина“», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88¹/₆. Усл. печ. л. 28,35. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ №

В издательстве «Алетейя» вышла в свет книга:

